

**НОВЫЙ
ЖУРНАЛ**

XXI

НЬЮ-ЙОРК

НОВЫЙ ЖУРНАЛ

Основатель М. ЦЕТЛИН

THE NEW REVIEW

**Под редакцией
М. М. КАРПОВИЧА**

XXI

7-ой год издания

**НЬЮ-ЙОРК
1949**

**Printed in U. S. A.
RAUSEN BROS.,
417 Lafayette Street,
New York 3, N. Y.
Phone: GR 3-5536**

О Г Л А В Л Е Н И Е

Б. Зайцев. — Жуковский	5
Г. Газданов. — Шрам	54
М. Добужинский. — Петербург моего детства	74
СТИХИ:	
М. Железнова, Н. Моршена, Е. Таубер, М. Чехонина, Е. Шуваловой	104
ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:	
В. Ледницкий. — О прозе Пушкина	111
ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ:	
В. Александрова. — «Несогласные граждане»	146
М. Коряков. — 16 октября	158
А. Богданович. — «Я — гражданин Ленинграда»	188
В. Бутенко. — Возвращенка	219

ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРА:

Г. Федотов. — Народ и власть	236
Г. Биншток. — О смысле истории	253
М. Карпович. — Наши задачи	259

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ:

Г. Аронсон. — По поводу статей Б. И. Николаевского	272
Б. Николаевский. — Ответ Г. Я. Аронсону	281
Д. Далин. — По поводу статьи Н. С. Тимашева	292
Н. Тимашев. — Ответ Д. Ю. Далину	295

БИБЛИОГРАФИЯ:

В. Александрова. — Художественная проза в эмиграции («Тишина» Б. Зайцева, «Звериный лик» Б. Пантелеймонова, «Ветер ветку клонит» О. Жигаловой)	297
В. Зензинов. — «Звезда в ночи» Е. Гагарина	300

ЖУКОВСКИЙ*)

(ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ)

МИЛЫЕ СЕРДЦУ

С самого переезда в Дерпт начала Маша переписку с кузиной Дуней (Киреевской, позже Елагиной). Эти смиренные письма сохранились, на радость литературе нашей. В них нет горизонтов. События исторические — мимо. Лишь человек, его жизнь и томления, незаметное, как бы и бледное существование: но вот оно полно трогательности и значения.

Дуню она обожает с детства. Та живет сейчас далеко от Дерпта — в Долбине, в краях Мишенского и Муратова, туда все думы, чувства.

«Когда мне бывает грустно очень и неожиданно вдруг сделается полегче, то я тебя благодарю за это; мне кажется, что в эти ужасные минуты мой ангел хранитель научает тебя за меня молиться». Дуня более бурнопламенна. И тоже ее обожает — так всегда было. («Помниши ли, как ты боялась, чтоб тебя не спасли прежде меня?»). Быть спасенной в болезни, если б Маша погибла, было бы для Дуни несносно. И в разгар тягостей и борьбы за свадьбу Маши с Жуковским предлагала же она — если венчаться им из-за родства грех, так она, Дуня, пойдет в монастырь, там будет замаливать прегрешение. Авдотья Киреевская такая и была. Половинчатости в ней нет.

Страстная, но и требовательная. В переписке местами есть ревность, шипы и тернии. Очарователен дух интимности. Маша

* См. книгу 17-ую, 19-ую и 20-ую «Нового Журнала».

Copyright 1949 by the New Review. All Rights Reserved.

называется иногда «Ге» — так прозвали ее дуники дети (будущие известные славянофилы). Вдруг появляется какой-то «Клужин» — будто фамилия, но это кличка, шифр, выражает некоторое настроение души («У меня нынче был Клужин»)

Дуня не одобряла, что Маша решила выйти замуж за Мойера. Жуковского она возносила не менее Маши, считала, что брак с Мойером нечто «против Жуковского», вероятно и полагала, что за свое и его счастье надо бороться упорнее — если бы с нею такое произошло, вряд ли она уступила бы. Но у Маши иной характер, с детства слишком она в руках матери и слишком вообще в жизни из обреченных, ведомых на заклание. Да и душевно у них в Дерпте всё было запутано.

Жуковский с Мойером подружились, все желали друг другу счастья и все заговаривали друг друга возвышенными словами. Где ж устоять смиренной мечтательнице? «Мойер любит Жуковского больше всего на свете, он говорит, что откажется от счастья, как скоро минуту будет думать, что не все трое мы найдем его».

Все трое найдут счастье в браке Маши и Мойера — это надо было придумать! И вот ровно на другой день пишет она в Долбино: «Дуняша, мне иногда, часто бывает тяжело, очень тяжело, но это пройдет». Через два дня: «А ты, моя душа, ты всегда присутствуешь в хорошем и дурном, в радости и неприятности. Ты связана со всеми чувствами и любить тебя есть то же что дышать» (в другом месте о своем сердце: «оно твое крепостное»).

Какой бы поток слов ни изливался, выходить замуж — хоть и за отличного человека, любя другого...

“Je t’avoie, Eudoxie, que le moment où je me suis décidée a été affreux, mais Dieu a tant fait pour moi, que je le remercie pour la résolution que j’ai prise.”

Это апрельское настроение. И всё лето невесело.

Осенью еще хуже. Ряд писем Дуне и вовсе не отправлен, из-за грусти. А время подходит к свадьбе. В декабре 1816 года брак ее с Мойером открыто уже возвещается —

предсвадебные визиты и развоз карточек по бесконечным родным и знакомым Мойера — 278 извещений! «Сегодня приезжают к нам отдавать карточки, а мы сидим в задней комнате и погасили все огни в гостиной». «Как я ни уверена в своем счастьи, но мне так страшно, что я бы рада совсем умереть».

С этим будущим счастьем, от которого лучше умереть, поздравляет ее некто, в церкви услышавший оглашение помолвленных — оттого и решился поздравить открыто. А она чуть не заплакала от поздравления — «отчего, сама не знаю. Дунька, дай Бог мне счастье, неправда ли?» К свадьбе должны съехаться бесчисленные родные Мойера, из разных мест, даже из Выборга — кузен Тидеболь с женой и детьми, друг Цокель и всякие еще другие. «Я готова закричать как Варлашка: «Боюсь!»*)

В январе 1817 года, через неделю после венчания, Маша пишет кузине, что в замужестве счастлива и для нее началась жизнь иная (преимущество перед прежней в том, что теперь рядом не сумасбродный Воейков, а тихий ученый врач, деятель, музыкант, филантроп, но скорей «брат», чем муж: Иван Филиппович Мойер).

Они поселились отдельно. Екатерина же Афанасьевна осталась, как прежде, со Светланою и Воейковым. Воейков от брака Маши был в ярости — его не спросили, это давало ей независимость и ослабляло его долю в управлении Муратовым. Да и вообще он разыгрался. Светлана запиралась от его скандалов у себя, страдала молча. Но теперь и Екатерина Афанасьевна узнала, что такое оскорблени: нападал он и на нее, требовал денег, а однажды изругал, как служанку.

Только с Машей ничего уж не поделаешь. Это его злило. Маша теперь г-жа Мойер, живет в том же Дерпте, но в надежном укрытии, в крепко сложенном и серьезном доме. Туда в пьяном виде не ворвешься, безобразия не учинишь.

Дом и жизнь Мойеров были устроены на германско-европейский лад. Ничего от Мишенских, Долбинах. Никакого

*) Воспоминание детства: домашний шут у старого Бунина.

крепостничества. Ни широты и поэзии, ни распущенности барства. Порядок, труд, мещанское благополучие . . . — и серость.

Маша работает дома, заходит «к маменьке». В третьем часу обедают, до трех Мойер спит, до четырех прием — дом наполняется разными людьми: мужчины и дамы, дети, купцы, мещане, чухонцы, бароны, графы. «Иному вырывает Мойер зуб, другому пишет рецепт, третьему вырезывает рак, четвертому прокалывает бельмо и всякий кричит на разные голоса».

Между 4-5 Мойер запирается у себя «в горнице», готовится к лекциям. «В пять сани готовы и он едет в университет, а я ухожу в свою горницу». Тут Маша читает — по плану, сделанному еще в Муратове: рука Жуковского, все как и прежде. Где Жуковский, там тоже распорядок, в своем роде не хуже майеровского. К этому Маша привыкла с детства.

Приходит Саша, любимая Светлана, «бостон, пикет, фортепиано». Сестра Мойера наливает чай, стряпает кушанье и разговаривает. Мойер же приезжает в девять. В десять ужинают, в одиннадцать ложатся.

В эту жизнь, когда приезжает в Дерпт, входит Жуковский. Как и прежде он свой и любимый, как всегда «непричем» у чужой, как-то устроенной жизни.

Его уважают и ценят и в обществе и в университете, и русские, и немцы (некий Зенф выразился о нем: «Жуковский необыкновенный человек, obgleich ein Russe» — Маше пришлось защищать родину). С этим светилом залетным дружит и Мойер, на это есть основания. Есть просто и сходственные черты в обоих.

Иногда они проявляются.

Вот выходит Жуковский на прогулку. Зима, холодно. На углу нищий-курляндец с отмороженными ногами сидит на камне. Жуковский дает ему пять рублей, идет дальше. Нет, мало дал. Возвращается — еще пять, снова уходит. Снежком завевает в Дерпте этом, плоском и мирном, прокатил на тяжелых лошадях в высоких санях ректор, Жуковский почтительно с ним раскланивается. Курляндец позади, но все из головы не выходит. «У меня двести рублей, а у него только десять» —

возвращается, дает еще пятьдесят. Опять идет, слегка в горку к церкви. «Да, у меня обе ноги целы, могу еще и прогуливаться и в кармане полтораста, а ему каково?» Опять назад и еще пятьдесят.

Вряд ли часто встречал курляндец такого странного путника. Вряд ли и Жуковский далеко ушел бы в тот день, если бы нищий, в полном восторге, не сдвинулся со своего камня (может быть, и опасался, что назад отберут: слишком уж непривычная сумма). Сдвинулся и добрался до почтовой помощницы Лангмакер, где из милости в углу и ютился. Она записывала доходы его каждый вечер. Ей все и рассказал: выручка нынче была несметная.

А курляндцу продолжало везти. Через несколько времени у камня его остановился другой господин, в очках, с добрыми подслеповатыми глазами, в малых бакенах, с выбритыми усами и подбородком, в высоком галстуке и солидной шубе — нечто основательно-благожелательное. Тоже дал денег, потом посмотрел на ноги, задумался.

И очень скоро курляндец оказался в лучшей дерптской клинике. Добрый самарянин в очках устроил его там бесплатно. Вынужден был одну ногу отнять, а другую лечил и вылечил. Его звали Иван Филиппович Мойер. Он был муж Маши и тот смирный похититель счастья Жуковского, при котором надеялся тот создать счастье для всех троих.

Что могло выйти из этого счастья, предвидеть нетрудно, но семейную и повседневную опору в муже Маша нашла.

Тем же летом и осенью много перемен произошло вокруг: Дуня Киреевская, после пятилетнего вдовства, вышла замуж за А. А. Елагина. Умерла Анна Ивановна Плещеева, жена «негра», красавица «Нина», инициалы которой в двенадцатом году приняли подгулявшие помешники за наполеоновские. Воейков написал гнусное письмо Елагиным о Маше (будто она была любовницей Жуковского) и та две ночи не спала, все плакала — потом простить себе не могла, что из-за этого столько страдала. Сколько Светлана плакала за эти годы, мы учесть не можем — у нее характер оказался самый замкнутый,

прежнее веселье девочки заключилось теперь в строгий образ страдающей сильфиды.

А Жуковский в это время то в Москве со двором Александры Федоровны, то в Петербурге, наезжает и в Дерпт. Как всегда, за парадной стороной его придворной жизни тайная и глубокая сердечная. Где бы он и Маша ни находились, чем бы ни занимались, они связаны подземно-неразрывно. Может быть, друг друга даже на расстоянии воспитывают, возводят ступенью выше — и всё идет через острую тоску, сменяемую воодушевлением и вновь тоской.

Дуня Елагина в 1818 году беременна и Маша пишет ей: «Благословляю твою пузу» — ей самой скоро предстоит то же, а пока она признается, что привязаность ее к Мойеру не «уравновесила ее чувств». Это ее «благодетель», благодаря ему обрела она некий «покой» — но не больше. Иван Филиппович этого письма не видал. Было ли бы оно ему приятно?

Но вот в следующем году самому Жуковскому Маша пишет уже в другом тоне: «Кто лучше меня познал совершенное счастье? Теперь каждое дыхание должно быть благодарность».

... «Ты не можешь вообразить, как ты мне бесценен и кака дорого для меня чувство, которое к тебе имею».

А через два дня к Дуне вновь по иному. Здоровье «расстроилось» и Мойер велит ехать в деревню на поправку, но она не верит и не желает.

В первый раз слышится тут звук ее кратковечности. («Одного только желать смею: покою поскорее». «Une vie inutile est toujours trop longue»).

Вот заехала она, наконец, и в деревню Лифляндии, на отдых. Но не радуется. Всё здесь не по ней. Нет русского поместьческого склада. Девушка, молодая женщина в Муратове или Долбине занята литературой, поэзией, музыкой — так было в «их» доме. Это несколько над жизнью, жизненное делают за нее другие. Тут же ей приходится стряпать на кухне, ключи от погреба и амбара у нее, она «жалаеет» даже, что училась столько в свое время, а вот не умеет варить мыла

и готовить паштеты. И вообще эта Лифляндия не по ней: скучно-немецкое и мелкотравчатое.

Странные мысли приходят теперь — о близкой кончине. Раньше этого не было. Кажется, что в Лифляндии ее позабыли, похоронили. Письма редки. Является горечь: «огорчить» бы их смертью! Но в общем покорность и смиренение.

«Quand je pense que je dois mourir bientôt, je suis d'une indifférence étonnante pour le présent, il n'y a que passé qui prend tout mon cœur. Кто был так счастлив, как я? Как мне не благодарить со всяkim дыханием Творца за жизнь? Правда, что она пройдет без пользы и без следов, но всякая хорошая мысль, хорошее воспоминание не есть ли крест на могиле?»

А между тем не только Дуне Елагиной, но и ей самой предстояло произвести новую жизнь. Вот конец марта 1820 г. и ее слова: «Знаешь ли ты, что у меня в пузе шевелится маленько творенье?»

Все эти месяцы ожидания новой жизни переживает она в мистическом смирении. Есть нечто от святости и самоотдания в ее отношении к младенцу. Воистину благоговейно приветствует она тайну. «Я его без страхапуска в свет, потому что есть на этом свете Бог, его Создатель и вы, мои фонарики; вы и его жизнь осветите! Благослови же моего малютку на жизнь и обреки ему на крест свое сердце.

... «Поручаю вам моего ребенка, вы отдайте его и Богу таким, как вы сами, а я без ропота, без страха отдаю себя во власть Божию. Прощай, благослови меня так, как я во все минуты жизни тебя благословляю!»

У ней такое настроение, что сама она уходит. В тихом восторге перед появляющимся существом она себя как бы отводит — ей будто и не дано жить с младенцем. Она перешагивает за предел. Но Жуковский, Жуковский! Этот души ее не покидает. В самые горькие минуты, когда «без ума грустно», она заберется в свою «горницу», скажет громко: «Жуковский!» и всегда станет легче».

С юных лет он процвел в ней обликом сверхземным.

Лучше нет и не может быть. Оттого само имя его магично: довольно сказать «Жуковский» и мрак уходит — с какою простотой! Лучшее в нем сияет, но всё это и свое, домашнее, с детства любимое. Он для нее одновременно и Единственный и «дурачек», «рожица». («Прощай, рожица! Люблю тебя»).

В июне 1820 года, когда он собирался в первое свое странствие по Европе с Александрой Федоровной и в Павловске упражнялся в рисовании видов, а Маша приближалась к торжественному дню появления младенца, так она написала ему: «Теперь только узнала я всю прелесть жизни и всю цену любви, но теперь же научилась знать настоящую любовь к Отцу моему. Признаться ли тебе? Когда я думаю о Боге, о всей Его любви к нам (ко мне особенно), то мне трудно воздержаться просить Его взять меня к себе, я чувствую какую-то сверхчестственную прелесть в мысли в сё покинуть в ту минуту, когда жить так хорошо! Когда всякий звук есть гармония, когда ни одна печальная мысль не портит настоящего, когда в будущем ждешь и видишь одни радости! Я никогда Бога так не любила, как теперь. Получив от Него столько, мне бы хотелось в полной мере отдать Ему всё».

... «Младенец мой! всякое его движение восхищает, возносит душу. Мне равно хочется остаться с ним и с вами, и возвратиться к Тому, который дал мне вас и его».

Осенью того же 20-го года она написала Жуковскому же, за несколько дней до родов: «прыгун... докладывается сильно, однако, чаще приятно, нежели с болью».

Это было начало путешествия Жуковского. Направляясь в Германию, он заехал по пути в Дерпт, пожил там, повидал милых сердцу.

12 октября у Маши родилась Екатерина.

«Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю... и как семя всходит, не знает он».

Но когда зелень появится, и колос, и зерно, тогда всё ясио.

В годы Белева, Муратова Жуковский недаром учил и

воспитывал сестер Машу и Александру-Светлану. Маша и Александра возрастили в духе любви. От Жуковского излучалось нечто. Он не навязывал, не принуждал. Но вот возрасли два юные существа, два духовных плода-отображения Жуковского, неповторимые, но и облики родственно-очаровывающие. И Маша и Светлана каждая сама по себе. Но в них Жуковский — светлым своим сиянием.

Потому их жизнь — и его жизнь. Их томления — его томления. Их возношение души «горé» — его возношение, как и их крест его крест. Говоря о Светлане и Маше, говоришь о Жуковском.

Жуковский был крестный Светланы и дочери ее крестный, любил ее нежно и вековечно (по другому чем Машу) — и пред ней всё-таки был виноват: на брак с Воейковым не только мать толкала. Он и сам благословил, равно как Маша. Маша-то безответна по девическому своему неведению. Жуковский всегда людей плохо понимал, он отчасти здесь жертва прекраснодушно-мечтательного своего характера, всё же он взрослый, он и ответственен.

Светлане, которой сулил он всегда свет и радость, которая и была по натуре свет-радость — ей-то и выпала тягость главная. Вот пьянство и безобразия Воейкова, его скандалы (иногда и самоугрызения), обиды Маши, оскорбления Екатерины Афанасьевны, затруднения в университете, мучения с денежными делами — легконогая, с легким дыханием дева — Светлана (хоть и мать, но и дева) всё несет на себе. Выезд ее к Авдотье Елагиной в 1818 году есть попытка вздохнуть. Но потом снова Дерпт — и теперь по-другому. Жуковский, Тургенев устроили, наконец, для Воейкова нечто в Петербурге (службу, а потом участие в «Русском Инвалиде»). Надо из Дерпта трогаться. Но Воейковы кругом в долгах. Заемодавцы терзают, выехать нельзя. Светлана одна должна путешествовать в Москву к брату мужа за деньгами, чтобы хоть сколько-нибудь расплатиться. Кредиторы заставляют ее ехать на линейке, чтобы скорее съездила!

И съездила! все унижения претерпела, мужа, себя и детей

вывезла. В Петербурге со всем гнездом своим вновь прильнула к Жуковскому — он как раз находился на отлете: только и успел познакомить ее с другом своим Александром Тургеневым.

Много лет прошло со временем Благородного Пансиона. Из юноши, читавшего товарищам стихи Державина, Тургенев обратился в видного чиновника (Директор Департамента Духовных Дел). Полный, бурный, подвижный, увлекающийся и добрый — странный чиновник. Как и Жуковский, всеобщий заступник и ходатай. По нежности сердца и общему расположению особый друг женщин.

Жуковский, уезжая заграницу, поручил ей Светлану. Тургеневу она сразу понравилась. «Светлана его вряд ли не лучше его стихов» — Тургенев тоже считал Светлану частично самого Жуковского.

В Петербурге Светлане свободней, чем в Дерпте: горизонт шире, больше людей. Впервые видит она близ себя человека блестящего, друга Жуковского, ласкового и покорного, очаровательно преданного ей (ее опыт в «любви» — лишь хромой Войков).

Первые месяцы всё идет превосходно. Переписка с Германией оживленная. Жуковский очень доволен, что у Светланы с Тургеневым дружба. Как всегда он приветствует воззванные союзы душ, воображает то, чего хочется ему, а не то, что в действительности есть. Светлана слишком еще мало пылала. Любви не знала совсем. Тургенев знал, но слишком легко воспламенялся — бурный, полный, склонный к энтузиазму, склонен был и к глубоким чувствам. У Войковых стал бывать постоянно. О Светлане писал, что «от Светланы светлеет душа». «При ней цвету душою. Она моя отрада в петербургской жизни».

Всё шло полным ходом — у Светланы, повидимому, также. В начале 1821 года она ездила в Дерпт к Маше, вернувшись, болела в Петербурге (болезнь эта волновала Тургенева, вызывала нежность и боль любви). Еще по более ранним письмам ей Жуковский почувствовал, что одной дружбой дело его со Светланой не ограничится. И предостерегал. Тургеневу для

его же счастья надо уничтожить в чувстве своем всё, «что принадлежит любви». Тургенев, прочитав это, задумался, но и усмехнулся: Жуковский равен себе, судит по темпераменту собственному. Уничтожить любовь! Тогда уничтожится счастье. Да и сам Жуковский разве мог себя одолеть? Устроить всеобщее благоденствие?

Для Светланы дело стояло еще сложней: она мать семейства, жена. Дочь Екатерины Афанасьевны, выросла в семье благочестивой и благообразной. Да и сама такая. По натуре с детства резва и шаловлива, но ученица Жуковского, и рядом с проказами, смехом, записаны в отроческом ее альбоме изречения аскетические.

Значит, надо бороться. Попытки она делает (старается не встречаться с Тургеневым. Это не удается, слишком обе стороны именно хотят видеться). Тургенев продолжает быть своим и завсегдатаем в доме, читает со Светланой, ласкает детей. Но рядом Войеков. Отчасти он от Тургенева и зависит, тот могущественный его покровитель, но начинается ревность. По восторженному своему характеру Тургенев не всегда сдержан. Плохо собой владеет. В гостиной вдруг поправил рукой выбившийся у Светланы локон — Войеков закипел. И по городу начинают говорить о чрезмерной близости Тургенева к жене Войекова.

Когда Жуковский возвратился из Германии (февраль 1822 года), дело было в разгаре. Он застал не то, на что расчитывал, уезжая. Шел настоящий роман, со стороны Тургенева открытый, бурный, Светлана находилась в вечном отступлении и обороне, под перекрестным огнем. Войеков ей устраивал истории — и теперь некоторое основание имел. Мучил и Тургенев.

Жуковский сразу и довольно твердо выступил: дружба — да, любовь — нет. Убедившись же, что именно тут любовь, стал прилагать усилия, чтобы ей помешать. В глазах Тургенева вел игру против него. В этой борьбе, волнениях, иногда безумствах Тургенева — вплоть до пьянства — прошел год. Отношения их пребывали в хаосе. Но, повидимому, линия

«закона» брала у Светланы верх — она дочь своей матери и дитя строгого душевного воспитания (запись в отроческом альбоме, из немецкого листика: «Молись и трудись. Молчи и терпи. Улыбайся и умирай»). С Тургеневым она берет иной тон, он в отчаянии, упрекает ее, упрекает Жуковского, говорит резкости — только ухудшает дело, потом умоляет о прощении.

В марте 23 года Светлана уезжает в Дерпт к родам Маши — отъезд ее в большой мере устроен Жуковским. Тургеневу это ясно. Он пишет Жуковскому исступленное письмо. Обвиняет его в пособничестве Войкову, в измене дружбе, предательстве, считает положение его «отвратительным» и порывает с ним. «Прости навеки».

Вряд ли когда-либо получал Жуковский подобное. Ответ его неизвестен. Последствия со стороны Светланы были те, что это лишь отдалило ее от Тургенева. Встречались они теперь редко. Но вот в доме Карамзина Тургенев стал упрекать ее в холодности, она его в эгоизме и в том, что благодаря ему положение ее у себя дома ужасно — получилась «сцена». Кончилось же тем, что она запретила ему бывать у себя: при всей мягкости своей вдруг поступила резко.

Тургенев впал в полное отчаяние. До нас дошли некоторые его стоны. «Люблю ее неизъяснимо и люблю по прежнему и сильнее прежнего». «У ног ее прошу прощения, если любовь может быть виновата». «Буду любить и помнить ее до гроба, любил, как никогда и никто ее не любил».

Светлана написала у себя в альбоме: «Он сделал со мною то, что судьба сделала с Максом Пикколомини. Это чувство, такое прекрасное в моей душе. Он пробудил в ней глубокое чувство. Я ему простила, это не было мое лучшее чувство» (особенно мучило Тургенева то, что любимой женщине он не только не дал счастья, но был и причиной ее бед).

И вот нечто между ними произошло. Она дала всё-таки знак примирения и прощения. Было это и расставание, но в мире. Ту записку ее, как и миниатюрный портрет, он носил теперь на груди.

С Жуковским же не порвалось. В начале лета 25 года, оставив службу, Тургенев надолго уехал заграницу. Перед отъездом написал два письма Жуковскому. Всё в них любовь — и к нему, и к Светлане. Всё — просьба о прощении и забвении. («Прости мне последние два года моей жизни...» «Скажи, чтоб она совсем простила и берегла себя для детей»). И всё о ней, о ней забота, о ее материальном положении, о детях, даже о библиотеке ее.

Светланы никогда более он не увидел. Считал, что любить ее будет «до конца жизни», но, повидимому, ошибся. Слишком бурно всё пережил. Выкипело раньше, чем думал.

Благородную же заботу о ней и делах ее сохранил до конца. Но уж «с того берега».

В начале 1821 года Маша писала своей Дуне из Дерпта: «Прошлого году, в марте месяце, приносили студенту Мойеру виват, после которого поделались им бедным неприятности» (может быть, слишком шумели, переусердствовали в овации — подробностей нет). «Два из отличнейших, которые были вожди прочих, несправедливостью ректора попали в карцер. Они так обиделись этим, что выписались тотчас из студентов и один медицинер, по имени Зейдлиц, который был ассистентом майеровым в клинике, остался б посреди улицы без копейки денег и не кончивши своего экзамена, если бы Майер не взял его к себе в дом, где он и поселился в апреле прошлого года».

«Медицинер» этот есть тот самый Зейдлиц, с которым познакомился Жуковский на «фукс-коммерше» уж довольно давно. До могилы предстоит ему сопровождать путь Маши и Светланы. Верный медицинер скажет в старости, что за всю жизнь выше и очаровательней этих сестер никого не знал. В книге своей о Жуковском прославит всех троих.

А сейчас он скромный жилем в доме майеровом, обожатель Маши. Называет ее Mutter Marie, обо всем с ней советуется, делится планами, дает чинить старое белье, сопровож-

дает на прогулках. Разумеется, он музыкант. («Заиграл мой добрый Зейдлиц Thekla Geister Stimme» — это было осенью 20-го года, во время беременности Маши: навевал на мать и младенца тишину, детскость души своей). Надо думать, что просто глубокой и чистой любовью полюбил эту Mutter Marie, прелестнейшую из встреченных им женщин.

Мойеру не очень это нравилось. Но Зейдлиц не Тургенев, иное соотношение его с Мойером.

Когда тому пришлось на некоторое время уехать в Муратово, то, чтобы его не расстраивать и вообще из осторожности, Екатерина Афанасьевна и Маша решили принять меры: Зейдлица отправили в Ревель, на родину. Он оттуда вернулся за несколько дней до приезда Мойера. Екатерина Афанасьевна впала опять в такое беспокойство, что заразила им Машу. Та изменила обращение с Зейдлицем. Его печаль даже испугала ее. С мужем, однако, она обо всем переговорила и медицинер ничем, в конце концов, не смущил их налаженной жизни.

Да и не ему смутить. Та, вторая, невидимая жизнь Маши настолько была самостоятельна и глубока, так связана с Жуковским, что для нее Зейдлиц был, конечно, только милый ребенок.

Но другое существо появилось рядом — родившаяся девочка. Миистически переживала ее Маша, нося во чреве, мистически и теперь относилась. «Поверишь ли, я не просила у Бога Катьке долгой жизни, да и вообще ничего не просила, ни счастья, ни здоровья, а только царства небесного».

Окружающие ждали непременно сына и уже окрестили его Андрюшой.

«Все другие, кликав его девять месяцев Андрюшой, также не могут отвыкнуть. На молитве назвали ее Сашей, на крестинах — Катей, а в моем сердце Дуняшкой или Дашей. Когда она глядит ангельски, то я зову ее Даша, а когда очень люблю, то Дуняша, прочие же оба имени употребляются по будням и в праздники, ночью и днем, во сне и на яву».

... «Я еще ни разу о ней не молилась, мне страшно самой попросить что-нибудь у Отца для нее. Кажется, Ему

она еще должна быть милее, как же мне сметь вступаться в Его виды? Я так уверена, что Он бы услышал всякую молитву».

Мария Андреевна Мойер, бывшая Маша Протасова, теперь не такая, как была некогда дома, в Муратове: рисунок показывает несколько располневшую женщину (она вновь беременна), спокойно полулежащую в кресле. На лбу локон, огромный узел волос на затылке, легкие кружева окаймляют шею. На ней просторное платье. Во всей позе и выражении тонкого, но и простого профиля с мелкими чертами лица (тонко рукой сестры вычерченного — Светлана отлично рисовала) — во всем спокойствие и задумчивость. «Да будет воля Твоя».

Эта Мария Андреевна читает с мужем Клопштока, беседует о нем, соглашается или не соглашается, в четыре руки играют они на рояле Бетховена, личного знакомца Мойера! Как и муж, Маша за инструментом в очках. Как и он, тиха и благообразна. Но вполне ли спокойно сердце?

Вот Жуковскому, 1 февраля 21 года: «Ты у меня в сердце так как должно, в будни и праздники; но прошедшее больше бунтовало, и Катя со своими голубыми глазами не всегда могла усмирить бурю».

Авдотье Елагиной, 1 февраля 22 года: «Жуковский возвратился... здоров и старый. Душа, ты можешь вообразить, каково было увидеть его и подать ему Катьку! Ах, я люблю его без памяти и в минуту свидания чувствовала всю силу любви этой святой, которую ни за какие сокровища света отдать бы не могла».

А повседневность идет. Мойер ездит на лекции, лечит больных. Зейдлиц делает люльку для сына Светланы — ожидающегося. Маша отправляет ее в Петербург сестре. А летом побывала Маша в родных местах. Это путешествие в некотором отношении замечательно.

В Белев Маша попала на рассвете — тотчас бежит к прежнему их дому. И поражена разрушением. Домик Жуковского с видом на Оку — и того хуже. Весь двор зарос крапивой, у забора ивы шумят, их она сама насадила в 1806 году. Слезы, волнение ... — бросается на траву, плачет.. Отвори-

лось окошко наверху, в комнатке Жуковского: выглянул мужик — теперь помещался тут земский суд.

Она ушла, направилась к Оке, за город, где гуляла не-когда с Жуковским. Подошла к самой воде. Солнце всходило, стадо паслось вблизи, кулички низко летали над песчаным берегом. Вот она вода, Ока, былое! Будущего нет. Да и жизни нет, она близится к концу. «Я молилась за Жуковского, за мою Китти! О, скоро конец моей жизни — но это чувство доставит мне счастье и там. Я окончила мои счеты с судьбой, ничего не ожидаю более для себя и совершенно счастлива . . .».

Ей двадцать девять лет, она говорит, что «стара» и близок ее конец. Откуда это? Почему еще пред рождением Кати писала она, что ей жить недолго?

Всё на родине ее волновало. В церкви, где восьми лет впервые говела, она упала в обморок. В Муратове писала в комнатке Жуковского, побывала в имении Плещеевых, поклонилась могиле «незабвеннного друга Плещеевой» и, конечно, опять размышления о смерти. Но потом всё это ушло. Побыли сколько надо в Муратове, медленно, длино в Дерпт возвращались, и возвратились, и жили там целую зиму.

ГОРЕ

Не томи ж по Креузे утраченной сердца.
Вергилий, «Энеида».

Жуковский возвратился из Германии в феврале 1822 года. Светлана встретила его радостно, почти восторженно, как и он ее. Поселились все вместе, не в Аничковом дворце, а на Невском, напротив. Воейков получил через Жуковского выгодное место — издавал «Русский Инвалид». Материально Светлана была теперь устроена хорошо. Душевно — сложно и нелегко. Но все трудности с мужем и Тургеневым вывозил на своих плечах Жуковский, «украшение мира» (слова Маши).

Когда он со Светланою рядом, ее дело прочно — он давал ей и легкость, и свет, и прикрытие от Воейкова. При мечтательности родственной предавались они воспоминаниям. Прошлое, молодость, Муратово, Белев... — всё оживало и оживляло.

Созвездие удивительное: от Жуковского слава, художнический авторитет, Светлана — очарование женственности, изящества и привета. Завели как бы салон. Гости и друзья первостатейные: Батюшков, Гнедич, Крылов, Карамзин, Вяземский. Пушкина не хватало. В альбомах Светланы все знаменитости, с автографами и стихами, но без главной: Пушкин был холодноват к ней (стиль Светланы слишком для него заоблачен. Его занимали женщины попроще — вроде Керн).

Бывали и Баратынский, и Козлов. Позже Языков. Разумеется, вечный Тургенев. Светлана всех оделяла магической своей сильфидностью, лаской и светом. Это особенно ощущал Козлов, давний Жуковского приятель, несчастный поэт, сначала лишившийся ног, а потом ослепший. В салон Светланы вкатывали его на низком кресле, он смиленно въезжал в блестяще-изысканный этот круг. Смиленно-восторженно принимал ласку Светланы. («День светлый, как душа Светланы» — строчка стихотворения его, Светлане и посвященного. Писание Козлова, возникшее из горя и шедшее на значительной духовной высоте, ею и поддерживалось, вдохновлялось. Он ее боготворил. Ангелом прошла она чрез его жизнь).

Воейков, мрачный «карла», гнездится вблизи, полный острых, мучительных чувств, то язвящий, то раскаивающийся, а то близкий к шантажу. Тайная месть сладка для таких душ. Когда на Жуковского появилась, наконец, очень злая эпиграмма, Воейков с восторгом прочел ее Жуковскому (другие считали — и это возможно — что сам ее и написал: подпольем своим Жуковского ненавидел, конечно, как и Тургенева).

В этом 22-ом году, если не считать трудностей и осложнений с Тургеневым, Жуковский жил мирно, скорей даже счастливо: так и сам полагал. Приезжала из Дерпта Екатерина Афанасьевна. На лето все выехали в Царское Село, там Свет-

ланы родила сына (Андрея). Всё с поверхности олагополучно.

И в литературе удачно. Из Германии он привез «Орлеанскую Деву», охотно ее читал, с успехом заслуженным (пятистопный ямб, впервые без рифмы — новшество. Батюшкову, правда, не совсем это нравилось — размер находил он «диким и вялым». Но все чувствовали, что и тон, и дух, и полнота написанного, и подходящесть сюжета — всё это «чрезвычайно Жуковский»). «Орлеанская Дева» сразу стала в первом ряду писаний его.

Но она создалась до 22-го года и заграницей. В год же приезда своего, в Петербурге, Царском Селе — с осенним наездом в Дерпт — пишет он нечто иное. Из «Энеиды» берет эпизод гибнущей Трои. Конь, хитрость греков, ночное пожарище и избиение, безнадежная борьба. Вот Эней видит, что нельзя более сопротивляться, на себе выносит престарелого отца, Анхиза. С ним жена Креуза, сын. В грохоте пожара пробираются они к выходу — там, невдалеке, на священном холме собираются уцелевшие троянцы. Но вблизи ворот, в стычке с греками, Эней теряет Креузу — она гибнет. Он возвращается в город, ищет, томится... — лишь дух убитой смутно является ему среди ужаса происходящего — и напутствует нежно к уходу навсегда, с сыном и отцом, в дальний край:

О, Эней, о сладостный друг...

Долго изгнаниником будешь браздить беспредельное море,
Там в Гесперии, где волны Лидийского Тибра по тучным
Людным равнинам обильно медлительным током лиются,
Светлое счастье и царский венец, и невесту царевну
Ты обретешь. Не томи ж по Креузе утраченной сердца.

Быть при себе мне сулила великая мать бессмертных;
Ты же прости; поминай о супруге любовию к сыну.

И таинственно влечется Эней далее, к приключениям, новой жизни, под знаком вечных святынь покинутой Трои. Креуза навек у него взята.

Так написал две тысячи лет назад Вергилий. А мечтательно-тихий Жуковский склонился почему-то, на границе 23-го года, вниманием и любовью к повести этой. Не разгром Трои и не убийства, пожары его занимали. Всего лучше звучит у него запредельный голос погибшей:

Не томи ж по Креузе утраченной сердца.

Наступил новый год. Рождение свое, 19-го января, Жуковскийправлял весело, шумно, точно бничего и не было. Через месяц отправился в Дерпт (со Светланою, к родам Марии, но и увозя Светлану от Тургенева).

В Дерпте чувствовал себя покойно. Прежнее замирало, что-то он принял. Мойеры жили достойно, тихо. Нет волнений любви, труд, музыка, чтение вслух, ребенок. А вот-вот будет и новый. Воейковы поселились отдельно, Воейков держался довольно смироно.

Родной уют для Жуковского: все его любят, в Дерпте много знакомых — профессора и художники, музыканты, студенты. Предвечерними зорями, уже весенними, с шоколадным снегом на улице, протыкающимся под копытами лошадей, при веселых лужах и воробьях, тучкой взлетающих с дороги, прогуливался он по мирным улицам города. Мартовский романтический закат, тихие зори. Возвращаясь, мог застать Машу и Мойера за роялем, при свечах разыгравшими сочинения мойеровского знакомого: Ван-Бетховена. Жуковский слушал и сам, а потом сам читал вслух.

Пригреваясь теплом милых сердцу, так вводивших в белевский мир и муратовский, мишенский, он засиделся, просрочил отпуск. Надо было уж уезжать — не хотелось. Наконец, день настал, ничего не поделаешь.

Лошадей заказали давно, выезжать надо вечером, от Мойеров. Все собрались. Вещи уложены, Жуковский в дорожной шинели, теплой шапке. Сидят, ждут. Уезжающий и накормлен, и все русские предотъездные чаи отпиты, разговоры переговорены. А лошадей нет. Начинают уставать. Рано встают, рано привыкли ложиться. Мойер зевает. Светлана,

худенькая и некрепкая, бледнеет. Маша неестественно полна, в капоте — тоже погружается в туман.

Жуковский предложил Воеиковым идти домой и проводил их. Вернулся, настоял, чтобы Мойеры шли спать к себе наверх, а он внизу подремлет. Когда подадут лошадей, зайдет проститься. Они взяли с него слово, что вот именно и зайдет.

Он уселся в шинели внизу и подремал — недолго, около получаса. Лошадей, наконец, подали. Поднялся, подошел к лестнице, скрипнул ступеньками ее и хотел было уж назад спуститься — жаль будить Машу. Но она не спала. Мойер похрапывал в колпаке своем, Маша не спала. Он вошел в комнату. Маша хотела встать, он не позволил. Подошел, поцеловал. Маша попросила, чтобы перекрестили.

Он и исполнил. А она откинулась, спрятала голову в подушку.

Вот и всё. Так попрощались, так расстались. А потом темная ночь, кибитка, ухабы, запах влажного меха, в который кутался, может быть и слеза украдкой — впереди дальний, скучный путь под вековечный русский колокольчик, ямщики, станции, вслушивающие речки, сырье сугробы — начинается распутица.

Был ли он покоен? Чувствовал ли что-нибудь?

Возвратился в Петербург 10-го марта. А 19-го посторонний человек сообщил ему, что в Дерпте, накануне, от родов скончалась Марья Андреевна Мойер. Ребенок родился мертвым.

Маша Протасова, «маткина-душка» его молодости, не была венчана ему церковью. Была, будто бы, для него «никем». Но в каком-то смысле соединена навечно. Когда Лаура умерла, Петрарка продолжал свое, только вместо «*In vita di Madonna Laura*» сонеты стали называться «*In morte di Madonna Laura*». Жуковский просто замолчал. Зейдлиц считает, что с уходом Маши кончилась лирическая часть его писания. Если это и сгущено, всё-таки почти верно.

За год до ее кончины написал он о Креузе. Как теперь

«томил» по «утраченной» сердце, мы не знаем. Одиноких стонов его не слышно. То, что до нас дошло, уже настоящий «Жуковский», непоколебленный, всё принимающий и всегда светлый. «Друг милый, примем вместе Машину смерть как уверение Божне, что жизнь — святыня». «Мысль о ней, полная ободрения для будущего, полная благодарности за прошлое, словом — религия!»

Он, разумеется, снова в Дерпте, тотчас туда кинулся. Неясно, попал ли на похороны: скорее — нет.

«Первый весенний вечер нынешнего года, прекрасный, тихий, провел я на ее гробе. В поле играл рог. Была тишина удивительная. И вид этого гроба не возбуждал никаких мрачных мыслей».

«В пятницу на Святой Неделе... были на ее могиле». Стояли на коленях — мать, муж и дети, и все плакали. Под чистым небом пение «Христос Воскресе из мертвых, смертию смерть поправ...» «Теперь знаю, что такое смерть, но бессмертие стало понятней. Жизнь — не для счастья: в этой мысли заключается великое утешение».

Три дня перед отъездом его провели на могиле — сажали деревья, цветы.

ЕЛИЗАВЕТА РЕЙТЕРН

Во второй половине жизни своей Жуковский много сил отдал обучению и воспитанию Наследника, будущего Императора Александра II. Жизнь вел уединенную и довольно одиночную. В 1837 г., когда обучение уже окончилось, совершил с Наследником путешествие по России и Западной Сибири

... Отдых в Петербурге недолгий. Весной новое странствие, с тем же Наследником, теперь по Европе западной. И вот второй год он в движении — экипажи, гостиницы, дворцы, иностранцы, приемы, разговоры... Побывали в Берлине, жили

в Свинемюнде у Балтийского моря, а потом в Швеции — скалы, озера, границы, замок Грипсхольм со стариной и таинственностью, под стать Жуковскому времен молодости. После Швеции снова Германия, тут Наследник заболевает. Ему назначено лечение в Эмсе. Они туда едут.

От Эмса недалеко Дюссельдорф, в Дюссельдорфе же старый приятель Жуковского Рейтерн, память о милой зиме 33-го года. Он к нему отправляется, застает «в кругу семьи». А семья оказалась немалая: к прежним детям прибавилось еще трое. Старшие дочери Елизавета и Мия, «расцвели как чистые розы». В Беве знал он Елизавету ребенком, теперь это восемнадцатилетняя светловолосая девушка «лорелейского» типа, мечтательная и нервная — поэзия, чистота, скромность...

Он провел у них несколько дней, а потом опять передвижения: всё теперь связано со здоровьем Великого Князя. Едут в Италию, живут в Комо. А там Венеция. Жуковский чувствует себя не особенно важно. Годы, некоторая усталость-меланхolia владеет им. Он в Венеции и совсем загрустил.

Был начат уже тогда перевод «Наль и Дамаянти», но вряд ли ушел далеко. Поэма индийская мало соответствовала тогдашнему его настроению. «Камоэнс» Гальма пришелся как раз по душе. Им он и занялся, выражая себя в чужом, добавляя и убавляя по собственному сердцу.

Батюшкова вдохновлял в свое время Тассо. Жуковского теперь Камоэнс — великий в несчастьи своем, непонятый, кончающий дни в каморке лиссабонского лазарета.

Торгаш Квеведо, бывший школьный товарищ его, разбогатевший и самодовольный, приводит к нему сына — тот начинающий поэт, бредит стихами, восторгается Камоэнсом. Квеведо хочет, чтобы пример нищего и одинокого поэта отвратил сына от поэзии: вот ведь куда она приводит!

Старый и молодой поэты вместе. Старый сперва остерегает молодого. Так-ли предназначен он для этой доли? Путь тягостен, слава обманчива. Нужно-ли брать крест? Но тот энтузиаст:

О, Камоэнс! Поэзия небесной
Религии сестра земная; светлый
Маяк, самим Создателем зажженный . . .

и далее:

Прекрасней лавра, мученик, твой терн!

Тогда Камоэнс меняется: да, если пред ним истинный поэт, то пусть идет со своим словом в страшный мир, тогда всё хорошо, даже страдание. Ибо

Страданием душа поэта зреет
Страдание — святая благодать.

Квеведо не достиг цели. Камоэнс не отговорил сына его, Васко. Напротив, благословил. В волнении, экстазе он не выдерживает — тело слишком уж истомлено. Предсмертное видение Камоэнса — сияющая дева, всё лучшее на земле: Поэзия. Он умирает. Последние его слова:

Поэзия есть Бог в святых мечтах земли.

Всё это явилось теперь перед самим Жуковским, написалось во славу и Поэзии и всего возвышеннейшего, что было в жизни и ушло. Но оно вечно и сопровождает. Поэзия, Религия — это слилось, и живое сердце видения не есть ли давняя, отошедшая любовь?

«Камоэнс» Жуковского мало прославлен. Его мало и знают. Но внутреннего Жуковского он хорошо выражает.

С этим «Камоэнсом», вероятно еще неконченным, попадает он в Рим. Весь январь 39-го года проводит в нем с Гоголем.

Гоголь теперь не тот «малоросс» 30-го года, «гоголёк», что читал приживалкам бывестные писания свои. За ним и «Миргород» и «Тарас Бульба» и «Ревизор». В Риме, на Strada Felice пишет он «Мертвые души» и не знает своей судьбы, но величие ее чувствует, но грозное веяние славы и дорогая цена ее, как и Камоэнсу — ему предлежат.

А для Жуковского он свой, почти домашний, три года назад читавший на его субботах в Петербурге «Ревизора», Гоголь, которого год назад он выручил из денежных затруднений — Гоголь-друг, такой же поэт, как и он сам. Гоголь считал Италию родиною своей (остальное только «приснилось»), Жуковский ее обожал. («Я болен грудью по Италии»).

Их месяц январь 39-го года в Риме был месяцем восторга перед Римом. Для Рима Жуковский забросил даже Наследника — гораздо, конечно, ему интереснее и плодоноснее бродить с Гоголем по святым и великим местам Рима, чем быть в условной и докучливой атмосфере Двора.

С Гоголем забирались они и в купол Св. Петра, и бродили с коровами по Форуму, и выходили за Понте Мильвио созерцать безглагольную Кампанью. Оба при этом рисовали. (Жуковский вообще любил живопись. Считал ее «сестрой поэзии», а сам к этому времени вошел в зрелую, более цокойную полосу рисования своего: после смерти Маши весьма склонялся к мистицизму и символизму в рисунке, теперь ближе подходил к жизни. Глаз всегда у него был острый, сейчас особенно привлекала прелест видимости — пейзаж, бытовая сценка. Сколько же давал ему Рим в этом! Аббат, старуха с козой, вид с террасы виллы Волконской...). Гоголь сам рисовал недурно. В Жуковском удивляло его умение, быстрота, с которой он действовал. «Он в одну минуту рисует их («лучшие виды Рима») по десяткам, и чрезвычайно верно и хорошо» — Гоголь всегда восторженно преувеличен, но тут в восторженность его веришь: Жуковский — Рим — есть чем зажечься. Вот слово Гоголя: «Рим, прекрасный Рим! Я начинаю теперь вновь чтение Рима, и Боже! Сколько нового для меня... это чтение теперь имеет двойное наслаждение, оттого что у меня теперь прекрасный товарищ. Мы ездим каждый день с Жуковским, который весь влюбился в него и который, увы, через два дня должен уже оставить его. Пусто мне сделается без него! Это был какой-то небесный посланник ко мне...».

Небесный посланник! Не впервые Жуковского так чувствуют, так понимают общение с ним. («Что за прелест чер-

товская его небесная душа» — пушкинские слова. Оба они теперь его оплакивали).

Но небесной душе недолго быть в Риме, бродить с Гоголем, рисовать, завтракать по тавернам, запивая жареного козленка и ризотто винцом *Castelli romani*. Неожиданный глас судьбы — Николая Павловича из Петербурга: Наследнику не проводить зиму в Риме, Неаполе, как предполагалось, а ехать к северу. Немедленно.

Тут ничего уж не поделаешь — уехали. А Гоголь вновь осиротел, один остался на своей *Strada Felice*, где над раскладным столом с «Мертвыми душами» реяло уже бессмертие, и самый дом, в который въехал из Парижа с двумя стами франков, освящался им тоже к славе. (С 1902 года он и украшен памятного доскою: «Il grande scrittore russo Nicolo Gogol in questa casa, dove abito 1838-1842, pensò e scrisse il suo capolavoro», улица же называется теперь *Via Sistina*).

А Жуковский уезжал навстречу еще новой своей судьбе. Но на земле Италии всё вращалось среди поэтов. В чемодане его лежал Камоэнс, в Риме оставался Гоголь. «Приехал сонный в Киавари, где увидел Паулуччи и Тютчева» — запись Жуковского: 4-16 февраля 1839. Значит, ехали через Сестри, Кави, дальше на Киавари, Нерви и Геную — путем столь очаровательным (многим странникам русским так с юности близким).

В Генуе был с Федором Ивановичем Тютчевым, дипломатом, секретарем русского посольства в Турине.

Кто знал тогда Тютчева как поэта? Что было напечатано из писаний его? Несколько стихотворений в журнале Пушкина, да и то без настоящей подписи. Но у Жуковского глаз верный. Юного Пушкина назвал же он когда-то — и без оговорок — «гением». Тютчева знал еще юношей. В пушкинский «Современник» Гагарин, сослуживец Тютчева, устроил стихи его через Жуковского. Теперь, в Киавари, был перед ним тридцатишестилетний человек, недавно потерявший жену. «Судьба, кажется, и с ним не очень ласкова», — говорит Жуковский.

А о нем самом: «Необыкновенно гениальный и весьма добродушный человек, мне по сердцу».

Всё дальнейшее, с ним и Наследником случившееся, относил Жуковский вполне к делу Промысла. Сам о своем будущем ничего не знает, как и Наследник не подозревает ничего. Приказано возвращаться в Германию, они возвращаются. Едут из Рима на Вену не так, как теперь бы поехали, а кружным путем через Лигурию — вероятно, боялись Аппенин под Болоньей.

После Вены Мюнхен, Штутгарт, далыше Эмс, Дюссельдорф, а там Гаага, Англия, снова Германия — и вот в Дармштадте Наследник знакомится с дочерью Великого Герцога, а Жуковский попадает в тот замок Виллингсгаузен, где шесть лет назад провел три дня, показавшиеся ему «светлым сном» — на прощание тогда девочка Лиза бросилась ему на шею и поцеловала. Теперь эта Лиза взрослая. Она образована и скромна, воспитана в семье строгой и религиозной: мать ее, урожденная Шверцель, принадлежит к католическим кругам. Отец, благодаря Жуковскому, стал живописцем при Русском Дворе — этим упрочил, конечно, жизненное свое положение. А сейчас они жили в Виллингсгаузене у старого Шверцеля, деда Елизаветы.

Жуковскому и на этот раз недолго удалось пробыть в замке, два дня. Он находился в настроении грусти и некоторого умиления. Трогала нежность и чистота Елизаветы, что-то согревало в ней, может быть и туманно, как сквозь сон напоминало юную Машу (хотя внешне похожи они не были). Грусть же и в том состояла, что смущал собственный возраст: пятьдесят шесть лет! Всё прошло. Жизнь позади — в эти два дня опять играл Жуковский роль из будущих повестей Тургенева.

Вечерами сидели по семейному, Елизавета с каким-нибудь рукоделием. Жуковский столько видел на своем веку и стран, и людей, столько знал и в искусстве, в литературе, сам являя

Олимп литературный — рассказы его пленительны, да особенно еще когда озарены нежностью зрелого человека к юности.

Можно представить себе как слушала его Елизавета. — «И всякий раз, когда ее глаза поднимались на меня от работы (которую она держала на руках), то в этих глазах был взгляд невыразимый, который прямо вливался мне в глубину души, и я бы изъяснил этот взгляд в пользу своего счастья, и он бы тут же решил мою судьбу, если бы только мне можно было позволить себе такого рода надежды».

Расстался он с замком Виллингсгаузеном и семьей Рейтернов в грустной мечтательности. Елизавета казалась ему светлым и мимо пролетевшим ангелом — всё это вообще сон: когда могут они вновь увидеться? Через несколько дней, в свите Наследника, он садился на пароход в Штеттине — возвращение в Петербург. Был уверен, что в Германию и на Рейн никогда не вернется. Но в сердце увозил нечто. (В Петербург уезжал с ним по делам и Рейтерн: Жуковский называл его «мой Безрукий»).

Сам-то он говорит, что эти встречи с Елизаветою в Виллингсгаузене остались только прекрасным воспоминанием вроде Италии, Рейна. Однако, повидимому, преуменышает. Что-то вошло в сердце, укрепилось в нем. Однажды в Петергофе «воспоминание» дало о себе знать. Он напомнил «Безрукому» о встрече в Виллингсгаузене. — Там я видел то, что мне вполне было бы счастьем, но увидел это уже поздно; мои лета не позволяют мне ни искать, ни надеяться.

На это Рейтерн ответил, что хоть разница в возрасте велика, но всё будет зависеть от Елизаветы.

— Ищи, прибавил. — Если она сама тебе отдастся, то я наперед на всё согласен. Ни от меня, ни от матери она не услышит об этом ни слова.

На том и покончили. Жизненно это ничего не могло значить. Жуковский находится в России и должен наблюдать за учением младших Великих Князей, кроме того, занят устройством своего «Мейергофского приюта» (имение, куда соби-

рался переселиться). Где же тут «искать» любви рейнской Елизаветы?

Но всё устраивалось непредвидимо. В рассказе об этом времени он упорно настаивает на Провидении, глубоко верит в него и верой своей покоряет. Действительно, получается постановка таинственного режиссера, он же играет свою роль сомнабулически — не знает сам, что́ играет.

Осенью, возвращаясь с годичного поминовения Бородина, где когда-то стоял в ополченском резерве, заехал он к своим. «Я увидел опять все родные места; и милые живые, и милые мертвые со мною все повидались разом» — будто между прежнею его жизнью и новой проводилась «живая грань».

Но вот самое удивительное — в Петербурге: весной его снова посылают в Германию, в Дармштадт с Наследником, брак которого со случайно встреченной принцессой Марией уже решен. Жуковский должен обучать ее русскому языку.

Начинаются новые странствования. Его личной воли в событиях мало. Неожиданности так подстраиваются, что всегда приводят ко встречам с Елизаветой: то это болезнь отца ее, то заболевает Король Прусский и Наследник уезжает к нему в Берлин, а ученица Жуковского в Мюнхен и ему нечего в Дармштадте делать, он собирается, конечно, в Дюссельдорф к Рейтернам. Едет туда с тем, что это прощание: принцессе Марии теперь уже не до уроков, она занята любовью и предстоящим браком. Двор скоро уезжает.

А две недели у Рейтернов очаровательны. Очарователен и отъезд в одиннадцать вечера, с пристани Дюссельдорфа.

«Безрукий» провожает Жуковского. Прибыли за полчаса до отхода. Луна, тишина, в глади рейнской ни струи. Вдвоем разгуливают они по палубе. Звезды над ними, звезды и в Рейне. Солнечные огоньки Дюссельдорфа, старинная романтическая Германия — «Ася» Тургенева.

Безлюдие, одиночество, прелесть природы дали смелость Жуковскому. Вот обращается он к Рейтерну.

— Помнишь ли ты то, о чём я говорил тебе в Петербурге? Теперь более нежели когда-нибудь почувствовал я всю прав-

ду того, что говорил тогда. Я знал бы, где взять счастье жизни, если бы только мог думать, что оно мне дастся. Но, хотя я вижу его перед собою, я не могу позволить себе никакой надежды. Остается, полюбовавшись им как прекрасным видением, отойти от него и пожалеть, что присвоить его невозможно.

К удивлению его, Рейтерн ответил, что вовсе не так невозможно. И по собственным наблюдениям, и от жены он знает, что Елизавета чувствует к Жуковскому расположение, и уж давно.

— Этого мне достаточно; с этой минуты я принадлежу ей, если вы согласны, чтобы она была моей.

Тут же покали они друг другу руки. Жуковский поставил только одно условие: ни отец, ни мать не должны говорить ей ни слова. Всё надо предоставить Провидению, на Елизавету никак не влиять. Если сердце ей скажет на свободе «да» — тогда и его судьба решится.

Зазвонил колокол, пароходу пора трогаться. Рейтерн с ним рас прощался и теперь одному ему, под теми же звездами, пред медленно уходившими огоньками Дюссельдорфа приходилось мерить взад-вперед палубу пароходную. Заснуть трудно! Пароход неторопясь выгребает вверх по течению, проходить ему мимо Кёльна старинного с Собором о двух башнях, мимо Бонна к Кобленцу, краем замков, холмов, виноградных лоз в тихой июньской ночи. Какой перелом в судьбе! Еще там, в Дюссельдорфе, пока пароход не тронулся, был он одноким путником, пассажиром парохода без определенной цели. «И вдруг в одно мгновение из чаши судьбы Провидение вынуло мне жребий, с которым всё, так давно желанное, разом далось мне».

Но волнения не было. Тишина, удивительная ясность, нечто похожее на выздоровление. «Половину этой ночи я не спал, а на другое утро проснулся как новый человек» — уже в Кобленце.

Теперь оставалось только объясниться с Елизаветой.

Получив разрешение от Государя остаться заграницей еще на два месяца, он отправляется в Дюссельдорф.

Подходил август. Жуковский жил в Дюссельдорфе и всё не решался. Страшно было переступить черту. А вдруг чувство ее туманно, недостаточно ярко — более всего смущал собственный возраст: он почти втрое старше ее. И уж лучше тянуть, мечтать...

По утрам они обычно гуляли с Рейтерном, разговаривали всё о том же. Жуковскому представлялось: может быть, написать ей? Нерешительность овладевала. Наконец, 3-го августа, на обычной прогулке, Рейтерн сказал ему, что медлить уж нечего: вчера после ужина Елизавета кинулась матери на шею и почти призналась в любви.

Когда вернулись домой, в прихожей Елизавета с матерью укладывали белье.

— Елизавета, дорогая, принесите мне в кабинет вашу чернильницу и перо.

Через несколько минут она вошла в комнату, робко поставила чернильницу, положила перо. И собираясь уже уходить, Жуковский стоял у стола. В руках его были небольшие часы. Голосом, слегка глухим от волнения, сказал:

— Подождите, Елизавета, подойдите... Позвольте подать вам эти часы. Но часы обозначают время, а время есть жизнь. С этими часами я предлагаю вам всю свою жизнь. Принимаете ли вы ее. Не отвечайте мне сейчас же, подумайте хорошенько, но ни с кем не советуйтесь. Отец ваш и мать знают всё, но совета они не дадут.

Ответ был краткий, незамедлительный.

— Мне не о чём раздумывать.

И кинулась ему на шею. Оставалось только позвать родителей. Они тут же благословили их.

До свадьбы, однако, было еще далеко: надо съездить в Россию, устроить дела, лишь тогда окончательно засесть на Западе.

Так Жуковский и поступил. Осенью уехал в Петербург, в январе 41-го года в Москве повидался с родными.

Всё теперь несколько менялось. Раньше он мечтал заканчивать дни в недавно купленном имении Мейерсгоф, недалеко от Дерпта, вблизи Мойеров и Екатерины Афанасьевны. Но Мойер вышел в отставку и поселился в Бунине, поместьи детей своих, в давних краях Жуковского. Екатерина Афанасьевна там же, с ними. Значит, Мейерсдорф ни с какого конца не интересен: и самому предстоит жить заграницей, и прежние близкие и родные далеко.

Он продал его Зейдлицу. Зейдлиц есть Зейдлиц: дал цену выше того, что имение стоило. Но и Жуковский не переменился: всю вырученную сумму — 115 тысяч — оставил трем дочерям Светланы.

Весной в Петербурге присутствовал на свадьбе ученика своего и воспитанника Цесаревича Александра.

У обоих судьбы оказались сходны. В Дюссельдорфе, в Дармштадте преломились внезапно их жизни.

16 апреля 1841 года Александр был обвенчан с принцессой Марией, дочерью Великого Герцога Гессен-Дармштадтского. Всё прошло пышно и блестательно, уводя навсегда Жуковского от Двора и Царей. Его очень хорошо обеспечили, за новую свою жизнь он мог быть в отношении средств покойен.

Неизвестно, был ли покойен внутренно. Елизавета прелестна, Рейтерны его обожают, предстоит тихая, нежная пристань. Но и прощание с бытым. Былому этому слишком он много отдал в свое время. Разве можно сравнить многолетнюю, как бы священную любовь к Маше, нежность полуотеческую к Светлане с довольно таки случайною встречей с Елизаветой? Да и тогда была молодость, первая острота чувств, теперь вечно надо оглядываться, что-то объяснять, как бы оправдываться в возрасте своем и друзьям ближайшим, как Зейдлиц, доказывать, что никак прошлому своему он не изменяет и ни от чего не отрекается. Зейдлиц, как и Мойер (до конца дней оставшийся в «протасовской» линии), никак Жуковского не порицал. Но во всей манере Зейдлица говорить о браке Жу-

ковского чувствуешь скрытую горечь. Лучше бы брака этого вовсе и не было.

А сейчас он устраивал всё для новой жизни Жуковского. Мало того, что купил Мейерсгоф (Элистфер), приобрел еще — очевидно ценную по воспоминаниям — и всю обстановку. (Но библиотека и картины оставались на хранении в Мраморном Дворце, до переезда в Германию).

В последний день перед отъездом заграницу Жуковский обедал у Зейдлица. Зейдлиц отлично его накормил — угостил, между прочим, любимой его «крутой» гречневой кашей. Но Жуковский невесел. Вокруг собственная его же мебель, висят три картины, которые он решил не давать в Мраморный Дворец (не везти в Германию).

Одна — портрет Марии Андреевны Мойер, работы Зенфта в Дерпте, две другие — виды могил: дерптской ее же, ливорнской — Светланы.

Обед кончился, Жуковский задумчиво подошел к своему бывшему письменному столу. «Вот место, обожженное свечей, когда я писал пятую главу «Ундины». Здесь я пролил чернила, именно оканчивая последние слова Леноры: «Терпи, терпи, хоть ноет грудь!».

«И в его глазах дрожала слеза. Вынув из бокового кармана бумагу, он сказал: «Вот, старый друг, подпиши здесь же, на этом месте, как свидетель моего заявления, что я обязываюсь крестить и воспитывать детей своих в лоне православной церкви. Детей моих! Странно!».

Пока Зейдлиц подписывал, он все смотрел, опершись на руку, на портрет Маши и виды могил. Вдруг заволновался.

— Нет, я с вами не расстанусь!

Встал, вынул их из рам и велел отнести вниз в карету. А Зейдлицу подарил собственный портрет, писанный в Риме в 1833 году. Подпись под ним:

«Для сердца прошедшее вечно».

Венчание происходило 21 мая 1841 года в посольской русской церкви Штутгарта. Повторено было затем и в лютеранской церкви.

СЕМЬЯ, ГОГОЛЬ, «ОДИССЕЯ»

Сообща со старыми Рейтернами наняли дом на окраине Дюссельдорфа, поселились все вместе, просторно: двенадцать комнат. Обставлено изящно. Много книг, картины, скульптура. Светло, с верхнего балкона вид на Рейн. Сад и огород, рядом парк. Весной заливаются в нем соловьи.

По сохранившимся рисункам самого Жуковского — впечатление света и чистоты. Природа как бы входит в этот дом, он с нею связан. Есть даже открытый портик, где обедают в хорошую погоду. Есть беседка в саду, как бы продолжение дома, вся в цветах, там можно проводить целые часы.

Свет, легкость рейнских далей, так в тонких, едва накрапленных рисунках чувствующиеся, идут к закатным дням Жуковского. В больших, светлых комнатах дома дюссельдорфского, рядом с милой Елизаветой окончательно отделялся «Наль и Дамаянти» — прославление верной и преданной женской любви. Тут же, несколько позже, написано и посвящение его, В. Княжне Александре Николаевне.

В посвящении этом есть и тишина вечера и как будто счастье мирной жизни семейной, но и меланхолический налет. Не отходят две любимые тени.

«... и слышу голос,
Да не смущается твоя душа,
Он говорит мне, веруй в Бога, веруй
В меня. Мне было суждено своею
Рукой на двух родных, земной судьбиной
Разрозненных могилах те слова
Спасителя святые написать ...».

В заключительной полосе жизни нечто и завершилось у Жуковского. Раньше были мечтания и томления, разлуки, невозможности. Теперь во сне он видит домик и

«...на пороге
Его дверей хозяйка молодая
С младенцем спящим на руках стояла.
И то была моя жена с моюю
Малюткой дочерью... и я проснулся».

Та же ли это любовь, что к Маше? У романтиков повторение случалось, и они в такое верили, как Новалис: любимая умирает, появляется другая, но таинственным образом все та же, первая... Есть, может быть, некий соблазн изобразить брак Жуковского в духе Новалиса, но это только соблазн. Маша есть Маша и неповторима, никогда Елизаветой ей не быть и болезненные ухищрения эти Жуковскому чужды (как и вообще христианину).

Первый год их супружества был самым счастливым. 4-го ноября 1842 года Елизавета Алексеевна родила дочь Сашу. Тут-то и начались затруднения. Повидимому, появление ребенка надорвало силы и здоровье ее. Что произошло, в точности неизвестно, да и медицина тогдашняя была очень уж приблизительна. Несомненно всё-таки, что надлом был. А с 1845 года, когда появился сын Павел, положение очень ухудшилось. Нервная болезнь возрасла, терзала Елизавету Алексеевну, изводила и ее, и окружающих. Мучили несуществующие грехи, казалось, что темные силы одолевают, она впадала в отчаяние. Для Жуковского наступило новое, странное и жуткое время, на которое, вероятно, менее всего он рассчитывал, вступая в брак. Вот как он об этом говорит: «Семейная жизнь есть беспрестанное самоотвержение, и в этом самоотвержении заключается ее тайная прелесть, если только знает душа ему цену и имеет силу предаться ей». Далее, позже: «Последняя половина 1846 года была самая тяжелая не только из двух этих лет, но из всей жизни! Бедная жена худа

как скелет, и ее страданиям я помочь не в силах: против черных ее мыслей нет никакой противодействующей силы! Воля тут ничтожна, рассудок молчит».

Без конца лечение, врачи, переезды — то во Франкфурт на Майне, то на воды, на курорты и всё под знаком болезни, мрака. Вот в Швальбахе испугалась Елизавета Алексеевна подземных толчков (землетрясения) — опять всё обострилось и вернувшись в Франкфурт она заболевает «нервической горячкой» — последствия же ее жестоки. «Расстройство нервическое», — пишет Жуковский, — «это чудовище, которого нет ужаснее, впилось в мою жену всеми своими когтями и грызет ее тело и еще более душу. Нравственная грусть вытесняет из ее головы все ее прежние мысли и из сердца все прежние чувства, так что она никакой нравственной подпоры найти не может ни в чем и чувствует себя всеми покинутой. Это так мучительно для меня, что иногда хотелось бы голову разбить о стену!».

Так говорит Жуковский. Жуковский, всю жизнь стремившийся к миру и гармонии, в себе носивший и тишину, и благозвучие, на старости лет как будто нашедший пристанище верное — вот именно уж как будто. Разбить голову о стену! Нет, не дано ему отдыха и в поздние годы. В юности всё стремился к счастью сердца. Оно удалялось, неизменно воспитывало в покорности Промыслу, в жизни «без счастья». Теперь как бы достиг он чего-то, основал, укрепил дом, семью, а внутри дома этого и семьи новая беда — для него же новое упражнение в преодолении бедствий.

Еще до рождения сына, в менее тяжкую, но уже предгрозовую полосу писал он Императрице в Петербург: «верить, верить, верить!» Как бы подбадривая себя, ожидая худшего.

Теперь, когда трудности развернулись, пишет Екатерине Афанасьевне в Россию: «Я убежден, совершенно убежден, что главное сокровище души заключается в страдании» — в свое время Екатерина Афанасьевна дала ему возможность изучить страдание вполне. Сейчас она доживает дни в прежних родных местах. Он продолжает: «... Но это одно убеждение ума —

не чувство сердца, не смиление, не молитва. А что без них все наши установления? Мы властны только не роптать, и от этой беды еще Бог меня избавил!» Хорошо, значит, то, что хоть смиленно переносит. А уж что переносит, это самоочевидно.

Тут-то, в разгар болезни, мучаясь и тоскуя, Елизавета Алексеевна вдруг решила перейти в католичество (она была лютеранка).

Несомненно, это намерение родилось из страданий. Казалось ей, что она погибает, вот, может, спасение придет от католицизма?

Можно себе представить, насколько Жуковскому тягостно было и это.

Он проявил упорство, сопротивлялся. Рейтерн поддерживал его. Совокупные ль их усилия, или самый ход желания ее (болезненно возгорелось, недолгим и оказалось) — но Елизавета Алексеевна в католичество не перешла.

.....

Блаженный месяц Жуковского и Гоголя в Риме не повторился. Но жизни их и судьбы сближались. Гоголю предстояло еще счастье Рима, счастье великой работы в нем над «Мертвymi душами» — в творении этом таился, однако, уж яд, понемногу его отравлявший. И с некоего времени он Рим покинул, в растущей тревоге, болезненности и пустыне внутренней начал свои скитания — неудерживаемые и неутолимые, как неутолимы были приступы его тоски.

Много европейских городов, курортов, вод видели это болезненное существо, в котором всё сильней укоренялось ощущение избранничества. Ему доверена истина, он должен поднять людей, научить, спасти... — при том сам как раз начинал погибать.

Странствуя старался выбирать места, где есть кто-нибудь из подходящих русских. Жуковский особенно был ему дорог.

Жуковский переводил в это время «Одиссею». Писание не мучило его, наоборот, облегчало. Правда, писание это вто-

рой линии, не гоголевское. В переводе «Одиссеи» была явная осуществимость. Дело несравненно более скромное, хотя относился к нему Жуковский с великой серьезностью, почти священнодейственно (и полагал, что «Одиссея» эта — главное, что от него останется). Гоголь с «Мертвыми душами» — особенно со второй частью — вполне священнодействовал, притом цель ставил неосуществимую. Заранее можно было сказать, что летит в пропасть.

Оба много в эти годы страдали, по разному. Жуковский покорно нес крест семьи (и написал, среди прочего, как раз «Выбор креста»). Литература освежала его, укрепляла.

У Гоголя не было ни семьи, ни семейных тягостей. Литература была его жизнью, величием, мученичеством. Он такой же монах литературы, как Флобер, но и учитель жизни.

Его окружал воздух трагедии. Жуковскому трагедия не подходила.

Жуковского этого времени видишь пополневшим, с лицом, может быть, несколько одутловатым, но те же прекрасные, добрые и задумчивые глаза — они уже находились на границе болезни, начиналось недомогание. Он носил очки, сильно довольно горбился, но за своим бюро, в светлом кабинете, работал стоя попрежнему, всё так же предан труду и с перерывами, но неукоснительно подвигается — дело здоровое и верное.

Гоголь худ, остронос, ходит в пестрых жилетах, цвет лица у него землистый, кожа слегка блестит. Нечто как бы затхлое в нем. Он вечно спешит, всё надо куда-то уехать, демон тревоги гонит его. Над ним великое дело, он чувствует необъятность задания, необъятность призыва своего и слабость сил. Он хил. У него холodeют руки, вечная история с желудком (полагал, что пищеварительные его органы устроены по особенному, не как у людей. Да и вообще считал себя особенным — в чем был и прав).

То живет в Бадене, то в Греффенберге, то в Карлсбаде, то едет в Париж, то во Франкфурт, а то и вновь в Рим, но теперь прежнего, светлого, творческого Рима нет уже для него.

Во Франкфурте поселяется у Жуковского. Жуковский

достает для него деньги у Наследника, Жуковский ухаживает, конечно, за ним — для него он попрежнему «Гоголёк», но сомнения нет, что к тревогам и мучениям с женой прибавились теперь и сложности с Гоголем.

Гоголь нередко гостила у своих друзей и в России, и за границей. Везде он собою заполнял всё. Он центр мира, к нему все должны стремиться, ему служить. Он давно назван гением — значит, всё и дозволено. А теперь к этому присоединяется страсть учительства. Он в разгаре «Переписки с друзьями», в настроении этой удивительной книги, где детские страницы перемежаются с гениальными, где всё «выпалось» из души, всё значительно и необычайно, даже нелепое.

А Жуковский тут под боком. Пишет свою «Одиссею», читает главы ее вслух Гоголю, чрезвычайно его восхищает ею — тот пишет даже статью об «Одиссее» в «Переписке», ожидает от труда друга своего великих последствий. Но хочет и учить Жуковского. Завладев многим в повседневности дома, хорошо бы и самого хозяина подчинить. Способ теперь излюбленный — письма. Живет у него же, ему же и пишет. Вот в письме упрекает в том, что Жуковский, так богато награжденный Богом (талант, известность, семья в старости), всё же «не может переносить и малейших противоположностей и лишений». Пусть он в минуту тревоги и тоски просто подойдет к столу, возьмет это письмо и обратится к Богу — с просьбой, со слезами... — «и — вы их победите». Достаточно обратиться к Богу с письмом Гоголя и всё будет отлично. (На языке церковном такое самообольщение называется «прелестью», явлением болезненным: это и есть настояще).

Надо думать, что Жуковский терпеливо принимал всё это. По крайней мере отношения их не только не испортились, а наоборот укрепились. Обоим было трудно, в некотором смысле они друг друга поддерживали.

Жуковский в то время был очень одинок литературно. Возраст немалый. Чужбина... «Одиссея» же и вообще на любителя. Публике она чужда. А ближайшая душа, Елизавета Алексеевна, ничего по-русски не понимала. Были слушатели,

ЖУКОВСКИЙ

которые могли заслонить толпу: Хомяков, Тютчев, но они залетные, случайно. Гоголь же был рядом, и не только по части «Одиссеи», но и вообще в главнейшем они близки.

Когда вышла в свет «Переписка с друзьями», одиночество Гоголя тоже возрасло. Все брали ее, даже духовные лица, только не Жуковский. Находили в ней позу, учительство, мракобесие и надменность: Жуковский ее принимал. Он не раз Гоголя поддерживал, в течение его жизни, материально. Теперь в горькую полосу поношений, заушений, одиноко и верно заступился за него. Лишний раз показал при том, как правильно и дальновидно судил. Сам не модный тогда писатель, идя наперекор общему мнению (даже людей родственного духа), намного обогнал в суждении о «Переписке» век свой. Не всё было ему открыто в Гоголе, но многое. Гораздо больше, чем другим.

.....

Первое чтение «Одиссеи» связано с молодостью, июньскими днями русской деревни, запахом лип цветущих, покоса. Покачиваясь в гамаке, покачивался в музыкальных гекзаметрах. Поэзия светлая — древность смягчалась в ней веянием новым.

«Не совсем Гомер», думалось, вспоминая недавнее еще, ученическое чтение отрывков его в подлиннике. Но очаровательно. И при том перевод точный. Много страшного и первобытного, но едва заметным движением слов, их музыкой, кой где добавлением, кой где облегчением дается иной оттенок и целому.

Получается грустнее, чем у Гомера, трогательнее и «душевнее», ибо прошло через христианское сердце.

Все это подтвердились, когда через сорок лет эту же «Одиссею» пришлось перечитывать светлой осенью под Парижем, и тоже в деревне — тут уж сличались и некоторые стихи с дословным изображением подлинника.

Жуковский не знал греческого языка. Немецкий профессор слово в слово перевел ему «Одиссею» — собственно

даже не перевел, а над каждым словом гомеровым надписал соответственное немецкое.

Сквозь дикую пестроту эту Жуковский пытался «угадывать» Гомера. Точней было бы сказать: и угадывать и самому что-то говорить, Гомером пользуясь, — так он делал и раньше. Он и здесь остается Жуковским зрелости своей. Что могло его так привлекать теперь в «Одиссее»? Не язычество же ее и не «возлежание» Одиссея в странствиях то с одной нимфою, то с другой. Разумеется, близок «дух поэзии», то «чудесное» восприятие жизни, какое есть у Гомера — одновременно нравилась и прочность уклада: это близко было в «Одиссее» и Гоголю. Всё «правильно», основательно, патриархально. Нечто, от чего может мутить, им как раз приходилось по сердцу. Склад общественный, непререкаемость власти и власть «избранных» — всё хорошо. Гоголь недаром писал в «Переписке» об «Одиссее» — полагал, что для общества русского будет она откровением и поучением. Ему представлялось, что он сам ведет это общество ввысь «Перепиской», Жуковский-же «Одиссей». Ни то, ни другое не вышло. Замечательны книги обе, влияние-же их на современников было: для Жуковского нуль, для Гоголя минус («Благодетельный» помещик Гоголя не так далек, в мечте его, от «домовитого» Одиссея, но ни тот, ни другой к России не привились. Никого в России «Одиссия» не воспитала. «Переписка»-же только разожгла злобные чувства. Ее оценка пришла позже).

«Одиссия» писалась семь лет, с 42-го по 49-й. Последние двенадцать песень создались необычайно быстро, в несколько зимних месяцев.

«Одиссия» была для Жуковского формою жизни. В ней, ею он жил, даже во времена перерывов. Придавал ей большое значение, считал, что это главное, остающееся от него (в чем, все-таки, прав не был, хотя в некотором смысле и является «Одиссия» его capolavoro. Но если-бы лишь она одна от него осталась, знали-ли бы мы облик Жуковского как теперь знаем по лирическим и интимным стихам?).

Встречена книга была равнодушно. Мало ее заметили. «Переписка» сердила, «Одиссеи» как будто и не было. Даже знакомые, даже друзья, кому он разослал экземпляры с надписями, не откликнулись. Просто молчание. «Почти ни один не сказал мне даже, что получил свой экземпляр. Если так приятели и литераторы, что-же просто читатели?»

Но под ним почва прочная. «Я и не для участия от кого бы то ни было (сколь оно ни приятно), работаю над «Одиссеей», я пожил со святою поэзией сердцем, мыслию и словом — этого весьма довольно».

«Для чего я работал? Уж, конечно, не для славы. Нет, для прелести самого труда» (Зейдлицу, позже). «В 68 лет не до славы; но весело думать, что после меня останется на Руси твердый памятник, который между внуками сохранит обо мне доброе воспоминание».

Еще ранее, прежде чем кончил он «Одиссею», на родине завершалась часть судеб близких ему лиц. Дерпт для него теперь кончился вовсегда. Даже Мойер вышел в отставку и жил в Бунине, Орловской губернии, доставшемся ему через покойную жену Марью Андреевну. С ним и дочь Катя и теща Екатерина Афанасьевна. Дуня Киреевская, теперь Елагина, милый друг юности, теперь давно уже немолодая дама, умница просвещенная — у ней салон в Москве, где бывает цвет литературы.

От первого брака дети Петр и Иван Киреевские, украшение культуры русской, национальной и духовной. А от второго сын Василий — назван, разумеется, в честь другого Василия, «Юпитера моего сердца». И вот в 1845 году получил Василий Жуковский известие, что за Василия Елагина выходит замуж Катя Мойер — эти Вася и Катя тоже дальние родственники, тоже восходят к прадеду Бунину. Многое могло вспомниться Жуковскому при известии этом, из его собственной юности.

«Благословляю ее образом Спасителя, который должен находиться между образами Екатерины Афанасьевны, и кото-

рым благословил меня отец*). К самому браку отнесся он торжественно, в соответствии с общим своим духовным состоянием тогдашним. День венчания знал. В час, когда по его представлению должен был совершаться обряд в церкви, стал с женой и детьми на молитву. Коленопреклоненно молились они о счастьи новобрачных, «читали те места из Св. Писания, которые произносятся при совершении таинства и после того несколько строк из немецкого католического молитвенника».

Молодые устраивают свою жизнь, старые удаляются. Умирает в Москве друг юных лет, прошедший и через взрослые — тучный, живой, добрый, влюбчивый Александр Тургенев. В 1848 году уходит Екатерина Афанасьевна и век самого Жуковского близится к исполнению.

48-й год для него нелегок. То, что утробно он ненавидел — революция — прокатывается по всей Европе, с главной бурей как всегда в Париже. Всё это его угнетает. Кроме того, и жене хуже, и у самого начинают болеть глаза, приходится диктовать.

««Обстоятельства мои давно уже грустны: упорная болезнь жены, не опасная, но самая мучительная, потому что мучит вместе с телом и душу, давно портит мою жизнь и разрушает всякое семейное счастье».

Около Франкфурта беспокойно. Поехали в Ганау посоветоваться с врачом. В Ганау анархия. Елизавета Алексеевна так испугалась и разболновалась, что снова слегла. Всё-таки он повез ее в Эмс.

Собирался в Россию. Предпринял даже некоторые шаги. Но выехать всё-таки не решился, из-за холеры в России (конец июля). Просто отправился в Баден. Тут стало несколько лучше обоим: и Елизавета Алексеевна оправилась, и его глаза восстановились — с этого-то октября по апрель 1849 года и дописывал он «Одиссею».

В Петербург не попал, но в конце января в Петербурге

*) Единственное место из всего, написанного Жуковским где упоминается отец.

этом Вяземский и (немногие) друзья праздновали 50-летний литературный его юбилей. Сделано это было интимно, в доме Вяземского — для чествования открытого слишком Жуковский в России был одинок.

Хозяин прочел свое стихотворение, Жуковскому посвященное; другое его же, положенное на музыку, даже пели. Приехал Наследник. Собрали подписи присутствовавших — приветствие переслали в Германию, с описанием праздника. Государь пожаловал юбиляру орден Белого Орла.

А самого Жуковского преследовали в Германии беспокойства. Весной, из-за политических треволнений и «мятежа» пришлось спешно перебираться в Страсбург, лето же провести в «тихом приюте Интерлакена, близ черной «Снежной Девы», между Бриенцским и Тунским озерами. По словам Зейдлица, климат повредил там обоим. Во всяком случае, осенью 49-го года Жуковский так пишет: «Моя заграничная жизнь совсем невеселая, невеселая уже и потому, что непроизвольная; причина, здесь меня удерживающая, самая печальная — она портит всю жизнь, отымаает настоящее, пугает за будущее: болезнь жены (а нервическая болезнь самая бедственная из всех возможных болезней), болезнь матери семейства и хозяйки уничтожает в корне семейное счастье» (11 окт.).

С окончанием «Одиссеи» испытал он обычное для художника, двойственное чувство: вначале сознание завершенного дела. Радостный вздох, освобождение. Но потом беспокойство. Что будет дальше? Ибо так уж художник устроен, что ему вечно катить на гору тяжесть. Докатит до ровного места, некой площадки горы Чистилища — радуется и отдыхает, груз сдан кому надо — и вот скоро тоскует уж и по новой тяжести: путь его путь труда и подъема — доколе жив человек и дух его, так вот и будет ждать нового приложения.

Он развлекался теперь обучением дочери (Александры). Изобрел собственный метод учительский, как всегда в пустяках воображал, что создал что-то важное. В делах детских,

конечно, не преуспел, но в закатывающейся его жизни дана была ему и поважнее задача.

Замечательно, как с «лебедиою песнью» Жуковского сошла болезнь глаз. (В сущности, оказалась не одна, а две лебединых песни, первая даже и называется «Царскосельский лебедь» — семьдесят шестистолпных хореев с рифмой — воспоминание о настоящем лебеде Царского Села, дожившем от екатерининских времен до Александра I-го. Одиночество, отчужденность... — лебедь уединенно плавает среди молодежи, а потом вдруг, однажды, помолодевший, объятый восторгом, взывает к небу с песней и падает оттуда мертвый).

Но главное, что занимало Жуковского после «Одиссеи», был замысел более обширный — поэзия «Странствующий жид» («Агасфер»).

Это дитя он растил долго и долго жил с ним — до последнего своего вздоха. «Агасфер» не окончен. Его писал уже ослепший поэт — частью диктуя, частью записывая с помощью машинки, им самим и изобретенной: запись крупными, как бы печатными буквами.

Основа — давняя легенда об Агасфере, оттолкнувшем некогда Христа в Иерусалиме, на пути голгофском, от своих дверей, когда измученный Спаситель хотел к ним прислониться.

«Он поднял грустный взгляд на Агасфера
И тихо произнес: «ты будешь жить,
Пока я не приду». И удалился».

Начинаются скитания Агасфера — страшные, в злобе и ярости, в отчаянии. Но начинается и Жуковский. Нет безнадежности в страданиях Агасфера. Тот, кого он не пожалел, его жалеет — в бесконечных странствиях, тоске, терзаниях посылается ему встреча в Риме, на арене Колизея, с мучеником епископом Игнатием Антиохийским. В едином взоре мученика, как сквозь щелку, изливается ему капля Благодати: он начи-

нает понимать, каяться вместо того, чтобы проклинать, и в этом спасение его. Попадает далее на остров Патмос, к Иоанну Богослову, тот укрепляет, научает его. А там Иерусалим, весь уж сожженный, мертвый (лишь Голгофа в нежной зелени и цветах). Там, у порога собственного дома, бьется Вечный Жид в рыданиях раскаяния, бежит на Голгофу, сохранившую еще углубления трех крестов — там снова молит о прощении. И теперь понимает, как само наказание привело к спасению. Через душевную муку он как бы родился вновь.

Поэма обрывается на полустрочке. Помечено: апрель 1852 — год и месяц смерти Жуковского.

Слепой Мильтон написал «Потерянный и возвращенный рай». Жуковский во тьме глаз своих замыслил нечто, может быть, и не по силам. Поступил отчасти как Гоголь (а ранее брался всегда за осуществимое). И всё-таки, как хорошо, что написал «Агáсфер»! «Странствующий Жид» вызывал разное к себе отношение. Одни ставят его на высокое место, не только в поэзии Жуковского, но и вообще. Другие находят, что как литература это слабо.

Очарования непосредственного, прелести слова, образа, звука в «Агáсфере» мало. Замысел же и дух возвышенны. Не столь надо смотреть на него как на искусство — скорее это форма бытия самого Жуковского. В торжественном тоне гимн, пение предсмертное и вечная хвала Богу.

«ЕГО ДУША ВОЗВЫСИЛАСЬ ДО СТРОЮ ...»

Поэзия с рифмой давно покинула Жуковского. От литературы он не отошел («Наль и Дамаянти», «Рустем», «Одиссея», «Агáсфер»), но художество его приняло формы иные. Трепета и остроты, музыкальной и душевной пронзительности нет больше в его писании. В плавных гекзаметрах легче, покойнее теперь ему повествовать. И главное: под всем этим сложилось, окрепло иное, искусству не противоречащее, но более важное

и глубокое, на само-то искусство бросающее отсвет. «Наипаче ищите Царствия Божия» — давний, великий зов, проносящийся над русской литературой с Гоголя, в одном Жуковском нашедший завершение гармоническое. Искусство искусством, но есть нечто и высшее. Это высшее смолоду томило, иногда вызывало колебания и сомнения, но росло в нем с годами, как зерно горчичное. «И выросло, и стало болыпим деревом и птицы небесные укрывались в ветвях его». Странно было бы, если б такая жизнь не приводила к Царствуию Божию.

Свет всегда жил в Жуковском. Скромностью своей, смиренным приятием бытия, любовью к Богу и ближнему, всем отдаием себя он растил этот свет. Жизнь во многом нелегкая, с основной сердечной неудачей, до старости одинокая, в старости столь трудно-неодинокая... — но благородная и безупречная. Если вспомнить, кого только не спасал он, не выкупал из неволи*), кому не раздавал денег, за кого не кланялся пред сильными мира сего, за каких декабристов, не любя их, не хлопотал у самого Николая Павловича... Если вспомнить, что это был человек совершенной чистоты и душа вообще «небесная», то ведь скажешь: единственный кандидат в святые от литературы нашей.

«Поистине, как голубь, чист и цел
Он духом был; хоть мудрости змеиной
Не презирал, понять ее умел,
Но веял в нем дух чисто-голубиный».

Тютчев, которого сам он всегда любил, пропел о кончине его высоко.

Гоголю было трудней. Жуковский же шел без помехи. Внутренняя его тема всегда была: слава Творцу, жизнь приемлю смиренно, всему покоряюсь, ибо везде Промысел. Горести, тягости — всё ничего: «Терпением вашим спасайте души

*) Тараса Шевченку, напр., собственных крепостных.

вации». Так от «Теона и Эсхина» до последнего издыхания. Но в юности смутно, в зрелости выношено, выстрадано.

Как и Гоголь, много он теперь отдает сил Священному Писанию, книгам о религии и сам пишет в таком духе — о внутренней христианской жизни, о грехе, Промысле. «Три письма к Гоголю» — о смерти, молитве, словах и делах поэта. Это писание как бы окончательно уясняет ему самому важнейшее.

Он прожил жизнь скорее около Церкви, чем в церкви. У него не было тех корней, как у Хомякова, Киреевских, Аксаковых. Его религиозность в юности с романтическим оттенком, позже более прочная и покойная, но всегда очень личная. Как и в литературе, тяготение к Германии. «Религия души», «религия сердца . . .». Церкви он несколько опасался, как бы стеснялся, да может быть Церковь тогдашняя и показана была ему не надлежаще.

Во всяком случае он кончает жизнь как глубоко верующий, православный писатель. Через него приняла православие (позже) Елизавета Алексеевна. В православии же воспитываются и дети.

Духовенство мало он знал. В тридцатых годах одно время был близок с о. Герасимом Павским — кажется, единственный видный духовный деятель на пути его. Да и то эта близость была условная.

А теперь, в начале пятидесятых, сближается заграницей с протоиереем Иоанном Базаровым, настоятелем прихода в Штутгардте.

У Гоголя был о. Матвей, взаимоотношения их известны. У Жуковского всё по другому: нет ни напряжения, ни борьбы, ни драматизма. О. Иоанн просто помогает ему, ровно и спокойно движущемуся. Руководит самообразованием религиозным, достает книги, переписывается с ним. Начинает подготовлять к переходу в православие и Елизавету Алексеевну. Никакого надрыва и никакой бури. Жуковский созревает неторопливо, но и гармонически.

Гоголь умер в Москве, на Никитском бульваре, 21 февраля

1852 года. Жуковский узнал об этом из письма Плетнева. 5-го марта, уже почти слепой, написал ему: «Какою вестью вы меня оглушили — и как она для меня была неожиданна!.. Я жалею о нем несказанно собственно для себя; я потерял в нем одного из самых симпатичных участников моей поэтической жизни и чувствую свое сиротство в этом отношении».

Тютчева тоже он любил, но знал гораздо меньше. Теперь литературный мирок его, свои и близкие — это Вяземский, Плетнев, Авдотья Елагина и «со-колыбельница» Аня Юшкова, ныне старушка Анна Петровна Зонтаг.

В этом же феврале пригласил он к себе в Баден о. Иоанна, хотел причаститься на шестой неделе поста, вместе с детьми. Но за некоторое время до назначенного известил, что откладывает до Фоминой недели.

О. Иоанн приехал 7 апреля. Жуковский был плох. Елизавета Алексеевна отозвала о. Иоанна и сообщила, что муж опять колеблется, хочет отложить до Петровского поста.

Был уже вечер. От. Иоанн не стал тревожить больного, остался до другого дня. Утром, когда вошел, Жуковский опять стал просить отложить.

— Вы видите, в каком я положении... совсем разбитый... в голове не клеится ни одна мысль... как же таким явиться пред Ним?

О. Иоанн не согласился. Довод его был такой: не только он, Жуковский, идет ко Христу, но и Христос, во Св. Дарах, тоже к нему.

— Если бы сам Господь захотел придти к вам? Разве отвечали бы Ему, что вас нет дома?

Жуковский заплакал. Уговорились, что на другой день он причастится вместе с детьми. И успокоился внутренне. Внешне же впал в оживление, много рассказывал о. Иоанну о том, как учит детей, вспоминал опять о своих исторических таблицах, велел принести их, показывал... но уже руки плохо повиновались.

9-го утром опять тоска: мучила мысль, что будет с семьей

и детьми. О. Иоанн успокаивал: ни Господь, ни Государь не допустят (опасения были вполне напрасны).

Он исповедался, причастился с детьми вместе и совсем успокоился — началось торжественное, во всём высшем духе жизни его умирание — переход — успение. Уходил в том же таинственном благообразии, как Светлана, как Маша — как и сам жил. Именно он отчаливал. Был в полузыбтыи. Говорил мирные, светлые слова.

Пред рассветом 12-го скончался.

Бор. Зайцев

Ш Р А М

У меня никогда не было точного представления о многом из того, что меня интересовало в жизни Наташи, хотя я знал ее давно и, казалось бы, близко. Ее собственные признания касались всегда незначительных и неважных вещей и если бы я судил только по ним, то я должен был бы прийти к выводу, что ее существование протекало почти спокойно и почти безбурно. Вместе с тем было очевидно, что она прожила жизнь, в которой вместилось множество событий, и одного взгляда на нее было достаточно, чтобы понять, почему это не могло быть иначе. Она была чрезвычайно далека от типа классической красавицы, у нее был неодинаковый разрез глаз, чуть-чуть скошенный рот, небольшое углубление посередине лба, но все это вместе взятое производило впечатление повелительной привлекательности, совершенно бесспорной для всех, кто ее знал. И наряду с этой внешней резкостью ее притягательности, у нее был медленный и ленивый голос. Ее всегда спрашивали, не поет ли она, она отвечала — немного, — и это была неправда, потому что она была неспособна запомнить самый простой мотив или отличить одну ноту от другой. И так же, как она лгала в этом, она лгала во многом другом. В конце концов, это даже не было ложью в точном смысле слова; она просто не возражала против того, что о ней думал ее собеседник. Если ей говорили — вы такая мягкая, вас так легко обидеть, — она неопределенно улыбалась, храня при этом смутное выражение нежности, и у того, кто ей это сказал, оставалось впечатление, что он совершенно прав и что она действительно такая. Если ей говорили — я думаю, что вы никого не любили кроме меня, — она с такой же неопределенностью и такой же улыбкой кивала головой и это опять.

при некоторой небольшой натяжке, можно было принять за ее согласие. И так как каждому хотелось, чтобы она была именно такой, какой он себе ее представлял, то почти никто не сомневался, что прав он и ошибаются все остальные.

Я думаю, — в противоположность всему, что о ней говорилось, — что она вообще, вплоть до самого последнего времени, никого не любила в том смысле, в каком это понимали те, кто ее любил. У нее было горячее и неисчерпаемое великолепное тело, которому как-то удивительно не соответствовала ее душевная незначительность. Ничто сколько-нибудь отвлеченное ее никогда особенно не интересовало. Наряду с этим, во всем, что касалось человеческих отношений, она разбиралась быстро и хорошо, у нее была прекрасная память, она почти никогда не оказывалась в положении непонимающей собеседницы и никто из любивших ее людей не сомневался, что она по настоящему умна. Но кажется, этому она меньше всего была склонна придавать значение. И пожалуй, самой характерной ее чертой было полное отсутствие нравственных принципов; но она очень хорошо знала, какую ценность они имели в глазах других людей, и старалась по возможности их этим не шокировать, — может быть из какого-то своеобразного сожаления, ей обычно не свойственного.

Ей было двадцать два года, когда я с ней встретился впервые, и она жила тогда, так же, как я, на одном из Принцевых островов, в Босфоре. В течение двух недель я с ней виделся ежедневно, мы гуляли и разговаривали и я помню взгляд ее спокойных глаз и их постоянное, насмешливо-сочувственное выражение. Потом однажды я у нее завтракал и этот день и утро, которое я с ней провел, ничем не отличались от других и в ее поведении не было ничего, что обратило бы на себя мое внимание. После завтрака, не убирая со стола, она пересела со стула на диван. Я вижу как сейчас две ровных лестнички солнечных теней на стене от затворенных ставень прямо над ее головой, помню полуденную и знойную тишину над морем и звук чьих-то одиноких шагов вдалеке. Я думал в ту минуту об отвлеченных вещах, но когда я поднял голову, я увидел ее

глаза и в них было тогда такое ничем непередаваемое выражение, что даже я, несмотря на всю мою молодость и на то, что я никогда до этого не знал физической близости с женщиной, — даже я понял его. Это было тягостное и непреодолимое полупонимание, полуоущущение и в следующую секунду я подумал, что может быть лучше уйти, хотя я уже знал, что было слишком поздно.

— Идите сюда — сказала Наташа. Это были единственные слова, которые она произнесла. Только через полчаса она меня спросила с улыбкой:

— Первый раз?

Я кивнул головой.

— Ну, повезло тебе — сказала она.

Мне всегда было неприятно думать потом, много лет спустя, о какой-то сравнительной ценности женщин, мне казалось, что в таком сопоставлении есть нечто одинаково унизительное и для того, кто об этом думает, и для тех, о ком он думает. И всё-таки каждый раз, возвращаясь к этому я не мог не вспомнить о том, что Наташа была самой замечательной женщиной, какую я мог себе представить. Правда, ее замечательность касалась преимущественно одной стороны любви, той, о которой почти не принято говорить. Но в этом отношении она была несравненна. Она очень хорошо это знала о себе, я помню, как она мне сказала:

— Ты мальчишка, ты не можешь этого ни понять, ни оценить.

Она была старше меня на четыре года и эта разница исчезла потом, и затем, всю жизнь, она была моложе меня на эти же приблизительно четыре года. И это казалось тем более правдоподобно, что она менялась чрезвычайно медленно и до самого последнего времени сохраняла почти такой же вид, как тогда, много лет тому назад, на Босфоре.

Я провел с ней в те времена целый месяц — и благодарная моя память сохранила его, я думаю, на всю мою жизнь. Вместе с тем, мне всегда казалось, что я ее не любил, — так же, впрочем, как она не любила ни меня, ни кого бы то ни было другого.

И ее тогдашняя нежность ко мне и почти трогательная обо мне заботливость были выражением все того же самого, несколько видоизмененного чувства, которое могло называться любовью лишь в очень условном и ограниченном смысле. Но именно это чувство было главным в ее жизни и оно же предопределило всю ее судьбу, — оно и еще тот выбор людей, которые в разные времена играли более или менее значительную роль в ее существовании.

В ней была еще одна — и самая опасная — черта, это любовь к вызову и поощрение нелепых и безрассудных поступков. Она могла сказать, например:

— Ты говоришь, что ты меня любишь? Докажи мне это. Прыгни сейчас в море.

Или:

— Если я тебя о чем-нибудь попрошу, ты это для меня сделаешь? Постарайся украсть в магазине халвы.

Из-за этого ее пристрастия к такому дикому спорту, совершенно порядочные люди попадали в очень неприятные истории, это случалось тогда, когда ее власть над ними была особенно сильна. Я очень многоного о ней не знал, но я почти уверен в том, что она не встретила никого, кто бы ее бросил, наоборот, первой всегда уходила именно она.

Только из рассказов случайных знакомых я иногда узнавал о некоторых эпизодах ее жизни. Когда она исчезла с Принцевых островов, я долго не знал, что с ней и где она; потом оказалось, что она прожила некоторое время в Афинах, затем была в Вене и вернулась на два месяца в Турцию. Весь ее маршрут был, однако, разработан до отъезда; и в Афинах ее ждали с таким же нетерпением, как в Вене, и с такой же, я полагаю, напрасной надеждой, что она там останется навсегда. Я забыл сказать, что она одинаково плохо говорила на многих языках, что ей, впрочем, никогда не мешало.

— Сколько у тебя было любовников? — спросил я ее однажды.

Она посмотрела на меня насмешливыми глазами и ответила, что находит мой вопрос нескромным. Это было в Париже,

в Булонском лесу, ранней осенью не помню которого года. Она ехала в автомобиле с каким-то седым человеком — я успел только заметить его загорелое лицо и глаза с беспокойным, как мне показалось, выражением, — увидела меня, замахала мне рукой и автомобиль остановился. Она вышла оттуда, сказала несколько слов своему спутнику, которые, повидимому, ему очень не понравились, потом прибавила — я это явственно слышал, — говорю вам, уезжайте — и он уехал. Она подошла ко мне и взяла меня под руку, так, точно мы расстались с ней вчера. Я не видел ее несколько лет и даже не знал, что она в Париже. Она всегда обращалась со мной иначе, чем с другими, в ее голосе неизменно слышалась насмешливая нежность, почти искренняя. Может быть, это объяснялось тем, что она тоже не забыла Босфора, когда она относилась ко мне, как к мальчику, и в силу непонятной душевной инерции нечто похожее на это сохранилось у нее до конца.

Она рассказала мне, что живет в Париже уже много месяцев, что до этого была в других местах, — не говоря, где именно, — и что собиралась все эти годы выйти замуж.

— Все эти годы? сколько же лет? и за кого?

— Три-четыре года — сказала она уклончиво. — За кого? За человека, которого я люблю.

— В твоем возрасте это трогательно — сказал я и посмотрел вниз; я увидел ее стройные ноги, с безошибочной быстротой и точностью ступающие по аллее — такой походкой ходят только очень здоровые люди. Я вспомнил — сквозь столько лет — всю линию ее тела и почувствовал, как кровь медленно приливалась к моему лицу. Я не знаю, как она угадала или ощутила это, — она, впрочем, была необыкновенно чутка в таких вещах, эту область жизни она знала до конца, — и спросила, даже не давая себе труда объяснять что бы то ни было и зная, что я не могу ее не понять:

— Не забыл еще?

— Ты знаешь, — сказал я, не отвечая, — мне иногда кажется, что ты плохо кончишь. Тебе будет больше пятидесяти лет и тебя найдут в комнате гостиницы голую и мерт-

вую, а через несколько дней арестуют того субъекта в кепке, который тебя задушит, соблазнившись содержимым твоей сумки.

— Умру бабушкой, — сказала она, смеясь, — и ты еще придешь, я надеюсь, на мои похороны — таким, знаешь, чистеньkim, покашливающим старичком с дрожащими коленками.

Разговаривая с ней тогда, я не мог ие заметить в ней некоторых изменений; раиыше она была, я бы сказал, менее развита и менее словоохотлива, чем теперь, и судя по тому, что она произнесла несколько слов о живописи, о какой-то модной книге и о концерте, на котором была недавно, и потому, что в своих суждениях она ие сделала ии одной резкой ошибки, я понял, что за эти годы она была близко знакома с довольно разными и сравнительно культурными людьми. Я заметил ие только это: под левым ее глазом виднелся беловатый шрам, которого раньше не было. Он не был похож на обыкновенный след от разреза, это было нечто вроде тупой и сравнительно широкой полоски кожи как будто сорванной с лица. И расставшись с Наташей, — она усиленно приглашала меня прийти к ней как-нибудь на днях, — я всё видел перед собой этот шрам. Я глубоко задумался, возвращаясь один пешком из Булонского леса; в светлом и прозрачном воздухе этого солнечного осеннего дня я несколько раз едва не иатыкался иа прохожих. Я силился и не мог вспомнить, где я уже слышал или читал что-то трагическое, что было непонятным образом связано с впечатлением от этого шрама. Но моя память мие на этот раз изменила — и я ие мог этого иайти.

Я шел и думал о Наташе, жизнь которой всегда так интересовала меня, несмотря иа то, что меия с ией, в сущности, почти ничто ие связывало, особенно теперь; ничего, кроме воспоминаний, но воспоминаний у меия и так было слишком много и если бы я возвращался к каждому из них, вся моя жизнь заключалась бы в постоянном беге назад, в прошедшие

и исчезнувшие времена. Мне хотелось знать другое — не случится ли наконец что-нибудь в ее существовании, что остановит рано или поздно это ее неутомимое движение?

Она, конечно, никого не любила — в том смысле, что не существовал, я думаю, человек, без которого она не могла бы себе представить свою жизнь. Но к каждому своему любовнику, в начале каждого нового романа она относилась не так, как к другим, это не было повторением того, что предшествовало, и в пределах ее немногочисленных душевных возможностей это всё-таки была любовь. Иначе она не умела или не могла. Но те, с кем она расставалась, никак не могли этого постигнуть, им всё казалось, что это с ее стороны либо нежелание, либо невозможность понять свои собственные чувства, которые — в представлении этих людей — должны были быть по отношению к ним, почему-то именно по отношению к каждому из них в отдельности, неизменными. И из-за этого в ее жизни было столько драм и в основе всех этих драм всегда находилось какое-то идеально произвольное и ничему не соответствующее представление разных людей о том, какой должна быть Наташа, они все думали, что она именно такая и никак не хотели согласиться с бесспорнейшими фактами, неизменно опровергавшими это представление. С совершенно таким же упорством они не понимали, как после нескольких месяцев близости, Наташа, не покидая их окончательно и продолжая к ним, в сущности, хорошо относиться, могла иметь еще одного любовника. Вместе с тем было ясно, что она была такой до встречи с ними и будет такой после того, как с ними расстанется, и расчитывать на ее перерождение каждый раз — было бы по меньшей мере преждевременно.

Но что мне казалось самым удивительным, это, что никто, ни один человек среди тех, которые испытали из-за нее мучительные и долгие чувства, иногда тянувшиеся целые годы, — никто не относился к ней отрицательно и каждый, если бы Наташа завтра пришла к нему, бросил бы все и полагал бы, что теперь он будет счастлив. Она за свою жизнь была виновницей огромного количества ничем ие оправданных иллюзий,

не делая для этого почти никаких усилий и только не мешая никому думать о ней то, что ему хочется. В этом была ее несомненная и бессознательная сила — и даже расставшись с ней, они сохраняли каким-то непонятным образом эти иллюзии. В ней было что-то, что пробуждало в этих людях, в сущности, лучшие их и самые длительные чувства, совсем казалось бы неуместные по отношению к ней; и в этом соединении ее измен и их иллюзий и состояла, я думала, та своеобразная отрава, которая так медленно проходила у ее покинутых любовников и которая делала их жизнь более важной и значительной, чем та, какая была до встречи и расставания с ней.

Я всегда полагал, что не принадлежу к категории всех этих, покинутых Наташей, более или менее кратковременных ее спутников; впрочем, число тех, с кем ее связывали действительно длительные и действительно серьезные отношения, — насколько это было для нее доступно, — было не очень велико, значительно меньше, во всяком случае, чем могло показаться на первый взгляд. Другие ее романы носили очень короткий и случайный характер и происходили чаще всего одновременно и параллельно с главными. Так было, например, в тот раз, когда, проездом в Италию, где ее с нетерпением ждал ее тогдашний любовник, она остановилась на один день в небольшом пансионе Ниццы: за завтраком она познакомилась с американским журналистом, приехавшим для какого-то репортажа о французской Ривьере — и в течение трех недель она с ним не расставалась. Я жил тогда в том же самом пансионе, его адрес Наташа узнала через меня, я его сообщил ей в одном из тех десяти или двенадцати писем, которые я написал ей за шестнадцать лет нашего знакомства — и я был свидетелем этого. Из Рима ей присыпались бесконечные телеграммы, простые и с оплаченным ответом, ей несколько раз в день оттуда звонили по телефону — она спускалась вниз, в халате на голое тело и отвечала своим медленным и ленивым голосом, что она сегодня выехать не может, наверное выедет завтра и что по приезде она всё объяснит. Почему-то герой ее романа, появления которого я с нетерпением ждал, никак не мог приехать, я даже

спросил Наташу, не в тюрьме ли он. Я не знаю, какой репортаж получился у журналиста, времени для газетной работы у него, по моему, не оставалось. Потом она всё-таки, наконец, уехала и из Рима даже прислала американцу какую-то открытку. Я видел, как он ее читал и встрихивал головой. Я так же не мог себе представить, какие объяснения Наташа дала своему римскому корреспонденту — во всяком случае, никакой трагедии там не произошло и после этого она прожила с ним еще два года.

Итак, я не принадлежал к числу наташиных спутников — и не влакил за собой, как они, никакого груза надежд и иллюзий. Мне казалось, что она в моей жизни была совершенно случайна и она осталась слишком мне чужда во всех ее чувствах и романах. У меня не могло с ней быть даже дружбы, я виделся с ней раз в два или три года и при каждой встрече она рассказывала о себе всё какие-то незначительные вещи. Но я ловил себя на мысли о том, что я слежу за всеми изменениями ее существования с постоянным и неослабевающим любопытством. У меня были о ней только случайные сведения, но я никогда не пропускал возможности их узнать и поддерживал, например, знакомство с людьми, единственный интерес которых заключался в том, что в течение известного времени они были ей близки. Выходило так, точно я с нетерпением ждал какой-то катастрофы в ее жизни, того дня, когда она наконец споткнется и с ней произойдет, быть может, то, что так часто происходило с героями ее романов, — это или нечто похожее на это. И я сравнивал себя шутя, когда говорил с ней об этом, с анекдотическим англичанином, который переезжал вместе с цирком из города в город, ожидая дня, когда наконец лев разорвет своего укротителя. Но годы шли и всё было сравнительно благополучно, если вообще это слово могло иметь какое-то значение в жизни Наташи.

И я знаю, в сущности, почему я так следил за ее существованием. В Наташе было несомненное, хотя и жестокое человеческое великолепие и я со стороны не мог не любить, совершенно бескорыстно, ее непередаваемую животную пре-

лость. И потом мне было досадно, что всё-таки ее жизнь похожа на плохой роман, и когда я встречал некоторых — правда, всегда наиболее кратковременных — ее спутников, меня не мог не коробить ее дурной вкус. Короче говоря, если бы это могло зависеть от меня — в каком-то отвлеченном и предложительном смысле, — я бы заставил ее прожить не такую жизнь и мне казалось, что та, которую бы я для нее придумал, была бы и интереснее и значительнее и заключала бы в себе непременный элемент трагического отражения, которое сама Наташа была, повидимому, неспособна создать, и без которого мое представление о ней носило чем-то обидный и незаконченный характер.

После встречи с Наташой в Булонском лесу я пришел к ней однажды вечером — по тому адресу, который она мне дала. Она жила в меблированной квартире возле Place de l'Etoile; в смысле обстановки это была какая-то безличная розовая ерунда и было видно, что здесь подолгу люди не живут. Она приняла меня в синем бархатном халате, который мог сойти за платье — она вообще любила такие промежуточные и уклончивые вещи, — и меня удивило выражение ее лица, одновременно умиленное и серьезное. Мне показалось, что глаза ее блестели больше, чем всегда. В вечернем электрическом освещении на ее лице сильнее белел ее шрам.

— Что с тобой? — спросил я, поздоровавшись.

— Ты ничего не замечаешь? — сказала она с некоторым усилием. — Ты всегда был не наблюдательный, это правда.

— Мне кажется, что ты в каком-то ненормальном состоянии — сказал я.

— Я пьяна, — сказала она.

Я знал, что в прежние времена она не пила — или, во всяком случае, не пила до опьянения. Хотя в конце концов — что я знал о ней вообще, кроме очень немногих вещей?

— Это я в Америке научилась пить — сказала она изви-

няющимся голосом. — Садись сюда, поговорим. Я так давно тебя не видела. Ты был первым человеком, которого я любила — сказала она вдруг без всякого перехода.

— Теперь я вижу, насколько ты действительно пьяна. Сделать тебе теплого молока?

— Ты никогда ничего не понимал — продолжала она, не раздражаясь. — Это правда, я тебя очень любила, ты этого так и не узнал бы до конца, если бы не застал меня сегодня в пьяном виде.

— Я боюсь, что этот разговор нас завел бы очень далеко — сказал я. Кроме того, этот вопрос не имеет особенного значения и я предполагаю, что ты любила не только меня.,

— Я не говорю, только. Я говорю, что ты был первый.

— Чтобы доставить тебе удовольствие, я готов с этим согласиться.

Она сидела рядом со мной, чем-то взволнованная и молчаливая; вырез халата на ее груди сходился большим треугольником и под ровной смугловой кожей угадывались плоские переливы ее мускулов.

— Ты счастлив? — спросила она.

— Я думаю, что тебе действительно вредно пить, Наташа.

— Ты мне не ответил на мой вопрос.

— Не все ли тебе равно?

— Нет, скажи.

— Не надо капризничать. Расскажи мне лучше о себе, я уверен, что у тебя больше материала, чем у меня.

— Ты знаешь, что я не умею рассказывать. Спрашивай, я буду отвечать. Пользуйся случаем, я сегодня откровенна, это редко бывает. Я тебе отвечу на три вопроса, знаешь, как в сказках, — сказала она, глубже усаживаясь на диване. — Любые три вопросы. Хочешь?

— Хорошо.

И я сказал, что мне прежде всего хотелось бы знать, во-первых, что она написала американскому журналисту, во-вторых, какие объяснения она дала своему корреспонденту и что из этого вышло. Я напомнил ей ее ниццкое приключение.

— А — сказала она, нахмурив на секунду брови и ища это в своей памяти. — Я написала ему: «Мой дорогой, желаю вам всего хорошего. Мне очень жаль, что мы не можем встретиться в ближайшее время. Наташа».

— А что было в Риме?

Она улыбнулась очень широкой и пьяной улыбкой.

— Я рассказала ему всю правду, он смеялся и не поверил ни одному слову и этим всё кончилось.

Мне оставалось только пожать плечами, я не нашелся, как реагировать иначе на этот удивительный наташин лаконизм и на какую-то странную естественность ее поведения.

— Ну, теперь третий вопрос — сказала она, — последний.

— Хорошо, последний. Откуда у тебя этот шрам на щеке?

Она вдруг встала и сделала несколько шагов по комнате, не произнося ни слова.

— Что с тобой? — спросил я. — Не считай это за четвертый вопрос, пожалуйста.

— Можно не отвечать на третий вопрос?

— Конечно, можно.

Она очень пристально на меня посмотрела и глаза ее на секунду стали сердитыми.

— Ты приняла на себя может быть непосильное обязательство — сказал я — и я вовсе не хочу пользоваться этим. Хочешь, я перенесу вопрос, я спрошу тебя, например, любишь ли ты попрежнему теннис?

В глубине души я упрекал себя за то, что дразню Наташу. Но чем яснее для меня становилось, что этот вопрос имеет неожиданно важное значение, тем больше мне хотелось знать, в чем дело.

— Хорошо, я расскажу тебе это. Я только выпью еще немного коньяку.

Она действительно выпила рюмку коньяку, потом села опять рядом со мной и стала рассказывать.

Это происходило в Америке, зимой, несколько лет тому назад. Она сказала, что любила одного человека — это была давно мне знакомая классическая ее формула, — с которым

жила за городом, далеко от его родных и семьи, для этого, по ее словам, были достаточные основания. Это был хороший и веселый человек, любивший выпить и отличавшийся страстью держать самые разнообразные пари. У него бывали иногда два его товарища по колледжу, такие же, в сущности, как он. Она прибавила еще несколько слов по этому поводу и у меня создалось впечатление, что эти трое товарищей были действительно похожи друг на друга — одно воспитание, одна среда, одни интересы. Было еще другое, о чем Наташа не говорила, но что мне казалось почти несомненным, именно, что они все питали к ней одинаковые чувства. Я не знал, в какой мере она отвечала им на это, но тон ее был несколько странный и я подумал, что она сама не могла бы сказать, кого именно она любила. Они нередко вчетвером устраивали кутежи. И вот однажды Наташе, которая в тот вечер была совершенно пьяна, пришла в голову нелепая и страшная мысль — научить их играть в кукушку.

— Ты знаешь, что это такое? — спросила она, перебивая себя.

— Знаю, тушат свет, у всех в руках револьверы, каждый играющий обязан время от времени подавать голос и по направлению его голоса в него стреляют. Так?

— Да. Что бы ты сказал, если бы тебе предложили такую игру?

— Отказался бы — сказал я, пожав плечами.

— А если бы ты был пьян и женщина, которую ты любишь, обвинила бы тебя в трусости?

— Не знаю, думаю, что всё равно отказался бы.

И вдруг я понял, как мне показалось, чем был вызван этот безумный поступок Наташи и я почувствовал холод в спине. И я почти с ужасом смотрел на это лицо, которое я так давно и хорошо знал и на эти остановившиеся глаза. Потом я сказал:

— И ты устроила лотерею?

— Нет, нет, нет — с силой сказала она. Но именно по силе этого ее отчаянного отрицания я понял, что это было так.

Она повторила, что была мертвейки пьяна и что ей море

было по колено. Они пошли в переднюю, она и один из товарищ ее любовника и выключили электрический счетчик. Потом они вернулись — и началась эта страшная забава. Наташа сказала, что в течение первых минут они все молчали. Я подумал, что если кто-нибудь из них, вдруг пропретившись и поняв все безумие этого, даже хотел бы что-либо сказать и положить этому конец, — он не мог бы этого сделать, зная, что за первым звуком его голоса последует выстрел. И я представил себе эту тьму, троих товарищ с револьверами в руках и смертельно томительное молчание первых минут. Потом, наконец, ее любовник крикнул совершенно неестественным по ее словам голосом — я здесь!

—I am here! — повторила Наташа. И после этого началась стрельба. Выстрелов и криков было столько, что у нее звенело в ушах и она уже ничего не понимала. Потом ей обожгло щеку и рядом с ней раздался нечеловеческий, как она сказала, хруст — и все было кончено. Ее любовник и один из его товарищ были убиты. Третий участник игры был очень тяжело ранен.

Наташа кончила рассказ, было уже очень поздно. Я сделал над собой усилие и поднялся, чтобы уходить.

— Останься еще со мной — сказала она — и я с удивлением услышал в ее медленном голосе какую-то новую интонацию, которой до сих пор никогда не знал. — Я никогда не скучаю, но сегодня мне неприятно одиночество, мне не хочется, чтобы ты уходил.

И я остался и пробыл с ней до рассвета. Это была долгая октябрьская ночь, я сидел в нелепом кресле розового цвета, под лампой с низким абажуром, Наташа — против меня, на диване. Мы пили сначала кофе, потом чай, потом опять кофе. И именно в эту ночь она была откровенна со мной — единственный раз в жизни, и говорила о вещах, которые обычно обходила упорным молчанием, неизменным во всех обстоятельствах. И из ее тогдашнего разговора было ясно, что в общем эта жизнь тяготила ее.

— Наша игра кончена? — сказал я. — Я опять могу спрашивать тебя о чем-нибудь?

Она улыбнулась и утвердительно кивнула головой.

— Ты знаешь, по крайней мере, чего бы тебе хотелось? Какой должна была бы быть твоя жизнь, чтобы это удовлетворяло тебя?

Она ответила, что это невозможно. Ей хотелось бы, как она сказала, чтобы вчерашний день был непохож на сегодняшний и чтобы сегодняшний был непохож на завтрашний. И ей хотелось бы, чтобы менялось всё: люди, обстановка, страны и даже климат.

— И тебе кажется, что если бы это было так, ты была бы счастлива?

— Оставь мне эту иллюзию — сказала она, опять улыбаясь.

— Иллюзию! — сказал я. — Это ты говоришь об иллюзиях? Я думал, что это участь только твоих спутников. Правда, у них другие иллюзии и как раз противоположные.

— И такие же, в конце концов, напрасные.

Я не знаю почему, но мне казалось, что эта сентябрьская ночь была чем-то похожа на тот далекий босфорский полдень, о котором я навсегда сохранил воспоминание. И я несколько раз поднимал глаза на стену и мне казалось, что если бы я вновь увидел на ней эти ровные и параллельные полосы света одна над другой — от затворенных ставень, как тогда, это бы нисколько меня не удивило. Но только теперь у меня не было томительного предчувствия того, что вот сейчас, в течение ближайших минут, изменится мир в моем представлении — всё было неподвижно, прозрачно и печально; за это время множество вещей и множество душевных способностей успели во мне умереть. И я вдруг, на очень короткое время ощутил на себе тяжесть этих долгих лет и невозможность испытывать те чувства, которые я испытывал раньше. Это было чем-то, пожалуй, похоже на непоправимое открытие акробата, который в один прекрасный день замечает, что он больше не спо-

собен к тому мускульному усилию, которое было ему так легко всегда, в прежнее время.

В эту ночь я узнал о Наташе больше, чем за все годы нашего знакомства. В общем ее жизнь приблизительно соответствовала представлению, которое у меня было о ней, — с той разницей, что для Наташи не всё проходило так легко и бессследно, как мне казалось. Ее в особенности волновала судьба третьего участника игры в кукушку, единственного, который остался жив. Это и был тот человек, которого она, по ее словам, любила, и за которого она собиралась все эти годы выйти замуж, как она мне это сказала при нашем первом свидании. В течение долгого времени он был между жизнью и смертью. Когда он, наконец, выздоровел, его посадили в тюрьму, откуда он вышел только через несколько лет. У него не осталось ничего и доступ в его прежнюю среду ему был закрыт. Последние сведения, которые у нее были о нем, это что он работал в какой-то конторе, в одном из портов Южной Америки. Это рассказал ей один из их общих знакомых, американец, который был проездом во Франции и которого она встретила год тому назад. Она дала ему адрес своей тетки, постоянно жившей в Париже, и сказала, что по этому адресу ей можно писать. Но за всё время она не получила ни одного письма.

— Значит, то, что ты собирались выйти за него замуж, это был твой личный проект? — спросил я. — Он, повидимому, этого не знал?

— Я предполагаю, что он тоже об этом думал — сказала она особенно медленным голосом.

После этого я поцеловал ей руку и ушел, она сказала, что я могу прийти в любой день без предупреждения и что вечерами она обычно дома.

То, чего я не сказал Наташе, это, что я знал уже раньше почти всё об этой трагической ночи в окрестностях Сан-

Франциско. Я прочел это несколько лет тому назад, совершенно случайно, в номере американской газеты. Это было то, что я так тщетно искал в моей памяти, когда думал о наташином шраме. В газетном отчете рассказывалась со всеми подробностями эта драма, причину которой не понимали ни полицейские, ни журналисты. Там была еще одна подробность, о которой Наташа не говорила мне: все трое товарищей были офицерами американского флота. Там было еще сказано, что по оттискам пальцев на револьверах было установлено, что каждым из них пользовался только тот, кому револьвер принадлежал, и что это снимало всякое подозрение о непосредственном участии в двойном убийстве той женщины, которая была найдена рядом с трупами и которая лежала в глубоком обмороке. Приводилось ее показание: все были пьяны, возникла ссора, причины которой она не помнила, потом потух свет и началась стрельба, она была легко ранена и потеряла сознание. Журналист, которому был предложен отчет, писал, что эта женщина, «подданная одного из славянских государств», обнаружила редкое присутствие духа и почти неопостижимое равнодушие к своей собственной судьбе. «Может быть, — писал он — это не первая трагедия в ее жизни, и она забудет о ней, как забыла о других, и единственным напоминанием об этом будет тот шрам, который несомненно останется на ее левой щеке». Когда я читал в свое время эту статью, я был предельно далек от мысли о Наташе. Но едва только она начала рассказывать мне об этом, я тотчас же, конечно, вспомнил все — в особенности из-за последних слов отчета: «будет тот шрам, который»...

И всю дорогу домой и потом уже дома, поздним и холодным вечером, я все не мог забыть об этом. Когда я ехал в метро, через эту бесконечную последовательность электрических ламп, серых стен туннеля, медленно уносившихся в не передаваемом железном шуме колес и рельс, и отпилывавших назад пассажиров, остающихся на перроне, я упорно возвращался к тому, что я только что узнал. Но труднее всего мне было бы сказать, что именно я тогда думал, потому что это меньше всего походило на мысли вообще, это было скорее

особенно острое сознание непоправимости всего, что произошло, и едва приступающее сквозь это — непонятное чувство моей собственной вины, так легко опровергаемое самым элементарным здравым смыслом и так неизменно возвращающееся всякий раз.

В течение трех недель я собирался к Наташе каждый вечер, но какие-то незначительные вещи всё мешали мне к ней пойти. Мой визит откладывался и откладывался и, наконец, потерял всякий смысл. Так прошла зима и вот однажды в марте, совершенно случайно оказавшись в девять часов вечера недалеко от ее квартиры, я решил туда зайти, чтобы узнать, продолжает ли она там жить. К моему удивлению она жила всё там же. Я поднялся и позвонил, мне тотчас же отворили.

Наташа была дома, в платье другого цвета, но таком же плотном и так же похожем на халат. Она встретила меня без особенного удивления. Едва взглянув на нее, я не мог не заметить изменившегося выражения ее глаз. Что-то с ней случилось за это время — и я ощутил мгновенную и смутную тревогу.

— Что нибудь произошло? — спросил я.

— Я получила, наконец, письмо.

Я молчал, выжидательно глядя на нее. Она вышла из комнаты и вернулась с письмом, которое протянула мне, — и в этом ее движении, как мне показалось, было нечто беззащитное и совершенно ей раньше несвойственное. Я придвинул розовое кресло ближе к лампе и стал читать.

Ее корреспондент писал, что он молчал до сих пор, так как не был уверен, что будет в состоянии составить письмо так, чтобы впоследствии об этом не жалеть и не раскаиваться. В том, что следовало за первыми строками, действительно угадывалось судорожное желание сдержанности и — что мне казалось особенно странным — по тому, как оно было написано, почти явственно ощущалось, что между началом и концом письма как будто поднялась и опустилась какая-то далекая чувственная волна, умиравшая на последних строчках.

Это было очень замечательное в своем роде письмо и я

жалею, что не мог запомнить его целиком. Содержание его сводилось к тому, что он желал Наташе всего хорошего.

«Вы может быть совершенно спокойны, никакая опасность вам не будет угрожать с моей стороны, где бы вы ни находились. Я верю, что вы любили меня». Далыше было несколько строк так густо и старательно зачеркнутых, что нельзя было разобрать ни одного слова. «Я жалею, что не нахожу в себе той огромной благодарности к вам, которую я должен был бы испытывать. Я надеюсь, что вы извините меня за это. Я знаю, что вы ни в чем не виноваты, но меня отделяет теперь от того времени, когда вы меня любили — опять целая строка была зачеркнута — смерть двух лучших моих товарищней, мое собственное неудачное умирание, годы тюрьмы и некоторые другие огорчения. Я полагаю, что заплатил за вас очень дорогую цену. Я не сомневаюсь, что вы стоите этого и может быть даже гораздо больше. Но я слишком беден для вас и у меня ничего теперь не осталось. Всё могло бы быть иначе только в том случае, если бы мои душевные богатства позволяли мне тратить, не считая, жизнь моих товарищней и мою собственную и то, что я любил — кроме вас и до вас. Но мое состояние мне этого не позволяет. Желаю вам всего хорошего. Я думаю, что если бы Джонни и Фред были живы, они бы присоединились к моему пожеланию — и может быть, у нас троих, вместе взятых, хватило бы средств, чтобы разрешить себе, по вашему выбору, одному из нас, роскошь вас любить. Но вы не захотели нам оставить этой возможности и вы лишили нас этой надежды в ту самую ночь, на вилле Джонни, когда — вы помните? — вы помните? — вы свели наш счет с таким страшным и непоправимым результатом. Я очень надеюсь, я почти уверен, что воспоминание об этом инциденте не будет преследовать вас. Но для Джонни, Фреда и меня это представляется иначе и я полагаю, что вы найдете в себе достаточно снисходительности, чтобы извинить нас за это. Еще раз желаю вам всего хорошего. Простите меня за зачеркнутые строки».

— Теперь ты можешь вспомнить твой анекдот с англичанином и укротителем — сказала Наташа.

Но я был далек от мысли о каких бы то ни было анекдотах. Я испытывал в эти минуты такую душевную тяжесть, точно и на мне, Бог знает каким образом, лежала ответственность за эту трагедию в Сан-Франциско. Это усиливалось смутным ощущением того, что теперь я вряд ли буду еще видеть Наташу. Во всем этом была какая-то непреодолимая для меня вещь — так, как будто в ту ночь и я находился на этой вилле и так же не мог этого забыть, как человек, написавший письмо Наташе. Я думаю, что это было напрасное и неверное чувство, но я не мог его не испытывать.

И я понял тогда, что меня влекло к Наташе преступное и бессознательное желание власти над ней и столь же преступное и нетерпеливое ожидание катастрофы, которая наказала бы ее за ее небрежный уход от меня, — и что, переживая это длительное волнение, я был, в сущности, не меньше виноват, чем она. И это сознание моей душевной вины перед ней было так непреодолимо, что оно навсегда лишило меня возможности сделать над собой то усилие, — к которому я теперь был неспособен, — и которое мне было бы нужно, чтобы встретить ее и увидеть еще один раз ее наверное изменившиеся глаза и этот шрам на ее лице.

Гайто Газданов

ПЕТЕРБУРГ МОЕГО ДЕТСТВА

Памяти моего отца

Всё мое детство, до 11-ти летнего возраста, я прожил с моим отцом в Петербурге, в большой казенной квартире на Выборгской стороне, в доме Михайловского Артиллерийского Училища.

Перед моими окнами были запасные пути соседнего Финляндского вокзала с красными товарными вагонами и длинными железнодорожными складами, а на горизонте виднелся тонкий силуэт Смольного и серебрилась полоска Невы. Вдали выселились заводские трубы, и ранним утром я любил прислушиваться к протяжным и печальным фабричным гудкам. Мне интересно было глядеть, как медленно двигаются по рельсам вагоны, стякиваясь буферами, и забавлял меня маневрирующий паровоз с тогдашней смешной трубой в виде толстой воронки. Всё это были самые ранние мои впечатления.

Из окон моих я видел дважды пожары и с восторгом смотрел, как пылали деревянные дома и бушевало пламя (но почему-то не было страшно), а раз пришлось увидеть и весьма замечательное и единственное явление: я уже шел «к Морфею» (как любил выражаться мой папа), но он меня поставил на подоконник и показал на совершенно пурпурное небо и объяснил, что это, как тогда утверждали, пепел от извержения кратера Кракатау, прилетевший из страшно далеких стран, который взвился выше облаков и теперь освещен заходящим солнцем — что я и запомнил.

Я тогда уже знал много про дальние страны, папа мне прочитал Робинзона и я мечтал стать путешественником, «как Миклуха-Маклай». Отец мне о нем тоже рассказывал, и я

повторял (должно быть у маленького это звучало забавно): «Миклуха-Маклай, знаменитый русский путешественник».

Внизу, перед самым нашим огромным домом, был еще узенький «черный» двор, который отделялся от железнодорожного «парка» дровяными складами и низеньким кирпичным флигельком. Этот домик под моими окнами постоянно меня занимал — кто там живет? — и я приставал с вопросами к моей няне. Она равнодушно отвечала — «жильцы». Слово было непонятное, и я воображал, что это какое-то особое племя. На этом дворе стояли решетчатые сараи и конюшни. Когда я был еще совсем маленький, тут же в коровнике жила наша собственная корова! Как патриархальна еще была тогда петербургская жизнь...

На черный двор, куда выходили окна всех кухонь, забредали разносчики и торговки и с раннего утра распевали на всякие голоса, поглядывая на эти окна: — «клоква ягода — клоква»; «цветы — цветики»; «вот спички хороши — бумаги конвертов — хороши спички»; «селедки голландские — селедки»; «кильки ревельские — кильки!» И среди этих звонких и веселых или охрипших голосов гудел глухой бас татарина: «халат — халат» или «шурум — бурум». Сквозь утренний сладкий сон я уже слышал эти звуки и от них становилось как-то особенно мирно, только шарманка, изредка забредавшая на наш двор, всегда наводила на меня ужасную грусть.

Зимой звуки эти заглушались двойными рамами. Между стекол клади белую вату (и было похоже, точно там лежал снег) и всегда по ней были разбросаны мелкие отрезки толстых разноцветных шерстинок (до чего это было наивно и мило!) и ставились стаканчики с кислотой, чтобы не потели и не замерзали стекла. Они всё-таки замерзали и какие красивые узоры на них появлялись! («это нарисовал дед-Мороз», говорила няня, и я верил). А когда в одно прекрасное утро всё кругом — и крыши и все выступы и карнизы оказывались покрытыми пушистым, сверкающим на солнце снегом, так уютно было глядеть из окна моей теплой детской на знакомый вид, вдруг

ставший совсем новым и каким-то веселым. Наступала зима с ее радостями.

Окна других комнат выходили на запад и на огромный, как площадь, внутренний двор Михайловского училища, и из нашей залы я мог видеть, сквозь листву комнатных растений (наш «ботанический сад»), как за длинную крышу напротив и за ровную линию бесконечных дымовых труб закатывается красное солнце. На этом дворе, укрытом от всех ветров, мы гуляли с няней, когда стояла плохая погода, водили же меня подышать свежим воздухом каждый день, хоть ненадолго. Тут мы прогуливались по тротуару, который шел вдоль всех четырех стен казенного дома, но и в этой скучной прогулке было маленькое развлечение — посмотреть через решетчатые ворота с черными чугунными орлами на нашу Симбирскую улицу, где сквозь пики решетки видна была дребезжащая конка, спящие на козлах извозчики, разноцветные вывески мелочной и бакалейной торговли и золотой крендель немецкой булочной.

Весной, в теплые дни, на нашем пустынном дворе с каменной мостовой (между булыжниками уже пробивались чахлые травинки и листики ромашки) я играл с мальчиками соседних квартир, и двор становился моим; я « covладел » им и знал все закоулки, изучил и все широкие лестницы нашего офицерского флигеля, бесконечные гулкие коридоры, которые тянулись вдоль всех трех этажей аракчеевского дома. На каменных лестницах с плоскими широкими ступенями (посередине была выемка, источенная ногами) всегда, даже и в жаркие дни, был приятный холодок. Пахло копками и кухонным чадом — наверное, как и в дни самого Аракчеева (дом был выстроен в 1820-х годах).

В дальнем углу двора низенькая дверь вела в узкий и таинственный подвальный корridor, через который был выход к набережной Невы — на площадку перед фасадом Училища. Тут стояли пушки на колесах, и в ясный день прогуливались и резвились веселые юнкера без фуражек. Я неизменно попадался моему врагу — одному краснощекому стриженному

ежиком юнкеру, нашему родственнику, который меня всегда дразнил и пугал.

На этом кусочке набережной около Литейного моста было интересно глядеть на разные небольшие парусные суда, которые там причаливали, и рассматривать их снасти. Когда я уже начитался морских приключений, я всё мечтал увидеть у нашей набережной какой-нибудь настоящий трехмачтовый корабль с парусами, прибывший из-за моря, или хоть какую-нибудь шхуну или бриг с иностранным вымпелом. Однажды, действительно, дождался и с восторгом увидел английский флаг на какой-то маленькой яхте, ошвартовавшейся тут для моего удовольствия.

**
*

Обыкновенно ежедневная наша прогулка с няней была через Литейный мост по Литейному проспекту до Невского и обратно — конец немалый, а иногда по тихой и провинциальной Выборгской стороне к Арсеналу.

Если мы шли этой последней дорогой, по Симбирской улице (вспоминается она всегда запущенная снегом), то проходили мимо маленькой лавочки в заборе около нашего дома, где седой, «как луна», добрый дедка в нагольном полушибурке (с узором на груди) продавал семечки, орехи и чудесные сладкие черные стручки с овальным блестящим и нераскусимым бобом внутри — мое любимое лакомство. И всегда от старика я слышал ласковое словечко.

Когда наш путь лежал через Литейный мост, я видел широкий простор Невы, Петропавловскую крепость с чуть заметным флагком на кронверке и острый золотой шпиль с ангелом наверху, видел белые колонны далекой Биржи, плоский понтоный Троицкий мост и теряющийся в отдалении тесный ряд дворцов — с младенчества мне родной и любимый вид.

Когда шел лед, с моста восхитительно было глядеть на плавущие льдины, которые вкусно раскалывались пополам о

мостовой «бык», и казалось, что сам плывешь вместе с мостом им навстречу. А когда под аркой моста проходил буксир, тянувший барку, и его дымящая труба вдруг загибалась назад, забавно было очутиться в темном облаке дыма, от которого першило в горле.

Мне очень нравились толстые нарядные перила моста и их зеленые русалки с рыбьими хвостами, которые держали в руках герб Петербурга и, проходя, я всегда до них дотрагивался. Также я любил мимоходом погладить и страшную голову Горгоны на низенькой чугунной решетке Летнего сада и храбро положить палец в ее раскрытый зев.

С нашего моста вечером (если я откуда-нибудь возвращался домой с моим папой) открывалось чудесное зрелище: по всем набережным Невы тянулись бесконечные ровные цепочки фонарей и вдали их огоньки сливались в одну тонкую нить, которая всегда дрожала и переливалась, а когда было тихо на Неве, от каждого фонаря в воду опускалась острая и длинная игла. Зрелище это меня и притягивало и веселило и наполняло каким-то смутным чувством: я не понимал, конечно, еще всей грусти и таинственности — словом, поэзии — этой петербургской ночной красоты.

Посреди этих живых золотых нитей и бус сиял белым и неподвижным светом ряд фонарей возле дворцов — это было первое электричество в Петербурге. Но еще всюду горели газовые фонари, и живое их пламя то приседало от ветра, то опять разгоралось (по вечерам по улице бегал фонарщик с лесенкой и взбирался на каждый фонарь его зажигать своим фитилем). Но вскоре засветились впервые на нашем Литейном мосту лампы Яблочкова (отец мой однажды принес и показал эту странную двойную свечу), а затем зажглось электричество и на Невском проспекте (мой дядя с восторгом принес нам новость: «теперь ночью на Невском можно читать газету»). Дуговые фонари шипели, гудели и иногда роняли красную искру и молочно-розовый их свет, искрившийся на снегу, мне казался совершенно волшебным.

**
*

Иногда мы делали с няней наше «путешествие» в город на конке или по Захарьевской улице до Невского или по Литейному проспекту. По Захарьевской и дальше по Знаменской мы ездили на маленькой однолошадной конке, которая тащилась очень медленно, и на разъездах ждали встречного вагона мучительно долго. В этом вагоне четыре самых передних места и стул между ними стоили по 4 копейки, другие сидения по 6, и все норовили сесть впереди. Я терпеть не мог сидеть на стуле на виду у всех. На Литейном конка была в две лошади с империалом и вагоны были синего цвета, зимой верхние пассажиры «империала» от холода неустанно барабанили ногами по потолку. Запомнилось, что внутри вагона между окнами были узенькие черные зеркала, а под потолком были пригвождены объявления: «Саатчи и Мангуби» — папиросы и табак с изображением усатого турка и «Лаферм». И кучер и кондуктор, один на передней площадке, другой на задней, постоянно отчаянно звонили, дергая в подвешенный на пружине колокольчик. Первый трезвонил зевакам, задний давал сигнал кучеру, чтобы остановиться или двигаться дальше. На обратном пути к нам на Выборгскую, чтобы одолеть подъем на Литейный мост, прицепляли около Окружного Суда еще одну лошадь со всадником — мальчишкой форейтером — и затем с гиком и звоном мчались в карьер. На мосту мальчишка отделялся и, звеня сбруей, ехал трусцой назад. Зимой эти форейторы, хотя и укутанные в башлыки и в валенках, жестоко мерзли. Помню, раз мой пapa скжалился над таким мальчишкой и отдал ему все булки, которые вез домой от Филиппова.

Но на конке ездить было очень скучно и куда интереснее было идти с няней в город пешком.

**

Во время этих прогулок по Петербургу меня занимали всевозможные мелочи: вдоль тротуара стояли низенькие гра-

нитные и чугунные тумбы, зимой на них лежал круглыми шапками снег и было приятно по дороге сбить эту шапку или сделать маленький «снежок». На уровне моих глаз я постоянно видел на прибитой к стене красной жестянке таинственную надпись «Ого», точно кто-то грозил (это было просто «Общество газового освещения»). Глядя под ноги — и там я видел много интересного и я старался, шагая попадать ровно с плиты на плиту, хотя маленькому это было трудновато. Под своими ногами, на корявых известковых плитах панели, я иногда замечал странные отпечатки и какие-то окаменелости. Позже мой гувернер, студент-медик, меня научил, что это моллюски «ортокератиты силурийской формации» — и мне нравилось произносить это ученое название.

Когда я стал грамотный, то прилежно, по складам, читал надписи всех встречных вывесок, и няня или папа, когда с ним гулял, терпеливо дожидались, когда я кончу. А как занятно было рассматривать то, что было изображено на вывесках встречных лавок и магазинов! На «мясной торговле» красовался бык на золотом фоне, стоящий на обрыве, внизу же мирно сидел барабашек. На вывесках «зеленой и курятной» торговли были аппетитно нарисованы овощи — кочан капусты, морковка, репа, редиска или петухи, куры, утки, а иногда индюк с распущенными веером хвостом, а у «колониального» магазина — ананасы и виноград. Мелочевые же лавочки были неизменно украшены вывеской с симметрично расставленными сахарными головами в синей обертке, пачками свечей и кусками «жуковского мыла» с синими жилками, в центре же красовалась стеклянная ваза с горкой кофейных зерен, а на фоне витали почтовые марки, почему-то всегда по три вместе. Мне также очень нравилась нарядная вывеска красилен Клиодта, где развивались разноцветные ленты, приятно закручивались свертки материй и кудрявились три страусовых пера разного цвета.

Меня занимали и окна «гробового мастера» Шумилова — там были выставлены разные гербы на овальных щитах, настоящие белые и черные страусовые перья и другие траурные

украшения и длинные картинки, изображающие похоронную процессию с лошадьми в попонах и с факельщиками около колесниц. Всё это, как и все те живописные петербургские вывески, было традицией далекого прошлого. А совсем старинными были — золотая виноградная грозь, висевшая над виноторговлей «К. О. Шитт 1818» (всегда в подвале углового дома), золотой ботфорт со шпорой (сапожник И. Гозе — папин поставщик!) на Владимирской и столь привычные в Петербурге золотые кренделя под короной немецких булочных ...

На Литейном проспекте мне был по виду знаком, конечно, каждый дом и всегда занимал мое воображение загадочный нежилой серого мрамора дворец против Симеоновской, с его пустыми громадными зеркальными окнами (ходила легенда, что там якобы жила Пиковая дама!) — как и другие таинственные для меня «барские» особняки. Мне нравился и громадный черный полосатый дом Мурузи в мавританском стиле и его чугунные навесы у подъездов с удивительными узорами и арабскими надписями. Дом замечателен был для меня тем, что там была большая парикмахерская, где меня впервые остригли (раньше это делали домашним способом) и я попросил парикмахера: «пожалуйста, сделайте мне такую же пышку, как у моего папы» — могу представить, как я умилил и развеселил отца.

Конечно, проходя мимо Артиллерийского управления, я задерживался у старинных зеленых пушек, стоявших визави Окружного суда, точно они собирались в него палить. Пушки были выстроены в порядке их роста и оба симметричных ряда кончались маленькими пузатыми мортирами, которые особенно мне нравились. Интересно было рассматривать выпуклые украшения на дулах, колесах и лафетах, гербы, ручки в виде дельфинов и непонятные надписи вязью.

Если был большой праздник или Великий пост, мы с няней, гуляя по Литейному, по дороге иногда заходили в маленькую изящную Сергиевскую церковь с золотым шпилем на колокольне и с синим куполком в частых золотых звездочках, или в Спасо-Преображенский Собор. Няня всегда у иконы

ставила копеечную свечку. Этот белый собор с черными куполами был окружен оградой из поставленных стойм, дулами в землю, громадных черных пушек, отнятых когда-то у турок. Между этих «столбов» висели тяжелые цепи, а в ограде росли старые ветвистые деревья. В Сергиевской церкви я помню панихиду по только что убитому Александру II. Церковь была переполнена народом с горящими свечами. Многие плакали, няня тоже, и я вместе с ней заплакал.

Зимой я с завистью смотрел, как дворники особыми зубчатыми лопатками скальвали ледок на тротуарах и он отскакивал аппетитными пластинками. Иногда панель загораживалась рогатками — дворники сбрасывали с крыши снег и тогда надо было сворачивать на середину улицы и какой это был особенный петербургский звук — гулко бухавшие снежевые глыбы! Когда выпадал слишком глубокий снег, его усиленно счищали и кучи его, иные с воткнутой лопатой или метлой, тянулись вдоль всех тротуаров.

Весной целые полки дворников в белых передниках быстро убирали снег с улиц (любили острить, что дворники делают весну в Петербурге). Тогда же появлялись и другие уличные звуки — когда растаявший лед вдруг катастрофически и неожиданно рушился внутри водосточных труб в зеленые кадки на тротуарах с пугающим прохожего грохотом. И сколько вообще разнообразнейших звуков неумолчно раздавалось на петербургских улицах! Звенел на конках звонок кондуктора, заливались колокольчики — дар Валдая — и бубенчики на проезжавшей тройке (я долго думал, что «дарвалдая» значит «звеня»), гудели по праздникам церковные колокола, нередко проходила с трубами и барабанами военная музыка, а по дворам распевали на разные лады разносчики — и всё было мелодичным. Лишь было в самую душу, когда страшные ломовики везли по булыжной мостовой адски грохочущие рельсы.

Летом петербургская улица громыхала, и только на улицах, замощенных торцами (Невский, Большая Морская, набережные и некоторые другие места), былотише, лишь раздавались крики «Ванек» и кучеров «берегись!» Резиновых шин

еще не было, и стук колес по камням мостовой, цоканье копыт и конское ржанье были самыми привычными звуками. Чтобы ослабить уличный шум, часто возле дома, где был больной, стлали солому и тогда стук колес вдруг становился мягким и шуршащим.

Летом мостовые повсюду чинились, деревянные торцы заменяли новыми, шестиугольные шашки тогда образовывали целые баррикады — и красные «рогатки» загораживали половину улицы. Вокруг строившихся домов возвышались временные заборы и «леса», которые надо было обходить с опаской. По деревянным сквозным настилам каменщики таскали на самый верх постройки кирпичи, согнувшись в три погибели под тяжелой ногшей, и мне было даже страшно смотреть. На верху лесов всегда был прикреплен крест во избежание несчастий, маленькая березка или засохший венок.

Петербург в летнее время пустел, «господа» разъезжались на дачи и по «заграницам», и хозяевами города делались кухарки, дворники и горничные. На лавочках у ворот лущили семечки, слышалась гармоника, веселые маляры, которыми был полон летний Петербург, горланили свои песни. Это был «Питер».

**

Наши ежедневные прогулки с няней имели иногда маленькую цель — чаще всего мы ходили в булочную Филиппова, на угол Невского и Троицкой, купить мою любимую слоеную булку, подковку с маком или тмином и солью или же калач (у него под клапаном я любил находить белую муку и ручка его аппетитно хрустела). Иногда у Филиппова я лакомился пирожками с вареньем, капустой или грибами. К этому громадному и всегда страшно горячему пирожку полагалась бумажка, чтоб не пачкались от жира руки. Особенно приятно было съесть такой горячий пирожок в мороз. Часто мы шли с няней и дальше по Невскому к Гостиному Двору.

Посреди Невского бежала конка — был один путь и разъ-

езды. Тут вагон был красного цвета и наряднее, чем на других улицах, и двигался шибче. Рядом с конкой вдоль Невского тащились допотопные «Щапинские» омнибусы («Сорок мучеников») и длинной вереницей плелись «Ваньки», держась ближе к тротуару. Их перегоняли слева «лихачи», кареты, ландо, «эгоистки» (узенькие дрожки или сани на одного седока) и другие «собственные» экипажи. На кушаке кучера этих экипажей часто красовались прикрепленные над толстым задом армяка большие круглые часы, чтобы барину удобнее было следить за драгоценным временем.

Придворные кареты отличались золотыми коронами на фонарях, а кучер, одетый по-русскому, всегда был украшен медалью и издали уже было видно, что мчится кто-то из царской фамилии. Городовые тогда подтягивались, и на перекрестках движение сразу останавливалось.

На придворных экипажах с английской упряжью красовались кучера и камер-лакеи в треуголках и алых ливреях с золотым позументом, украшенным черными орлами, с пелеринкой и белым пуховым воротником. В дождь ливреи были из белой блестящей клеенки — что было очень элегантно. Особенный был выезд у посланников: у кучера на спине армяка был всегда треугольник из золотого позумента, а верх шапки был голубой бархатный и «рогатый», как бы «двууголка». Рядом с кучером сидел «егерь» с развивающимся плюмажем из петушиных перьев на треуголке и с широкой портупеей через плечо (маленьким я думал, что это и есть сам посланник, такой нарядный).

Были очень красивые сетки на лошадях (обыкновенно синие, редко красные), предохранявшие седока от снежной «ископыти» и комьев грязи. У саней же бывали пухлые медвежьи «полости» (покрывала для ног) с кистями, которые волочились по снегу. Существовали еще «запятки» — у парадных саней и у карет сзади стоял, держась за особые петли, рослый лакей в ливрее и цилиндре с кокардой сбоку его. У иных был огромный медвежий воротник-пелерина. На запятках же саней царицы Марии Феодоровны, часто проезжавшей

по Невскому, всегда высился великолепный камер-казак в красном кафтане с откидными рукавами и в высокой папахе с кистями. Порой по Невскому лихо мчалась тройка с бубенцами — у кучера была круглая шапочка, надвинутая на лоб, с павлиньими перышками вокруг тульи, мелькала белая фуражка офицера и боа или меховая «ротонда» его дамы...

А иногда, нарушая все благообразие Невского и перегоняя чинный поток экипажей, дико мчалась от Почтамта к Николаевскому вокзалу почта, громыхая постромками и пугая извозчиков — целый поезд страшных старомодных рыдванов или, зимой, чудовищных саней («макшаны»), запряженных четверкой с форейтером и с почтарями в башлыках, опоясанными саблями.

**

Невский проспект был необыкновенно наряжен своей толпой, где большие всего было военных, носивших самые разнообразные формы. Маленьkim я, конечно, глядел во все глаза на мелькавшие в толпе черкески и бурки, офицерские фуражки разных цветов, треуголки, каски с белым или черным султаном или с двуглавым орлом наверху. Однажды я даже остановился от восхищения: по улице шел настоящий витязь в шинаке, в кольчуге и с колчаном (тогда еще существовал отдельный отряд в конвое Его Величества — кавказская сотня, носившая стариные доспехи хевсупров). А наряду с этой нарядной толпой какими только типами, настоящими деревенскими, не пестрела петербургская улица моего детства*)

Извозчики — петербургские «Ваньки», — неотъемлемая принадлежность улицы, носили всегдаший традиционный, спокон века присвоенный им мужичий синий армяк до пят и kleenчатую шляпу — приплюснутый низкий цилиндр с раstrу-

*) Лишь в некоторых парадных местах столицы, как на Дворцовой набережной, в Летнем саду (и на Невском и Морской, кроме утренних часов) одуревшая и напуганная тогда полиция не пускала людей, одетых по простонародному.

бом и загнутыми полями (непременно с медной пряжкой впереди), а зимой — меховую шапку с квадратным суконным, а то и бархатным верхом. И какие у них бывали узорчатые и разноцветные пояса! Сидя на облучке своих саней или дрожек, они поджидали седока и приглашали прохожих: «поедем, барин!» или — «резвая лошадка — прокачу!» Их исконными врагами были ломовые извозчики, никогда никому не уступавшие дороги («Ванек» они презрительно обзывали «гужееды», «гужом подавился!») — и когда медленной лавиной двигался кортеж их до отказа нагруженных возов или громадных саней, никакая сила не могла их остановить, иногда даже городовые пасовали. Эти дикого вида «ломовики», держа вожжи, медленно выступали рядом со своими такими же страшными и огромными битюгами, увешанными сбруей с бляхами, дуги же бывали необыкновенно затейливо и ярко расписаны. Всегда это были мрачные бородатые мужики, которые носили или засаленный картуз или треух и неизменно были наряжены поверх зипуна в красный жилет нараспашку — и любопытно, что это были всегда старые придворные лакейские жилеты с двуглавыми орлами на истрапанном позументе! Этот замечательный костюм еще дополнялся брезентовым фартуком, богатырскими кожаными рукавицами и какими-то веревками и крючками, висевшими сбоку. Охтянка-молочница «спешила», как и во время Пушкина, но уже не «с кувшином», а с металлическими бидонами на коромысле, а на голове был под платком повязан прежний белый «повойник» и юбка была всегда в мелких полосках, лилового, красного и оранжевого цвета.

Шерстяные платки на плечах у деревенских баб, всюду сновавших по городу, обычно были в крупную клетку — как это тоже было привычно глазу! И каких только тут не было сочетаний — синего с оранжевым, зеленого с красным, серого с черным... А сколько еще всевозможных продавцов и уличных ремесленников заполняло улицу — разносчики, сбитеньщики, точильщики, стекольщики, продавцы воздушных шаров, татары-халатники, полотеры — всего не перечесть — и их белые передники, картузы, тулуны, валенки (иногда так кра-

сиво расписанные красным узором) и разные атрибуты и инструменты «простонародья», как все это оживляло и красило картину петербургской жизни!

Самым нарядным уличным персонажем была кормилица у «господ». У них была как бы «парадная форма», квази-крестьянский костюм весьма театрального вида (наряд сохранился и позже вплоть до самой войны 1914-го года!). И постоянно можно было встретить чинно выступавшую, рядом со своей по моде одетой барыней, толстую краснощекую мамку в парчевой кофте с пелеринкой, увшанную бусами, и в кокошнике — розовом, если она кормила девочку, и голубом, если мальчика. А летом ее наряжали в цветной сарафан со множеством мелких золотых или стеклянных пуговок на подоле и с кисейными пузырями рукавов. На набережной и в Летнем Саду среди корректной петербургской толпы такая расфуфыренная кукла была обычна и глаз к ней был привычен*).

**
*

Иногда, гуляя с няней, я навещал на службе моего папу — его канцелярия помещалась на углу набережной и Литейного — и мою прогулку я часто продолжал с ним. Когда я появлялся в канцелярии, на меня посмотреть сходились сослуживцы отца офицеры — до сих пор помню лица и фамилии этих ласковых со мной бородатых, усатых, франтоватых и мешковатых артиллеристов. Меня тут засаживали рисовать, снабжали карандашами (особенно я любил толстый синий и красный) и казенной бумагой для моего рисования.

Чаще всего мы шли с отцом по набережной к Летнему Саду. В саду мы прохаживались вдоль аллей по деревянным

*). Для этих «спэйзанок» места эти не были запретными, как для иного простого люда, «народа». Курьезные контрасты были всегда как бы традиционной чертой Петербурга и на литографиях 1820-30-х годов внимательные художники особенно любили подчеркивать эти забавные сочетания: амазонка и баба с коромыслом, офицер и кормилица, столичный франт и возница-деревенщица.

мосткам, статуи нимф и богинь уже запрятаны были в тесные деревянные будочки, а в голых сучьях деревьев каркали и шумели крыльями вороны. Мы всегда останавливались у памятника дедушки Крылова и я рассматривал фигурки из его басен.

Гуляя с отцом по Литейной, мы нередко заходили в магазин Девишина на углу Симеоновской в памятном мне красном доме, где отец всегда покупал бумагу, краски и карандаши для моего рисования (позже и учебные тетрадки), всё это я имел в изобилии с трехлетнего возраста (а отец бережно собирал мои «произведения» и у него накоплялись целые альбомы).

Как я любил эту тесную подвальную лавочку! Там была волшебной красоты бумага — и всех цветов, и узорчатая, и чудная мраморная, и тисненая, и золотая, и серебряная, и большие, немецкого издания, листы для вырезания и склеивания разных домиков и целых замков, и вышуклые картинки для наклеивания, и заманчивые декалькомани. И как было занято, прия домой, намочить листок, придавить к бумаге и бережно тереть с обратной стороны до катышков, пока под ними не появится яркая, блестящая картинка!

На том же Литейном проспекте часто отец заглядывал со мной мимоходом в переплетную или к букинисту, чтобы отдать или взять связку книг. Его библиотека всё время росла и, став немного постарше, сколько часов я проводил в папином кабинете, рассматривая (бережно, как меня приучили с детства) его чудные книги с картинками, альбомы и иллюстрированные журналы! И сколько я узнавал замечательного и как любовался Гюставом Доре в «Потерянном и Возвращенном Рае», и старинными тонкими гравюрами в сочинениях Вальтер Скотта, и уморительными рисунками Вильгельма Буша в «Ueber Land und Meer» — и всё это запало в память на всю жизнь. А у меня в детской уже росла горка моих собственных книжек — они начались со «Степки-Растрепки», «Гоши-Долгие руки», «Сказок Андерсена», и «Bibliotheque Rose», а когда мой мир

расширился до Жюль Верна — это уже была маленькая библиотечка.

Если мы с папой попадали в Гостиный Двор, то обязательно бывали в игрушечной лавке Дойникова, в воротах (где всегда дул страшный сквозняк), битком набитой самыми соблазнительными игрушками, и я всегда что-нибудь приносил с собой домой — или оловянных солдатиков, уложенных в овальной лубочной коробочке с немецкой надписью на крыше, или какую-нибудь чудную игрушку изделия Троицкой Лавры — медведя и мужика, по очереди бьющих по наковальне, или Щелкунчика с горбатым носом и в тирольской шляпе с пером, или же забавную заводную игрушку с коротенькой музычкой — вертящуюся козу в юбке, держащую цветочек, или розовую балерину, делающую ручкой*).

Было также большое удовольствие зайти с отцом в удивительный магазин Муллерта на Караванной — это был маленький зоологический сад, где мы покупали разную пищу для наших птиц (множество их весь день распевало и чирикало в огромной клетке в амбразуре одного из окон нашей залы) и для рыб в папином замечательном аквариуме (отец был по призванию настоящий натуралист и аквариум не был только большой игрушкой — он делал серьезные наблюдения над его жителями и вел заметки). Тут, в этом магазине, можно было полюбоваться «попками», разными экзотическими птицами и обитателями террариумов — тритонами, черепахами, даже хамелеоном. Здесь мне папа купил юрких белых мышек с красными глазками, которые стали жить у нас в зале, в маленьком домике, специально для них сооруженном — их потом сменили морские свинки — и забавного ежика, который

*.) Взрослым я стал серьезно собирать коллекцию народных игрушек, которая смогла конкурировать с такими же коллекциями у Александра Бенуа и у проф. Маттэ. Но, увы, многих очаровательных и наивных игрушек, которые так любил мой отец, памятных мне по детству, уже достать не удавалось. В моей коллекции с почетом красовалась голова в кокошнике деревянной «Акулины», моей первой куклы, уже совсем покинувшая и уцелевшая каким-то чудом.

всегда по вечерам бегал торопливыми шажками по всей квартире. Я очень плакал, когда бедный «Федя», как я его прозвал, погиб, задохнувшись в калоше, куда он забрался, как в норку.

**
*

Всегда, проходя или проезжая по Литейной, я видел ровные перспективы Фурштадтской и Сергиевской улиц, где в конце их серел в туманной дымке далекий Таврический Сад. В этой «манящей дали» он казался мне каким-то таинственным, там тогда мне не приходилось бывать, но маленьkim я попадал и в другие очень далекие от нас части Петербурга.

Раз мы с папой в один солнечный день сделали целое восхитительное путешествие по всей искрящейся на солнце Неве, на маленьком финляндском пароходике — с Выборгской на Васильевский Остров — мимо дворцов, крепости, биржи и ныряя под все четыре моста — Литейный, Троицкий, Дворцовый и Николаевский. Мы ездили навестить жившего на какой-то очень далекой линии одного моего дядю. У него, «ученого» и замечательного лингвиста, меня поразило, что в комнате был только один стул и множество книг, целые кучи их лежали и на полу (а на обложке его перевода с итальянского — Габриэлли «Воспитание характера» — стоял девиз, позже на всю жизнь мне запомнившийся: «Пусть себе рухнет мир, я без страха паду средь развалин»...). Увы, книг этих никто не покупал.

Отец, всегда ища повода что-нибудь показать интересное или полезное для моего развития, однажды повез меня на фабрику — «Невскую бумагопрядильню», на далекий от нас Обводный канал, и я был восхищен стройными движениями машин и их ритмическими стуками и какой-то бодростью этого места, оно вовсе не было мрачным, наоборот, всё было залито светом и мне улыбались приветливые лица ткачих.

Очень часто, с самого раннего детства, я бывал в Измайловском полку, тоже в далеком от нас районе, у сестры моего отца — моей любимой тети Кати. Ее муж был командиром

Измайловского полка, свитским генералом — и они жили в обширной и нарядной квартире на углу Фонтанки и Забалканского проспекта, в казармах полка — старинный дом Гарновского. Их сын, мой двоюродный брат Саша, пока не поступил в Лицей, был один из первых моих друзей детства, и я иногда туда приезжал «с ночевкой». От Технологического Института, куда доезжали на конке, к тете на Фонтанку приходилось идти или мимо величественного белого Троицкого Собора с пятью голубыми куполами с крупными золотыми звездами, или мимо желтого Константиновского училища, против которого стоял красный обелиск — старинный верстовой столб с солнечными часами.

Я любил бывать в этом квартале Петербурга. Тут, на широкой 1-ой роте, около моего любимого Собора, жил тоже и «папин папа», строгий дедушка, такой всегда ласковый со мной; мне нравилась его светлая необыкновенно чистенькая квартира, уставленная старинными шкафами и гнутой мебелью с вышивками — и «Измайловский полк» был для меня тоже «своим» и родным с самого раннего детства, как и наша Выборгская сторона.

Когда мы с няней входили к тете, в парадный подъезд с Фонтанки, нас всегда приветливо встречал старенький швейцар с седыми баками. Он был облачен в красную с золотом придворную ливрею, носил на ней огромнейшую медаль и чем-то был похож на своего генерала. Как только в бель-этаже отворялись (обитые зеленым сукном с медными гвоздиками) двери в квартиру, меня охватывала легкая жуть уже от одной строгой передней с высокими зеркалами и стоявшими тут «на вытяжку» двумя рослыми измайловскими «рядовыми» — дежурными вестовыми. Даже и после наших больших размеров комната тети меня пугала своими еще более высокими потолками, пугала и ужасно скользким паркетом залы, через которую надо было пройти, и огромными картинами, и овальными портретами в толстых золотых рамках, и тяжелыми бархатными портьерами от потолка до полу с золотыми карнизами и кистями. Я больше всего любил забраться в уютный

тетин будуар и там, усевшись на диване возле углового окна, смотреть через зеркальное стекло на улицу — этого удовольствия не было в нашей квартире. Помнится падающий снег, и через его сетку я гляжу на горбатый каменный Измайловский мост, полный черных фигурок прохожих, на конку, заворачивающую рядом на узенький решетчатый мостик, на оживленный каток на льду Фонтанки — и на пропадающую в снежной дали прямую линию Вознесенского проспекта.

В доме Гарновского был такой же большой внутренний двор, как и в нашем казенном доме, только посредине был окруженный низеньким забором сад, а все три этажа казармы были в арках (на манер итальянских лоджий). В теплое время мы с Сашей часто играли в этом тенистом садике, на дворе же всё время слышались военные сигналы упражняющихся в своем искусстве трубачей, и иногда происходило строевое учение солдат и мне было интересно глядеть, как их учили шагистике и ружейным приемам. Но еще интереснее было уединиться с Сашей в их квартире в его большой «классной» и рассматривать его коллекцию марок, предмет моей зависти, и его книжки. Лет с 7-ми мы стали коллекционерами и он меня опережал, так же как опережал и в чтении, впрочем он был на два года старше.

Когда была коронация Александра III (1883 г.), тетя Катя повезла меня в своем экипаже вместе со всеми ее детьми, поздно вечером, смотреть на иллюминацию Петербурга и я вдоволь нагляделся на царские вензеля и короны и разные надписи вроде «Боже царя храни» из весело переливающихся, то делавшихся голубыми, то ярко разгоравшихся газовых язычков, на гирлянды разноцветных фонариков, развешанных вдоль улиц, на факелы Исаакиевского Собора, на сальные плошки, которыми были уставлены тротуарные тумбы и выступы домов.

Наше ландо еле могло пробиться через толпу, а в одном месте, около Арки Главного Штаба, его и совсем было затерло, даже была маленькая паника. При этом мы не могли найти ни папы, ни няни, ни дяди Гоги, которые дежурили в разных

местах, чтобы меня извлечь из коляски, и всё удовольствие было испорчено и, конечно, я плакал. Сонного меня бесславно повез домой (почему-то на конке) один чернобородый капитан Измайловского полка, повез наверное без особого для себя удовольствия, лишь в угоду своей генеральше, а я крепко спал от усталости в уголке коночного вагона.

Еще чаще я езди в гости (тоже иногда с ночевкой) к другому другу моего детства Сташе, сыну дяди Евстафия, доктора, в их тесную квартирку на узенькой и темноватой Пушкинской улице, где в крошечном скверике стояла крошечная статуя Пушкина. Вначале мы играли в индейцев, потом, прочтя Жюль Верна, начали строить Наутилус и одновременно стали затевать театр, что и сделалось нашим главным увлечением в ранней юности (школа — не так, как было с Сашей — и позже не растроила нашей дружбы).

С Пушкинской дядя переехал на Кузнецкий переулок — угол Ямской улицы — против Владимирского Собора, где я продолжал также часто бывать. Как я лишь впоследствии узнал, эта дядина квартира была соседней с тою, где года 2-3 до этого скончался знаменитый «сочинитель», как тогда еще выражались, Достоевский.

Тот вид из окон квартиры, где я играл со Сташей, и который я так отчетливо помню — на черные штабели дров, глухой брандмауэр и заборы, этот печальный петербургский пейзаж был и перед глазами Достоевского. Сообразил я всё это — и с немальным волнением — лишь взрослым . . .

**
*

Самым веселым временем в Петербурге была масляница с ее балаганами. Елка и Пасха были скорее домашними праздниками, это же был настоящий всенародный праздник и веселье. Петербург на целую «мясопустную неделю» преображался и опрощался: из окрестных чухонских деревень наезжали в необыкновенном количестве «вейки» со своими лохматыми бойкими лошадками и низенькими саночками, а

дуги и вся упряжь были увешаны бубенцами и развевающимися разноцветными лентами. Весь город тогда наполнялся веселым и праздничным звоном бубенчиков и такое удовольствие было маленькому прокатиться на вейке! Особенно если сидеть на облучке, рядом с небритым белобрысым чухной, всегда невозмутимо сосущим свою «носогрейку». Извозчики презирали этих своих конкурентов — вейка за всякий конец просил «ридцать копеек» — и кричали на них: «эй ты, белоглазый, посторонись!»

Приближаясь к Марсову полю, где стояли балаганы, уже с Цепного моста и даже раньше, с Пантелеимоновской, я слышал, как в звонком морозном воздухе стоял над площадью веселый человеческий гул и целое море звуков — и гудки, и писк свистулек, и заунывная тягучка шарманки, и гармонь, и удары каких-то бубен и отдельные выкрики — всё это так тянуло к себе и я изо всех сил торопил мою няню попасть туда поскорей. Балаганы уже виднелись за голыми деревьями Летнего Сада — эти высокие желтые досчатые бараки тянулись в два ряда вдоль всего Марсова поля и на всех развивались трехцветные флаги, а за балаганами высились вертящиеся круглые качели и стояли ледяные горы, тоже с флагом на верху.

Я попадал сразу в людскую кашу, в самую разношерстную толпу — толкались веселые парни с гармошкой, разгуливали саженные гвардейские солдаты в медных касках и в долгополых шинелях с белым кожаным кушаком — и непременно в паре с маленькой розовой бабенкой в платочке, проплывали толстые салопницы-купчихи и тут же — балаганы были «в моде», и в обществе считалось по традиции даже хорошим тоном посетить народное гулянье — прогуливались тоненькие барышни с гувернантками, гвардейские офицеры со своими дамами в меховых боа — словом было «слияние сословий» (раз видел, как медленно проезжали вдоль балаганов придворные экипажи и тянулись длинным цугом кареты с любопытными лициками институток).

Я с восторгом смотрел на огромные полотнища — вывески

балаганов — целые картины, где были простовато нарисованы и неизбежная «битва с кабардинцами» и храбрый «Белый генерал», скачущий в пороховом дыму на белом коне, а внутри этих балаганов слышались пальба, трубные сигналы, музыка и барабаны. На других балаганах, поменьше, красовались изображения львов и тигров с человекоподобными свирепыми физиономиями, шпагоглотатели, эквилибристы, вольтижеры, великаны и лилипуты — даже итальянские арлекины и пульчинеллы — эти персоны каким-то чудом еще жили в Петербурге моего детства! Самые большие балаганы, Лейферта и Малафеева, бывали полны народа, у их боковых деревянных стен были прилеплены лестницы, которые всегда были черны от людских очередей, ожидающих впуска в «раёк». У Малафеева я видел с няней «Куликовскую битву», особенно восхитил меня сам бой, со звоном мечей, происходивший за тюлем, как бы в туманное утро, даже может быть в нескольких планах между несколькими тюлями — иллюзия была полная и, надо думать, сделано было это вовсе не плохо. Из папиного чтения «Откуда пошла русская земля и как стала быть» я знал про Мамаево побоище и на мой взгляд всё было верно: и то, что Дмитрий Донской израненный лежал под деревом, и то, как были изображены русские воины-богатыри монах Пересвет и Ослябя. Помню на балаганах еще представление: русскую сказку «О семи Симеонах», которая тоже мне была знакома по сказкам Афанасьева, где один из братьев лез на высокий шест, чтобы что-то увидеть; этот Симеон оставался на месте, делая вид, что лезет, а декорация всё время опускалась — тоже была полнейшая иллюзия. Внутри балаганов было холодно, они согревались лишь дыханием публики, и несчастные актеры говорили сиплыми голосами из последних сил, весь день без передышки горланя в ледяном воздухе.

Кроме самих балаганов сколько еще было всевозможных приманок! Среди шума толпы вертелись и звенели карусели и можно было лихо прокатиться верхом на деревянной лошадке в «яблоках». Стоял треск выстрелов в маленьких тирах — «стрельба в цель», к ним меня ужасно тянуло, но няня ни за

что не пускала, боясь ружей и пуль и из опаски, что меня еще подстрелит какой-нибудь озорник. А покататься на круглых качелях мне и самому не очень хотелось. Хотя я был порядочный плакса, но трусом не был, наоборот, думал быть отважным героем, но тут было, действительно, страшно вдруг застремать и повиснуть в воздухе — и я только издали поглядывал, как летали на этих качелях в открытых будочках обнявшиеся парочки и лущили семечки. Но с какой завистью я смотрел на катающихся с ледяных гор, которые казались гигантской высоты! Один только раз с кем-то из взрослых я с замирающим сердцем ухнул с горы на салазках среди взвившейся кругом ледяной пыли. Среди толпы стояли и раёшники с своими заманчивыми домиками — за копейку можно было в круглое окошечко посмотреть на разные лубочные картинки и «перспективные» виды. Раёшники с шутками зазывали прохожих и, объясняя картинку, импровизировали свои смешные прибаутки.

Конечно, гнусавил и Петрушка, выскакивая из-за пестрой ширмы, и я не мог оторвать глаз от его судорожных движений и ликовал, как и все кругом, когда он колотил своей дубинкой и полицейского и чорта и всегда сам воскресал невредимым. И сколько на каждом шагу было разных соблазнов! На лотках красовались пряники — «печатные», вяземские, белые мятные в виде разных забавных фигурок — человечков, всадников, рыб и зверей, были и расписные, с разводами, розовые и облепленные миндалем. Грудами лежали леденцы, закрученные спиралью или обернутые бумажкой с цветной бахромкой на концах, мои любимые сладкие черные турецкие стручки, сморщенные моченые груши. На других лотках были разложены рядами аппетитные жирные круглые пирожки, которых так мне и не удалось отведать (няня не позволяла — «а то заболит животик»).

Всякой невзыскательной снеди было великое изобилие — разные колбасы, студень, ситные пироги с грибами и печенкой, калачи, кренделя, баранки — и всё это тут же на морозе уничтожалось. Продавался горячий сбитень в медных чайни-

ках, обмотанных полотенцем, какое-то ядовито-желтое и ярко-красное питье в стеклянных кувшинах и дымились огромные пузатые самовары.

Маленьким я всегда приносил домой с балаганов какую-нибудь игрушку и обязательно красный воздушный шар, гроздья которых то тут, то там маячили над головами.

Больше всего толпилось народа возле балаганного Деда. Дед с привязанной мочальной бородой и с молодым розовым лицом, всегда охрипший от мороза и нескончаемой болтовни, сидел верхом на балюстраде балаганного балкончика и откальвал разные непристойности по адресу рядом с ним стоявшей молодецки подбоченившейся девицы в рейтузах, туго обтягивающих ляжки, гусарской куртке с бранденбургами и лихо надетой конфедератке. А то Дед намечал какую-нибудь жертву для глумы в толпе, обыкновенно выбирал рыжего, народ кругом гоготал и еще пуще подзадаривал Деда. Няня всегда старалась меня увести подальше, чтобы меня не задавили и чтобы я не наслушался гадких словечек.

**

Балаганы после масляницы стояли весь пост заколочеными. На Пасхе вновь оживали, но это было уже не то, — под снегом и на морозе всё было особенно веселым. Тут же веяло уже весной, на ветру пузырились полинявшие от дождя вывески. Горы уже не действовали, толпа шлепала по лужам, настроение бывало по прежнему праздничным, но всё было по другому. Именно масляничные балаганы в моем воспоминании и остались для меня окружеными незабываемой петербургской поэзией*).

Весенние балаганы в моих воспоминаниях как-то сливаются с соседним праздником, Вербой. Вербный торг помню

*.) Они уже доживали свой век. С Марсова поля балатаны были переведены на Пески, потом на Семеновский плац и затем совершенно заглохли . . .

еще у Гостиного Двора (на Конногвардейском бульваре они были позже).

Среди невообразимой толкотни и выкриков продавали пучки верб и вербных херувимов — их круглое восковое лицо с ротиком бантиком было наклеено на золотую или зеленую бумажку, вырезанную в виде крыльышек, продавали веселых «американских жителей», прыгающих в стеклянной трубочке, неизбежные воздушные шары и живых птичек (любители тут же отпускали на волю и птичек и шары), и было бесконечное количество всяких восточных лакомств, больше всего ракат-лукума, халвы и нуги. И опять же на вербном базаре, как и на балаганах, всегда покупались для меня игрушки, но главный приток их был на елку: Рождество было настоящий праздник игрушек. У гостиного Двора вырастал лес елок и тогда там тоже была толпа и давка. Дома у нас елка бывала до самого потолка и хвойный запах наполнял на несколько дней всю квартиру. Было такое удовольствие готовить с папой разные украшения. Мы золотили орехи, kleili корзиночки и цепи из цветной бумаги, которыми обматывались все ветки. И какая радость была зажечь нашу елку пороховой ниткой и глядеть, как по ней бежит огонек, зажигая каждую свечку!..

**

Весной самым большим удовольствием было поехать с папой в зоологический сад — «Зоологию». Едуши с ним на извозчике по Петербургской стороне и длинному Кронверкскому проспекту, я сгорал от нетерпения — казалось, не будет конца этой скучной деревянной стене сада с узорчатыми дырочками, вдоль которой мы так медленно тащились.

Сразу же при входе в сад меня оглушали своими скрипучими криками разноцветные попугаи, которые во множестве тут раскачивались на своих кольцах — я был уверен, что они здороваются со мной. И тут же, на первых же шагах, я надолго застревал около толстых змей, свернувшихся в кольца, мирно спавших в своем стеклянном киоске.

Отец терпеливо останавливался со мной перед каждой клеткой, пока я насмотрюсь досыта на всех зверей, зверюшек и птиц и вдоволь нахочусь в павильоне мартышек — и пока после долгого хождения и стояния у меня не начнет «болеть ножка». Тогда ему приходилось брать меня, пятилетнего, на руки и на руках у него я глядел на представление на открытой сцене, которое начиналось, когда уже спускались сырье сумерки и зажигались лампионы.

Я, не отрываясь, глядел на сцену — там восхищали меня и гимнасты, и «эксцентрики»-клоуны и особенно фокусники. Помню, показывался великан-китаец (на самом деле, говорили, что это был просто переодетый ярославский парень страшного роста), который поглощал яйца целиком со скорлупой и затем их изрыгал невредимыми на удивление всей публики. Представление шло под марши и вальсы морского оркестра — музыканты с георгиевскими ленточками на своих белых бескозырках сидели по обеим сторонам открытого театра, а под музыку издали доносились рыканье отходящего ко сну льва. Потом начиналась феерия, самое интересное, но, увы, запретное для меня зрелище — уже было совсем поздно, папа меня уносил и, к моему горю, я успевал, оглядываясь по дороге, увидеть лишь издали кусочек начала — какую-нибудь удивительную декорацию с пальмами, море и пристающий к берегу корабль или пещеру, освещенную бенгальским огнем.

Всегда, вызывая в памяти такой вечер, вспоминаю белую ночь, звон курантов Петропавловского Собора и в прозрачном зелено-бледном небе крылатый силуэт ангела на верху золотого шпиля.

Полусонного отец меня относил к извозчику, чтобы ехать домой «в кроватку».

**

Когда наступало первое тепло, не было дня с самого моего раннего детства, чтобы я не ходил играть в близкий сад Медицинской Академии. Этот старый тенистый сад скрывался

за академическим зданием с круглым куполом и колоннами, и был закрыт для посторонних. (Разрешение выхлопотал Ив. Петр. Павлов, будущий великий ученый, который тогда только что окончил Медицинскую Академию и был оставлен при ней. Он был наш свойственник; мой дядя Федя и он были женаты на родных сестрах, тете Асе и тете Саре).

Чтобы попасть в сад с Нижегородской улицы, надо было идти через узенький двор, замощенный булыжником и проходить под громадной пожарной лестницей, прислоненной к пустой стене (почему-то эта лестница особенно запомнилась) и так же, как и на нашем дворе, среди камней росла острия травка и появлялись желтые одуванчики.

В саду рядами стояли липы с толстеннейшими стволами и в аллеях, где всегда была тень, уютно пахло сыростью и прелым листом. В трещину коры одной из лип я однажды посадил моего оловянного солдатика и вспомнил о нем на другое лето, но найти его уже не мог — он куда-то ушел и мне, конечно, пришла на ум сказка Андерсена.

Был в саду и длинный пруд, покрытый плотной ярко зеленой «ряской», казалось, точно это зеленый пол, по которому соблазняло пройтись, и пугала легенда, что в этот пруд провалилась одна девочка. А в самой глубине сада за деревьями виднелся желтый флигель академической клиники, куда было опасно приближаться: там за решетками сидели какие-то страшные сумасшедшие, которые будто бы хватали из-за решетки неосторожных детей. Но это не мешало мне очень любить этот мой сад и всю жизнь он с очарованием вспоминался (я случайно очутился в этом месте в 1915 году, сад мне показался только меньше, но разросся еще гуще, пруд исчез, а горка, на которой я играл, оказалась крошечным горбиком; я зарисовал тогда с любовью старую липовую аллею) ...

Когда в конце мая проходил ладожский лед, кончались обычные в Петербурге майские холода и начиналось настоящее лето, мы с няней уезжали в Новгород к дедушке и бабушке, родителям моей мамы. На три месяца каждый год я прощал-

ся с Петербургом и попадал совсем в иной мир, тоже мне милый и уютный, какой была и моя маленькая жизнь в Петербурге.

Такова была идиллия моего петербургского детства.

В ранней юности, когда наступила моя первая и долгая разлука с Петербургом (гимназия в провинции), у меня всё время длилась томительная тоска по нем — настоящая ностальгия, и я мечтал о жизни в Петербурге, как о счастье, и если туда попадал ненадолго — это был истинный праздник. Моя длительная тяга в «кобетованную землю» была совершенно романтическим чувством и, конечно, имела большое значение в моем духовном росте . . .

Когда я, наконец, «дорвался» до Петербурга, пришли, увы, будни, так называемая «проза жизни» и неизбежный «разъедающий анализ». И мое чувство к Петербургу совершенно неожиданно стало меняться. Порой город меня до крайности угнетал, иногда же, когда пошлость, казалось, как бы выполняла из всех щелей, я его ненавидел и даже переставал замечать его красоту.

Вероятно через это надо было пройти, иначе мое чувство к Петербургу, вернее сказать любовь, была бы неполной. И, конечно, только глядя на окружающее глазами художника можно было избавиться от гнета обывательских впечатлений и их преодолеть.

Красоты Петербурга, его стройный и строгий вид и державное течение Невы — всё это были мои первые, непосредственные и пассивные впечатления детства, которые и остались родными на всю жизнь, но как художник, «активно», я воспринял Петербург гораздо позже, уже зрелым. Этому помогла новая и длительная разлука. После двухлетней безвыездной жизни и учения за-границей — по возвращении в Петербург он вдруг мне показался совсем в ином свете. Я его немного «забыл» и тут, по сравнению со всем виденным в Европе, я стал смотреть на него как бы новыми глазами и

только тогда я впервые понял всё величие и гармонию его замечательной архитектуры, всё необычайное своеобразие этого города.

Это мое «прозрение» совпало с возникшим тогда на моих глазах культом Старого Петербурга, и я с великим увлечением вместе с моими новыми друзьями-художниками по «Миру Искусства» и многими архитекторами принял с самого начала в этом движении очень большое участие.

Но не только эта единственная красота Петербурга стала открываться моим глазам — может быть еще более меня уколола изнанка города, его «недра» — своей совсем особенной безысходной печалью, скромой, но крайне своеобразной живописной гаммой и суровой четкостью линий. Эти спящие каналы, бесконечные заборы, глухие задние стены домов, кирпичные брандмауеры без окон, склады черных дров, пустыри, темные колодцы дворов — всё поражало меня своими в высшей степени острыми и даже жуткими чертами. Всё казалось небывало оригинальным и только тут и существующим, полным горькой поэзии и тайны. Я теперь впервые видел на яву всё, что так меня смутно волновало в юности в романах Достоевского...

Вглядываясь в Петербург, я всё больше чувствовал, что он всем своим обликом, со всеми контрастами курьезного и трагического, уютного и величественного, — действительно «единственный и самый фантастический город в мире»...

Но если говорить и объективно — это уже был далеко не тот Петербург, который я знал в детстве (вернее, каким он мне казался) — его облик и жизнь очень менялись. Но всё еще продолжало существовать прежнее сочетание «барского» и «простонародного» — тот удивительный симбиоз «С. Петербурга» и «Питера», который в детстве казался таким естественным, мирным и почти идеальным.

1905-ый год провел резкую черту, и после 9 января невозможно было бы представить себе, например, чтобы могли продолжать существовать балаганы с их прежним добродушием и народным наивным весельем. Всё же до самой войны

1914 года, если не до революции, дожили разные петербургские типы, знакомые мне еще с детства, и еще держались по привычке многие милые черты петербургского быта, который, впрочем, уже сам себя изживал...

С революцией 1917 года Петербург кончился, ибо все было беспощадно нивелировано во имя известных высоких идей, и остатки прежнего быта, заклейменного позорной кличкой «буржуазного», были окончательно и бесповоротно искоренены. Я пережил в Петербурге все революционные годы. На моих глазах город умирал, смертью необычайной красоты, и я постарался, перед тем как его покинуть навсегда, посильнно запечатлеть его страшный, безлюдный и израненный облик. Это был эпилог всей его жизни — он превращался в другой гальванизированный город «Ленинград», уже с совершенно другими людьми и совсем иной жизнью, обреченною на неизбежную серость.

М. Добужинский

ВАРИАЦИИ

Не выбраться, не вырваться, не вылезть,
А оставаться тоже, ведь, нельзя.
Не сдаться же противнику на милость,
Иль скрыться, ничего с собой не взяв?

А, впрочем, можно. Будет дорог выкуп,
И будет трудно совесть заглушить,
И будет трудно не расслышать крика,
Раздутого акустикой души.

2.

А, впрочем, нет. Где вход, всегда есть выход,
И там, где смерть, всегда надежда есть,
И вдоль дороги есть скамья, где тихо
И незаметно можно будет сесть,

И отдохнуть, и с мыслями собраться,
Поговорить наедине с собой
И доиграть одну из вариаций
На скрипке жизни с лопнувшей струной.

3.

Концы сошлись. Круг скоро будет сомкнут,
И пустота всколышется едва,
И чей-то голос медленно, негромко
Произнесет прощальные слова.

Но оборвется речь на полуслове,
И в паузу ворвется, вместо слов,
То, что порою мы зовем любовью,
Что, может быть, действительно — любовь.

4.

А, впрочем, нет. Мне оставаться не с кем,
Игра бездарна и не стоит свеч.
Потушим свет одним движеньем резким,
Хоть сроку не пора еще истечь.

Таков закон разлуки и погони:
Умчался поезд, скрылся за гудком,
Но кто-то остается на перроне
И машет безнадежности платком.

М. Железнов.

ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ

По осеннему воздух чист.
Пала изморозь и не тает.
Обрывается желтый лист,
Обрывается и слетает.

Но не может понять он вдруг,
Не в бреду ли ему приснилось:
Почему это всё вокруг
Покачнулось и закружилось?

Кувыркаются облака,
Опрокинулось поднебесье,
И такая во всем тоска
Об утраченном равновесье!

СЛОВА СЧАСТЬЯ

Кто хоть раз счастливым был, припомни,
 Как для чувства этого сперва
 Мы слова все ищем поогромней,
 А потом — поласковей слова.

«Счастье — это теплое такое,
 Что-то вроде летнего дождя» . . .
 Так искали слова мы с тобою,
 Сидя над вечернею рекою,
 И умолкли, слова не найдя.

Не спеша, костра ночного пламя
 Ярко разгоралось вдалеке,
 И мерцали звезды перед нами,
 Как кувшинки, плавая в реке.

А когда задорно и уныло
 Первые пропели петухи,
 Ты сказала: «Вот и счастье, милый!»
 И, понизив голос, попросила:
 «Почитай печальные стихи».

Николай Моршен.

* * *

В дупле оливы жили пчелы,
 С жужжаньем радостным взлетали
 Навстречу солнцу . . . В час печали
 Припомни гомон их веселый,

Тельца янтарно-золотые,
Как бы пронизанные медом,
И дрока заросли густые,
И кипариса два у входа

В усадьбу: пышный и высокий
Над маленьkim и робким другом
Склонялся с нежностью глубокой,
Как ты над слабою подругой.

**

Есть в этой жизни раздeленной
С другим такая полнота
И мир такой невозмущенный,
Что пестрой жизни суeta

Не трогает . . . Но каждый рядом
И вместе день наш прожитой —
Уже ответ, уже награда,
Век обретенный золотой.

Душа, ты помнишь Пенелопы
Извечный, радостный обет? —
Всё тот же он во дни потопа,
В час торжества, в годину бед.

**

Вечер. Отдыха просит земля.
Загораются звезды над садом,
Отшумели за день тополя,
Отцветает шиповник ограды.

Хорошо, что не надо спешить
 И кичиться земными трудами,
 Чтоб таких же как ты удивить
 Своей жизни ничтожной плодами.

Этот воздух и этот простор . . .
 Ни о чем бы не думать, не слышать
 Ничего. Пусть покоится взор,
 Пусть лишь грудь твоя медленно дышит.

Екатерина Таубер.

НЕСЛЫШНАЯ ПЕСНЯ

Умирая поют небесам
 Покидающие эту землю.
 Я еще не пою, только внемлю,
 Как другие поют небесам.

Но живущие тоже поют
 О цветах, о любви, об отчизне.
 Я люблю слушать песни о жизни,
 Что живущие громко поют.

Я живу между жизнью и смертью,
 Оттого я, наверно, молчу,
 Оттого я и петь не хочу,
 Что живу между жизнью и смертью.

Михаил Чехонин.

ЛЕТО

Оно пришло, она настало лето,
И старый город в солнечном венце,
И девочка, по летнему одета,
Играет и смеется на крыльце.
На медных ручках радужные блестки,
Твердят колеса радостную быль.
Какую песню спел на перекрестке
Сквозь солнечную пыль автомобиль?
И эту песню дальнюю услыша,
Бормочут тихо голуби на крыше
О том, что лето будет без конца,
И светятся под говор голубиний
Бегонии в витрине магазина,
Как маленькие красные сердца.

АНТИКВАР

Зимний день над крышей изнемог,
Восемь бьет на колокольне гулкой.
Антиквар в далеком переулке
Запирает лавку на замок.
Он ушел. Он ничего не знает.
А под сводом пыльной темноты
На подушке старой рассцветают
Шерстяные бледные цветы.
И благоухают в нафталине,
Всё нежней и радостней их цвет.
В золоченой раме на картине
Акварельный ширится рассвет.

А на кубке, пыльной мглой покрытом,
В алом поле, горделив и строг,
Гулко бьет эмалевым копытом
Геральдический единорог.
Неспокоен старый конь — не спится —
Помнит он бои других времен.
И встает над вражеской столицей
Солнце императорских знамен.
Бьет копытом конь и горячится . . .
И когда на землю ночь легла,
В темной лавке позабытой славы
Осенил его орел двуглавый
Черной тенью мертвого крыла.

Елизавета Шувалова.

О ПРОЗЕ ПУШКИНА

Когда Соловьев в своей знаменитой статье «Значение поэзии в стихотворениях Пушкина», сравнивал Пушкина с Байроном и Мицкевичем и указывал на то, что «с известных сторон можно предпочтить» последних двух первому, так как «Байрон и Мицкевич были значительнее его» — «Байрон превосходил Пушкина напряженной силой своего самочувствия и самоутверждения... Мицкевич был больше Пушкина глубиною своего религиозного чувства, серьезностью своих нравственных требований от личной и народной жизни, высотою своих мистических помыслов, и главное — своим всегдашим стремлением покорять все личное и житейское тому, что он сознавал, как безусловно должное...», — он этим сравнением поддерживал свой основной взгляд на Пушкина, а именно, что «Пушкин остается поэтом по преимуществу, более беспримесным, чем все прочие, — выразителем чистой поэзии». Качества Байрона и Мицкевича, говорил Соловьев, «были такие их свойства, которые проявились бы так или иначе и в том случае, если бы эти два могучие человека не написали ни одной поэтической строки». «А так как они были при том Божиего милостью и гениальные поэты, то господствующие стороны их личности, сверх своего общего значения, естественно нашли себе выражение и в их поэзии...» Но «Байрон и Мицкевич от себя привносили такое содержание, которое при всей своей значительности не было, однако, существенно для поэзии, как таковой...» «У Пушкина такого господствующего центрального содержания личности никогда не было, а была просто живая, открытая, необыкновенно восприимчивая и отзывчивая ко всему душа — и больше ничего. Единственно крупное и важное, что он знал за собою, был его творческий дар; ясно, что он ничего обще-значительного не мог от себя внести в поэзию, которая и оставалась у него чистой поэзией, получившей свое содержание не извне, а из себя самой»¹). Как всегда, Соловьев блестяще и точно формулировал свой взгляд на поэзию вообще и на

1) В. С. Соловьев, «Собр. Соч.», т. IX стр. 296-298.

поэзию Пушкина в частности. Обще-эстетические положения Соловьева предвосхищают не только формалистов, но также известную работу аббата Bremond'a «De la poésie pure». Что же касается замечаний, высказанных о Пушкине, то они в некоторой мере развивают сказанное до Соловьева Чернышевским.

Вот, что в 1855 году писал Чернышевский: «... Самое важное то, что Пушкин был по преимуществу поэт формы. Этим не хотим мы сказать, что существенное значение его в истории русской поэзии — обработка стиха; в такой мысли отзывался бы слишком узкий взгляд на значение поэзии в обществе. Но действительно, существеннейшее значение произведений Пушкина — то, что они прекрасны или, как любят ныне выражаться, художественны. Пушкин не был поэтом какого-нибудь определенного воззрения на жизнь, как Байрон, не был даже поэтом мысли вообще, как например, Гете и Шиллер. Художественная форма «Фауста», «Валленштейна», «Чайльд Гарольда» возникла для того, чтобы в ней выразилось глубокое воззрение на жизнь; в произведениях Пушкина мы не найдем этого. У него художественность составляет не одну оболочку, а зерно и оболочку вместе²⁾). Не менее характерны и последующие замечания Чернышевского о Пушкине, как «историческом поэте»: «... Но и здесь Пушкин остался верен самому себе: он не высказал ничего, принадлежащего ему; взгляд его на исторические характеры и явления был не более, как отражение обыкновенных понятий, какие были повторямы всеми в то время, повторямы без особой охоты, потому что имели чрезвычайно мало содержания... Вообще исторические произведения Пушкина сильны общую психологическою верностью характеров, но не тем, чтобы Пушкин прозревал в изображаемых событиях глубокий внутренний интерес их...»³⁾). Чернышевский и Соловьев вероятно по своему правы. Действительно, чисто эстетическая стихия в Пушкине является пафосом его литературного творчества, в этом не может быть никаких сомнений. Однако, эта черта творчества Пушкина

²⁾ Цитирую по книге «Русские писатели XIX века о Пушкине», Ред. А. С. Долинина, Гос. Изд. 1938, стр. 250-251. Замечу кстати, что Соловьев говорит: «Не тревожа колоссальных теней Гомера и Данте, Шекспира и Гете — можно предложить Пушкину и Байрону и Мицкевичу». Как видим, он действительно очень близко подошел к Чернышевскому.

³⁾ Там же, стр. 251.

николько не умалила огромного идеологического значения поэзии Пушкина в жизни русского общества и в дальнейшем развитии русской литературы.

Нужно-ли напоминать о том, что Онегин стал классическим родоначальником «лишнего человека» в русском романе, а может быть и в русской жизни, что с Татьяны начинается галлерея женщин, созданных Тургеневым и Гончаровым, что из поэтических намеков Пушкина выросла у Достоевского проблема самозванства, что пушкинская «противопольская лирическая трилогия» определила направление русской политической мысли до нынешнего времени, что пушкинская поэтическая интерпретация Петербурга, правда, связанная с Мицкевичем и Гоголем, на долгие десятилетия завладела воображением русских поэтов и писателей? И это, конечно, далеко не всё; примеров можно привести бесконечное множество.

Однако, вопрос о прозе Пушкина всё еще стоит как бы особо и, несмотря на большое количество работ, появившихся за последние три десятилетия, всё еще продолжает держаться некое сомнение относительно настоящей роли, которую «Повести Белкина», «Капитанская дочка» и другие повести Пушкина сыграли в развитии русской литературы вообще и русского романа в частности.

Правда, это сомнение существует главным образом в широких кругах русских читателей; однако, даже и среди русских литератороведов можно встретить разные, а иногда и противоречивые точки зрения, не говоря уже о том, что до сих пор не появилась работа, которая бы подвела общие итоги тому, что достигнуто исследователями в этой области.

**

Я естественно не могу в данном случае входить в подробности, поэтому мне придется остановиться только на самом существенном. Вопрос о роли Пушкина, как поэта не требует пояснений — Пушкин прежде всего завершитель русской поэзии XVIII века и вместе с тем, в широком смысле слова, синтез русской национальной и западно-европейской культурной традиции. Как таковой, он и стал источником вдохновения для последующих поколений русских писателей и поэтов. Пушкин не возник из пустоты — русская поэзия XVIII столетия нашла в нем свое окончательное выражение. И именно благодаря этому, благодаря тому, что Пушкин был не только конечным,

но и самым изысканным, блестящим и полным выражением этой традиции, он стал одновременно и родоначальником русской литературы XIX века.

В этом смысле все всегда были согласны, но были согласны, главным образом, на почве пушкинской поэзии. С прозой дело обстоит иначе. В этой области Пушкин оказался гораздо более намеренным и энергичным новатором, чем продолжателем по той простой причине, что продолжать тут было нечего или почти нечего. Но как раз этого его современники не поняли.

Из русских предшественников Пушкина в области прозы можно назвать собственно только двух, как заслуживающих внимания: Радищева и Карамзина. Но Радищев не был романистом, а Карамзину пришлось сделать действительно первые шаги в области русской повествовательной прозы — это его в известной мере ограничило. (Болотов и Фон-Визин должны быть тоже упомянуты, но они требуют особых комментариев).

Нисколько не желая умалять значения ни «Писем русского путешественника» и их роли в выработке русского культурного языка, ни повестей Карамзина, приходится, однако, сказать, что требования времени шли, и быстро шли, гораздо дальше; русская литература нуждалась не только в широкой разработке литературного прозаического словаря и стиля, но также и в организации техники короткого рассказа, а еще более большого романа, не говоря уж об идеином содержании прозаических произведений. (За недостатком места я не могу входить в анализ роли романов авторов — современников Пушкина, как Нарежный, Марлинский, Булгарин, Сенковский, Вельтман, Загоскин, Лажечников, Вонлярлярский и др. — они примитивно, так сказать, отвечали требованиям дня, но большого влияния на последующее развитие русского романа не оказали).

Если русская поэзия конца XVIII и начала XIX века могла думать о соревновании с Западом, то русская проза о таком соревновании думать не имела права⁴).

⁴⁾ Чтобы показать на каком уровне находилась русская проза до Пушкина и как неуклюж был русский роман этого времени, достаточно привести следующий пример:

«Расшнуровывая верхнее ее платье, коснулся я трепещущую и грешною мою рукою до услаждения нашей жизни, что у женщин обе вообще называется грудью и тут узнал, действительно, что жен-

На отсутствие русской прозы жаловались многие современники Пушкина — Вяземский, Марлинский, Катенин, Сенковский, В. Ф. Одоевский, жаловался прежде всего сам Пушкин. Не только жаловался, но одновременно ставил определенные требования, очень точно их формулируя. Пожалуй, первое заявление Пушкина, касающееся прозы, является и самым характерным и важным: «Д'Аламбер сказал однажды Лагарпу: не выхваляйте мне Бюфона, (этот человек) пишет: 'Благороднейшее изо всех приобретений человека было сие животное, гордое, пылкое и проч.' Зачем просто не сказать — 'лошадь'? Лагарп удивляется сухому рассуждению философа. Но д'Аламбер был очень умный человек — и, признаюсь, я почти согласен с его мнением. Замечу мимоходом, что дело шло о Бюфоне — великому живописце природы. Слог его цветущий, полный, всегда будет образцом описательной прозы. Но что сказать о наших писателях, которые, почитая за низость изъяснять просто вещи самые обыкновенные, думают оживить детскую прозу дополнениями и вялыми метафорами. Эти люди никогда не скажут д *р* *у* *ж* *б* *а*, не прибавя: 'сие священное чувство, коего благородный пламень, и проч.' — Должно бы сказать рано поутру, — а они пишут: 'едва первые лучи восходящего солнца озарили восточные края лазурного неба'. Как это всё ново и свежо, разве оно лучше потому только, что длиннее... Вольтер может почитаться лучшим образцом благоразумного слога. — Он осмеял в своем «Микромегасе» изысканность тонких выражений Фонтенеля, который никогда не мог ему этого простить. Точность и краткость — вот первые достоинства прозы. Она требует мыслей и мыслей — без них блестящие выражения ни к чему не служат; стихи дело другое (впрочем в них не мешало бы нашим поэтам иметь сумму идей гораздо позначительнее, чем у них обыкновенно водится. С воспоминаниями о протекшей юности, литература наша далеко вперед не подвинется).

Вопрос: чья проза лучшая в нашей литературе. — Ответ: Ка *р* *а* *м* *з* *и* *н* *а*. Это еще похвала не большая...»⁵).

Эти замечания — чрезвычайно ценные и характерные — относятся к 1822 году. В 1823 году Пушкин прибавил к Ка-

щины для мужчин — электрическая машина». Это писал М. Чулков, известный русский романист XVIII века. См. В. В. Сиповский, «Очерки из истории русского романа», СПБ., 1909 т. I, стр. 611.

⁵) Цитирую по книге «Пушкин о литературе», Academia, Москва-Ленинград, 1934, стр. 15-17.

рамзину кн. П. А. Вяземского, как достойного похвалы про-заика, сказав в своем письме к нему: «... да, ради Христа, прозу-то не забывай; ты да Карамзин одни владеют ею — Глинка владеет языком чувств...»⁶). А это, как мы уже знаем, недостаточно — «проза требует мыслей и мыслей». Этому завету Пушкин остался верен и в 1824 году, когда жаловался на отсутствие «метафизического языка» в России его времении: «Просвещение века, — писал он, — требует важных предметов размышления для пищи умов, которые уже не могут довольствоваться блестящими играми воображения и гармонии, но ученость, политика и философия еще по-русски не изъяснялись»⁷). И далее он говорит о том, что «даже в простой переписке мы принуждены создавать обороты слов для изъяснения понятий самых обыкновенных»⁸). Он текстуально повторяет то же самое в 1825 году⁹).

В 1827 году, похвалив Вяземского за «живость» его прозы, Пушкин снова возвращается к теме о «мыслях»: «Он (Вяземский) обладает редкой способностью оригинально выражать мысли — к счастью он мыслит, что довольно редко между... ибо должно стараться иметь большинство голосов на своей стороне. Уважайте глупцов»¹⁰).

В том же 1827 году он делает еще одно очень важное и характерное для него замечание: «У нас употребляют прозу, как стихотворство: не из необходимости житейской, не для выражения нужной мысли, а токмо для приятного проявления формы»¹¹).

В 1828 году, всё еще настаивая на своем принципе «мысли», возвращаясь к теме «простоты», он выдвигает новую тему — «свежих вымыслов народных» и «странных просторечий» — это черта всякой «зрелой словесности»¹²). «Произведения английских поэтов, — говорит он — ... исполнены глубоких чувств и поэтических мыслей, выраженных языком честного простолюдина. У нас это время, слава Богу, еще не приспело, так называемый язык богов так еще для нас иов, что мы называем поэтом всякого, кто может написать десяток

⁶) Ib. стр. 29.

⁷) Ib. стр. 40.

⁸) Ib.

⁹) Ib. стр. 60.

¹⁰) Ib. стр. 110.

¹¹) Ib. стр. 111.

¹²) Ib. стр. 152.

ямбических стихов с рифмами. Прелесть нагой простоты так еще для нас непонятна, что даже и в прозе мы гоняемся за обветшальными украшениями . . . Мы не только еще не подумали приблизить поэтический слог к благородной простоте, но и прозе стараемся придать напыщенность»¹³).

К этому времени относятся и первые опыты Пушкина в области художественной прозы; в два-три года после «Арапа Петра Великого» появились «Повести Белкина», «История села Горюхина», а затем «Дубровский», «Пиковая дама», «Египетские ночи» и «Капитанская дочка». Пушкин во второй половине своей краткой жизни явно всё более и более склонялся к прозе, которую он попеременно называл то «смиренной», то «презренной», то «суворой».

Как же выполнил он свою программу, как встретили русские литературные и читательские круги прозу Пушкина и каково было влияние этой прозы в России, каковы отклики на неё в Западной Европе?

Оставим пока первый вопрос без ответа, начнем со второго.

Очень немногие современники Пушкина сразу оценили его достижения. Но даже те, кто отнесся положительно к его прозаическим произведениям, приняли их с оговорками и уловили в них только часть достижений поэта.

Сенковский, несомненно умный и высокообразованный человек, сразу понял значение социально-культурной окраски языка пушкинской прозы: он искал и ждал «языка хорошего общества». «Если хотите, — писал он в своем французском письме Пушкину, — у нас вовсе еще не существует настоящего русского языка хорошего общества, так как наши дамы по-русски говорят только с своей прислугой; но язык этот нужно создать, создать его и заставить этих самых наших дам усвоить его. Эта честь (для меня это очевидно) осталась на долю вам, вам одному, вашему вкусу, вашему изумительному таланту»¹⁴). Сенковский видел в прозе Пушкина «обще-русский» язык, созданный именно Пушкиным — Сенковский нашел его в «Пиковой даме». «Язык ваших стихов, — писал он, — равнозначимый всеми классами и всем одинаково нравящийся, этот язык вы перенесли и в вашу прозу»¹⁵). Нельзя не удивиться, что заме-

13) Иб. стр. 153.

14) См. «Русские писатели XIX века о Пушкине», Ленинград, 1938, стр. 143-4.

15) Он называет «Пиковую даму» «прелестью», прибавляя: «Вы

тить это пришлось поляку. Однако, Сенковский остановился только на этом, только создание «обще-русского» языка его поразило. Во всяком случае он только об этом пишет Пушкину, подчеркивая, однако, что Пушкин «начинает совсем новую прозу». Замечания Сенковского верны и ценные. Вяземский, значительно позднее, уже после смерти Пушкина, в 1847 году, восхищаясь историческим чутьем Пушкина и стройностью его изложения (в «Арапе» и «Капитанской дочке») писал: «Рассказ везде живой, но обдуманный и спокойный, может быть, слишком спокойный. Сдается, что Пушкин будто сторожил себя; наложенную на себя трезвостью, он будто силился отклонить от себя и малейшее подозрение в употреблении поэтического напитка. Прозаик крепко на крепко запер себя в прозе так, чтобы поэт не мог и заглянуть к нему...¹⁶». Вяземский подчеркивает нелюбовь Пушкина «бить на эффект» и добавляет, что Пушкин «может быть доводил это правило почти до педантизма»¹⁷). Кроме того, Вяземский считает наиболее характерными чертами Пушкина — «ясность, проницательность и трезвость»¹⁸). Пушкин-историк находит у Вяземского тоже очень меткую характеристику: «Он не историю воплощал бы в себя и в свою современность, а себя перенес бы в историю и в минувшее... Истории pragmatической, истории политической, учебной истории здесь (в «Арапе») нет. Здесь мимоходом только, так сказать, случайные прикосновения. Но сколько нравственной, художественной истины в этих прикосновениях...»¹⁹.

Не Сенковский и не Вяземский, однако, решили судьбу пушкинской прозы среди современников поэта. Эту судьбу на долгие годы определили Белинский и Чернышевский. Достаточно привести только несколько отзывов обоих критиков, чтобы вся глубина создавшегося недоразумения стала очевидна.

Белинский, отнесвшись грубо-отрицательно к «Повестям Белкина» в своем первом о них отзыве, сохранил эту неблагодарительность до конца своих дней, а даже еще более сурово,

создаете нечто новое, вы начинаете новую эпоху в литературе, которую вы уже украсили в другой отрасли». Ib., стр. 144.

¹⁶) «Русские писатели XIX века о Пушкине», стр. 38-39.

¹⁷) Ib. стр. 37.

¹⁸) Ib. стр. 35.

¹⁹) Ib. стр. 35 и 37.

хотя без грубости своего первого о них отзыва, осудил их в своей знаменитой статье 1846 года.

Вот, что писал Белинский в «Молве» 1835 года: «... Воля ваша, а весна самое лучшее время года. Хорошо еще, если осень плодородна и обильна²⁰), если она озарена последними прощальными лучами великолепного солнца; но что, когда она бесплодна, грязна и туманна. А ведь это так часто случается. Вот, передо мною лежат «Повести», изданные Пушкиным: неужели Пушкин *кже* и написанные?.. Правда, эти повести занимательны, их нельзя читать без удовольствия; это происходит от прелестного слога, от искусства рассказывать (*conter*); но они не художественные создания, а просто сказки и побасенки; их с удовольствием и даже с наслаждением прочтет семья, собравшаяся в скучный и длинный зимний вечер у камина; но от них не закипит кровь пылкого юноши, не засверкают очи его огнем восторга; но они не будут тревожить его сна — нет — после них можно задать лихую высыпку. Будь эти повести первое произведение какого-нибудь юноши — этот юноша обратил бы на себя внимание нашей публики; но как произведение Пушкина... осень, осень, холодная, дождливая осень, после прекрасной, роскошной благоуханной весны... Будь поставлено на заглавии этой книги имя г. Булгарина, и я был бы готов подумать: уж и в самом деле Фаддей Венедикович не гений ли? Но Пушкин — воля ваша, грустно и подумать»²¹). «Пиковую даму» Белинский счел «препроправленной» и признал достойным Пушкина только «Выстрел»²²).

А вот отзыв о пушкинской прозе, который находится в статье 1846 года: похвалив «Арапа», сказав, что в сравнении с ним повести Кукольника «бедны и жалки», заявив, что, однако, «не большая часть быть выше пигмеев, — а больше его («Арапа») у нас не с кем сравнивать», Белинский переходит к «Повестям Белкина» и другим прозаическим произведениям Пушкина и тут же заявляет, что «Повести» были «холодно приняты публикою и еще холоднее журналами», что «хотя и нельзя сказать, чтобы в них уже вовсе не было ничего

²⁰) Известно, что «Повести Белкина» написаны в Болдине, осенью 1830 года — мы называем теперь эту осень «золотой пушкинской осенью».

²¹) В. Г. Белинский, «Полн. собр. соч.» под ред. С. А. Венгерова; т. II, С.-Петербург, 1900, стр. 60.

²²) Ib. стр. 60-61.

хорошего, всё-таки эти повести были недостойны ни таланта, ни имени Пушкина». «Это что-то вроде повестей Карамзина — писал Белинский, — с тою только разницей, что повести Карамзина имели для своего времени великое значение, а «Повести Белкина» были ниже своего времени. Особенно жалка из них одна — «Барышня крестьянка», неправдоподобная, водевильная, представляющая помещичью жизнь с идилической точки зрения... «Пиковая дама» — собственно не повесть, а мастерской рассказ... Собственно, это не повесть, а анекдот: для повести содержание «Пиковой дамы» слишком исключительно и случайно...»²³.

Несколько благосклоннее отнесся Белинский к «Капитанской дочке» и к «Дубровскому», но всё же с резкими оговорками: «ничтожный, бесцветный характер героя повести и его возлюбленной Марии Ивановны и мелодраматический характер Швабрина принадлежат к резким недостаткам повести», которую Белинский впрочем всё же согласился признать «одним из замечательнейших произведений русской литературы». В своем отзыве о «Дубровском» Белинский снова выдвинул «мелодраматичность» характера героя, уверяя, что герой «не возбуждает к себе участья»²⁴.

Я вернусь к этим «не выдержавшим критики» критическим замечаниям Белинского. Но до этого следует остановиться на Чернышевском, который не менее отрицательно оценил прозу Пушкина.

Уже в самом начале своей классической работы «Очерки гоголевского периода русской литературы» Чернышевский утверждает, что «Гоголь был отцом русской прозы, и не только был отцом ее, но быстро доставил ей решительный перевес над поэзией... Он не имел ни предшественников, ни помощников в этом деле. Ему одному проза обязана и своим существованием, и всячими своими успехами. Как не имел он предшественников или помощников? Разве можно забывать о прозаических произведениях Пушкина? — Нельзя, но, во-первых, они далеко не имеют того значения в истории литературы, как его сочинения, писанные стихами; «Капитанская дочка» и «Дубровский» — повести в полном смысле слова превосходные; но укажите, в чем отразилось их влияние? Где

²³⁾ В. Г. Белинский. «Избранные сочинения», ОГИЗ, Москва, 1947, стр. 523.

²⁴⁾ Ib.

школа писателей, которых было бы можно назвать последователями Пушкина как прозаика?»²⁵).

Продолжая свои рассуждения о значении «влияния» Гоголя, Чернышевский указывает на факт (неверный м. пр.), что «Гоголь явился прежде Пушкина как прозаика». «Первыми из прозаических произведений Пушкина (если не считать незначительных отрывков), — продолжает Чернышевский, — были напечатаны «Повести Белкина» — в 1831 году; но все согласятся, что эти повести не имели большого художественного достоинства. Затем, до 1836 года, была напечатана только «Пиковая дама» (в 1834 году) — никто не сомневается в том, что эта небольшая пьеса написана прекрасно, но также никто не припишет ей особенной важности»²⁶).

Как легко видеть, Чернышевский во многом сошелся с Белинским; во всяком случае Пушкин, как возможный фактор действенного влияния на дальнейшее развитие русской прозы был исключен. Такая оценка прозы Пушкина, высказанная столь авторитетными русскими критиками, не могла не оказать влияния на литературные ориентации того времени. Гоголь на долгие годы остался признанным «отцом русской прозы».

И Белинский и Чернышевский были, конечно, не правы; они не только проглядели художественные достоинства прозы Пушкина (их слабые, вынужденные похвалы дела не меняют), но оказались весьма недальновидкими и в другом отношении: они ошиблись в оценке значения Пушкина для русского романа его времени и совершенно не предугадали возможности позднейшего влияния Пушкина на русскую прозу, в лице как раз ее самых значительных представителей. За недостатком места я не могу входить в рассмотрение причин вызвавших эту отрицательную оценку. Скажу одно — она не была случайной — она оставалась в связи с «общественными» требованиями, которые и Белинский и Чернышевский предъявляли литературе, с их увлечением сатирической стихией и, наконец, с их весьма односторонней, неверной интерпретацией творчества Гоголя.

Но не в этом дело. Дело в том, что, как я уже заметил, авторитетные формулировки Белинского и Чернышевского не прошли без следа. Пушкину-прозаику пришлось долго ждать

²⁵) Н. Г. Чернышевский, «Полное собр. соч.», ОГИЗ. Москва, 1947 г. т. III, стр. 16.

²⁶) Тв. стр. 16-17.

переоценки — в России. Не могу заниматься вопросом, когда и почему она наступила.

**
*

Теперь моей задачей является просто выяснить, как мы нынче смотрим на прозу Пушкина и в общих чертах наметить границы ее влияния на русских писателей второй половины XIX века.

Прежде всего следует подчеркнуть разнообразие пушкинских жанров: исторический роман («Арап Петра Великого» и «Капитанская дочка»); психологическая новелла («Пиковая дама», «Египетские ночи» и «Выстрел»); бытовой и авантюрный роман-новелла («Дубровский»); бытовой гротеск («Гробовщик»); сатирический бытовой очерк («История села Горюхина»); литературная шуточная пародия в форме повествовательного водевиля («Барышня крестьянка»); игривая сказка («Метель»); игриво-сентиментальная повесть («Станционный смотритель»); биографический очерк («Кирджали»); путевые записки-репортаж («Путешествие в Арзрум»). Затем — разнообразие тем и сюжетов, тонкая игра с литературной традицией и литературными клише; игра, так сказать, двойная — по линии пародии сюжета и клише, и по линии усовершенствования традиционных ситуаций и приемов. Ограничусь только несколькими примерами.

В «Барышне крестьянке» Пушкин дает пародийную игру, облаченную в тонкую иронию, с несколькими старыми сюжетами одновременно: шекспировско-вальтерскоттовская тема влюбленных, принадлежащих к враждующим семьям; западноевропейский (Mme. Montolieu и A. Lafontaine) и карамзинский («Бедная Лиза» и «Наталья боярская дочь») мотив любви аристократа к крестьянке; сюжет тайного брака (об этом писали М. Н. Сперанский, Эйхенбаум, Якубович, Томашевский, Виноградов и др.). Кроме того, Пушкин щутливо разоблачает тип байрониста при помощи параллельных его появлений — перед «барышней» и перед «крестьянкой». Разоблачению байрониста соответствует разоблачение сентиментальной «уездной барышни». В качестве pendant к этому «духовному» маскараду введен в рассказ водевильный (*Beaumarchais* и особенно *Marivaux*) мотив переодевания.

Равным образом не следует забывать присутствия игры со стариным клише узнавания (появляющимся между прочим также и в «Метели» — об этом ниже). Это еще не все — Пушкин усложняет всю свою игру тем, что и без прямых

намеков связь с «Евгением Онегиным» налицо — Пушкин точно сам себя пародирует. Значительную роль играют намеки на других авторов (Nodier, Карамзина) и, наконец, эпиграф из Богдановича, очень тонко разъясняющий функцию двойной роли героини не только в рассказе, как в целом, но и по отношению к герою. (Роль эпиграфов во всех «Повестях Белкина» блестяще выяснил В. Виноградов²⁷) — особенно эффектна функция эпиграфов в «Метели», «Гробовщике» и «Станционном смотрителе», к этому мне еще придется вернуться). В «Станционном смотрителе» — игра с сюжетом «Бедной Лизы» является главным содержанием рассказа. Иронический намек предвосхищающий неожиданную счастливую развязку похождений соблазненной «богатым гусаром» «бедной девушки» — «блудной овечки» скрыт в картинках, изображающих историю блудного сына. (Это очень удачно доказал М. О. Гершензон²⁸). «Блудная овечка» стала «богатой барыней», а станционный смотритель пал жертвой не столько происшествия, сколько пуританской морали, которую навязали ему немецкие картинки висевшие в его домике. (К тому, что сказал Гершензон, можно прибавить, что весьма знаменательным является факт, что Пушкин так много уделил им внимания — обычно Пушкин определяет сценарий весьма краткими «ремарками»; здесь же все четыре гравюры описаны подробно и это описание занимает в коротеньком рассказе сравнительно очень много места. Это, конечно, неспроста. В связи с ними весь «Станционный смотритель» действительно стал «загадочной картинкой»).

В «Метели», как мне, пожалуй, удалось доказать²⁹, Пушкин усовершенствовал разработку трудной и редкой ситуации — он нашел удачное ее разрешение. Имею в виду применение приема «узнавания» к разлученным супругам. Вся литературная генеалогия «Метели» далеко не простая — она ведет к ста-ринному греческому роману, греческой и римской трагедии и комедии через Regnard'a и «слезливую» французскую комедию XVIII века, не говоря уже о сложной игре Пушкина с темой судьбы и суженого, воплощенной в образах метели — о чем

²⁷) В. Виноградов, «О стиле Пушкина», «Литературное наследство» т. 16-18, Москва, 1934, стр. 141-191.

²⁸) «Мудрость Пушкина», 1919.

²⁹) См. W. Lednicki: "Bits of Table Talk on Pushkin," III "The Snowstorm," *The American Slavic and East European Review*, December 1947, pp. 110-133.

так увлекательно рассказал В. Виноградов³⁰). Как в «Метели» и «Стационарном смотрителе», так и в «Гробовщике» эпиграфы имеют решительное значение для рассказов и вместе с тем раскрывают их, так сказать, дополнительное содержание. В «Метели» дана quasi — реальная иллюстрация темы «Светланы» Жуковского с перенесением в сон Марии Гавриловны мрачного колорита руссифицированной бюргеровской баллады. Тут опять сказалось отличное мастерство Пушкина.

В «Стационарном смотрителе» собственно идет скрытая полемика с кн. Вяземским. В своем стихотворении «Станция» Вяземский противопоставляет скуке и грязи русской почтовой станции — увлекательные, чистые, уютные, интересные польские станицы, с их «цыплятами, раками и спаржей», с «гитарой на стене», «с оружием старопольской славы», с «свежими цветами на окнах», с «чертами героев Krakowa и Vil'nyi в рамках», с «романом трагически-умильным» «и с ним Дмушевского листами» «на полке», с «женой иль дочкой комиссаржа» — «полячка, — словом, всё сказал: тут и портрет и мадригал» и, наконец, с путешествием в Варшаву и всеми очарованиями, которое это путешествие сулит...

Пушкин своим рассказом как бы защищает не только русского смотрителя, как указывает Виноградов, но и вообще русскую станцию; он точно отвечает Вяземскому: дочь русского смотрителя нисколько не хуже дочери польского «комиссаржа», а приключения на русской станции могут быть не менее увлекательны, чем путешествия в Варшаву. Польским патриотическим гравюрам (очевидно Косцюшко и Ясинского — упомянутым, между прочим, позднее в Пане Тадеуше³¹) противопоставлены картишки с историей блудного сына.

В «Гробовщике», как метко заметил Эйхенбаум, — «игра с фабулой при помощи ложного движения: развязка возвращает нас к тому моменту, с которого началась фабула, и уничтожает ее, превращая рассказ в пародию»³²). Роль эпиграфа не менее значительна, чем в других повестях: «космическому ужасу» Державина противопоставлено «профессиональное равнодушие» гробовщика. Сопоставление, навеянное несомнением Шекспиром. Гроб для Адриана то же, что чемодан.

³⁰) «О стиле Пушкина». «Литературное наследство». Том 16-18. Москва, 1934.

³¹) Первая книга.

³²) Дом литераторов: «Пушкин — Достоевский», Петербург, 1921, стр. 91.

Думаю, что этих примеров достаточно, чтобы показать, что «Повести Белкина» представляют собою чисто-литературную игру. Это своего рода литературные шахматы, абстрактная, так сказать, спекуляция, рассчитанная на литературную «гастрономию». Именно в этом скрывается сущность настоящих литературных усилий Пушкина — усилий явно высшего порядка, так как они сами по себе доказывают художественное превосходство Пушкина. Они из этого превосходства вытекают. Эти усилия и намерения по самому своему существу свидетельствуют о том, как высоко метило искусство Пушкина. Один факт, что Пушкин мог себе позволить такую игру с литературными традициями и литературной техникой сам по себе весьма знаменателен. Сознательная игра с литературными шаблонами, часто в данном случае принимавшая характер литературной пародии, возможна при условии насыщения популярными формами и приемами, только большому мастеру она доступна, никак не новичку. Из всего вышеизложенного вытекает, что в этих «Повестях Белкина» никаких «идейных» подходов нет. Поэтому Белинский жестоко ошибался, когда видел в «Барышне крестьянке» идеализацию помещичьей жизни. Пушкин тут никого не защищал, он просто играл, виртуозничал. И этого совершенно не понял Белинский. Не менее в этом смысле типичен и Достоевский со своим Макаром Девушкиным и его восхищением перед «Станционным смотрителем», которого он противопоставляет «Шинели». Всё это, конечно, своеобразный литературный дальтонизм, вполне, впрочем, законный.

Иначе обстояло дело с «Выстрелом»; его всё-таки Белинский признал «достойным Пушкина». И немудрено — Белинский первый сказал всё самое существенное о «Моцарте и Сальери», поэтому проглядеть «Выстрела» он не мог. Жаль однако, что он не объяснил, почему «Выстрел» ему по понравился.

«Выстрел», как это тридцать лет тому назад блестяще показал Искоз (Долинин), связан с серией произведений, в которых постоянно появляется противопоставление двух человеческих типов (Борис Годунов — Самозванец, Сальери — Моцарт, Скупой Рыцарь — Альберт), свободной и несвободной личности, прирожденного властелина и властителя притязательного, того, кто господствует над властью, является ее господином и того, кто ей служит, кто раб ее, противопоставление непосредственной воли и активности — осторожному расчету... Это ведет к теме рационализма и иррационализ-

ма (для упрощения пользуюсь этими непушкинскими терминами), а также и к теме самозванства, психологической сущности самозванства (в «Борисе Годунове» исторический самозванец не является психологическим самозванцем — это удел Бориса).

Сильвио — тут я с Эйхенбаумом несогласен³³), отнюдь не второстепенное лицо в рассказе и, как раз значительность контраста между Сильвио и молодым графом понял Достоевский, под прикрытием намеренно грубой пародии развивший до конца в своих «Записках из подполья» глубокие философско-психологические намеки, которые он разгадал в *Выстреле*³⁴.

То же самое следует сказать и о «Пиковой даме». Этот «анекдот» безмерно содержателен и как психологический рассказ о «завороженном идеей», и как рассказ социально-исторический о типе «наполеонида» (Стендаль-Достоевский).

Ничего хуже не мог сказать Белинский того, что он сказал о Гриневе, Маше и Швабрине; особенно о Гриневе. Швабрин взят из жизни (хотя кн. В. Ф. Одоевский тоже находил его «нравственно-чудесным»), он выведен из исторических фактов и документов. Маша — хотя и находится в литературном родстве с героями Вальтер-Скотта, — родная сестра Татьяны, она «построена» Пушкиным на тон стихотворения «Я вас любил, любовь еще быть может...»³⁵). Однако, оставим их — Гринев в известном смысле важнее. Он — если можно так сказать — лучший, незаменимый прием Пушкина-историка. Система *Icherzäh lung* оказала в данном случае бесценные услуги, именно в связи с заурядностью личности рассказчика. В этом скрывается политическая стратегия Пушкина. Благодаря «ничтожеству» Петра Андреевича Гринева, благодаря его посредственности Пушкину удалось создать иллюзию верности своего исторического изображения. Благодаря Гриневу — «война и мир» являются в повести такими, какими они были для всех в то время — а не «войной и миром» в понимании Льва Николаевича Толстого (в свое время это тонко подметил Леонтьев).

Благодаря Гриневу Пушкин мог свободно изобразить

33) Дом литераторов, как выше, стр. 90.

34) Я работаю сейчас над раскрытием связи между «Выстрелом», «Дневником лишнего человека» и «Записками из подполья».

35) Это когда-то заметил М. Л. Гофман.

Пугачева и не «отвечать» за него перед Николаем I, который не считал возможным видеть в нем историческое лицо³⁶).

Благодаря Гриневу Пушкин мог сделать правдивой и убедительной свою картину жизни русских людей того времени; он показал их через их же глаза — они знали только то, что видели сами или слышали от таких же людей, какими они были сами — больше того они не знали. Это, только это видел и знал Гринев, и он именно это рассказал, не «мудрствуя лукаво». Ведь не Белинским же его было сделать!

Пушкин вполне сознательно употребил этот прием в данном случае. Его теоретические высказывания на эту тему полностью это подтверждают.

«Главная прелест романов Walter Scott, — писал он в 1830 году, — состоит в том, что мы знакомимся с прошедшим временем не с *enflure* французских трагедий, — не с чопорностью чувствительных романов, — не с *dignité* истории, но современно, домашним образом... ce qui nous charme dans le roman *historique* — c'est que ce qui est historique est absolument ce que nous voyons — Shakespeare, Гете, Walter Scott не имеют холопского пристрастия к королям и героям...»³⁷). Сравнив в 1830 году «подражателей» с «шотландским чародеем», он сказал: «подобно ученику Агриппы они, вызвав демона старины, не умели им управлять и сделались жертвами своей дерзости. В век, в который хотят они перенести читателя, перебираются они с тяжелым запасом домашних привычек, предрассудков и дневных впечатлений. Под беретом, осененным перьями, узнаете вы голову, причесанную вашим парикмахером; сквозь кружевную фрезу à la Henry IV проглядывает накрахмаленный галстук нынешнего dandy. Готические героини воспитаны у Madame Campan, а государственные люди XVI-го столетия читают «Times» и «Journal des Débats». Сколько несообразностей, ненужных мелочей, важных упущений. Сколько изысканности. А сверх всего, как мало жизни...»³⁸).

Немало из этих блестящих пушкинских строк, по существу было повторено (а может быть это было только случай-

36) Как известно, Пушкину пришлось, по требованию Николая I, заглавие «История Пугачева» заменить «Историей Пугачевского бунта».

37) «Полное собрание сочинений» под редакцией М. А. Цявловского, Academia, 1936, т. V, стр. 276, 1830 г.

38) Ib. стр. 36.

ное совпадение) Тургеневым и Леонтьевым по поводу «Войны и Мира». (Замечу вскользь, что, как я уже несколько раз писал, «Война и Мир» намеренно антиисторический роман и уж, конечно, не лишен жизни³⁸).

Тесно с проблемой «эвокации» прошлого связалась у Пушкина — исторического романиста, а также у Пушкина — бытового писателя, задача исторической и бытовой стилизации; лучшие, блестящие этому примеры «История села Горюхина», «Дубровский», отрывок «Цезарь путешествовал», «Арап Петра Великого» и «Рославлев».

В своей прозе Пушкин полностью осуществил свою собственную программу (насколько это позволила ему сделать его так рано оборвавшаяся жизнь) и этим оказал огромную услугу русской литературе. Тут прежде всего следует подчеркнуть прекрасную архитектонику, композицию его повестей — четкость и логичность построения. Не менее характерна сила власти фабулы — она действует не только безотлагательно и беспрекословно, но упруго и свободно, хотя она и крепко связана сюжетом — задуманной темой. Все герои подчинены этой власти. Правда, это достигается легко в апсихологических произведениях, в чисто «авантюрных» романах и новеллах, как напр., «Метель» или «Барышня крестьянка», где автору не приходится особенно считаться с возможной психологической неприспособленностью героя к навязанному ему действию или положению. Однако, даже и здесь необходимый минимум этой «психологической способности» к выполнению начертанной роли — налицо. В этом именно заключается один из самых важных элементов гармоничности целого.

В произведениях с богатым психологическим содержанием («Пиковая дама», «Выстрел») психология героев солидарно сотрудничает с фабулой, никогда не нарушая ни психологического, ни бытового правдоподобия. Здесь мы можем наблюдать действительно свободное сотрудничество — ни о каком насилии не может быть и речи. Затем — удивительная быстрота действия. В «Капитанской дочке», по меткому выражению кн. Мирского, фабула действует точно заведенная пружина. Действие с самого начала до конца развивается безостановочно; почти совсем нет так называемых статических мотивов — все мотивы динамические.

³⁸⁾ См. W. Lednicki: *Quelques aspects du nationalisme et du christianisme chez Tolstoi*, Cracovie — Paris, 1935 и мою статью, "Tolstoy Through American Eyes," *The Slavonic and East European Review*, London, 1947.

И как не восхищаться давно уже подмеченной в критической русской и иностранной литературе изумительной экономностью изобразительных средств. Повествование Пушкина это точно шифрованная депеша, в которой каждый знак много говорит и много стоит.

Простота слога — аскетическая простота, наряду с какой-то химической насыщенностью содержания. Никаких орнаментов, ненужных эпитетов, метафор, сравнений. Никакого лиризма, декламации, красноречия, эмоциональной напряженности. Никакой расплывчатости. Всё это, впрочем, давно известно.

Фразы — короткие, почти все — главные предложения, построенные в русском природном, логическом порядке: подлежащее, дополнение и сказуемое. Глагол и существительное — главные составные части предложения. Прилагательное и наречие появляются только для того, чтобы, так сказать, отметить движение, переходы и смены — смены образов и настроений. Но это всегда связано с объектом наблюдения, это никогда не возникает в качестве авторского «лирического волнения» или в виде игры звуками и словами, как, например, у Гоголя.

В этом смысле Пушкин был, конечно, учеником французов XVIII века и может быть Шекспира. Вольтер писал совершенно в таком духе —ср., например, «Кандида» (а также написанного в этом же стиле, хотя и стихами, навеянного Вольтером байроновского «Дон-Жуана»).

А о Шекспире сам Пушкин сказал: «Сцена тени в ‘Гамлете’ вся написана шутливым, даже низким слогом, но волосы становятся дыбом от гамлетовских шуток»⁴⁰).

Знаменательно, что хотя Пушкин считал (он в этом смысле высказался в 1825 году), что «романтические переходы» «быстрох повестей» (так характеризовал он прозу Марлинского) «хороши для поэмы байронической, а роман требует болтовни»⁴¹ — «возьмись-ка за целый роман (писал он Бестужеву в другом письме того же года) и пиши его со всею свободою разговора или письма, иначе всё будет слог сбиваться на Коцебягину»⁴²) — в свои собственные «романы» он «болтовни» не ввел.

Наконец, «идейное» содержание прозы Пушкина оказа-

⁴⁰) «Пушкин о литературе», стр. 153.

⁴¹) Ib. стр. 77.

⁴²) Ib. стр. 89.

лось чрезвычайно богатым, завет — «проза требует мыслей и мыслей» Пушкин осуществил полностью — он не «психологизировал» своей прозы, он ее «логизировал», насыщая ее идея-ным, а не эмоциональным содержанием.

И вот в этом как раз кроется существо реформы проведенной Пушкиным: «болтовня» заменена «мыслями и мыслями». Этот завет не обманул ни Пушкина, ни русскую литературу.

Осуществление этого завета самим Пушкиным в конце концов не прошло без следа — к прозе Пушкина русская литература вернулась, хотя и не сразу она сама отдала себе в этом отчет.

**

Тезис Чернышевского, что «отцом русской прозы» является Гоголь, был также, до Чернышевского, тезисом Белинского, который уже в 1835 году провозгласил Гоголя «главою литературы», — даровал ему «место, оставленное Пушкиным», а в 1843 году «отдал решительное предпочтение повестям Гоголя перед повестями Пушкина»⁴³⁾. И Белинский и Чернышевский считали только Гоголя (в противовес Пушкину) вполне самостоятельным и оригинальным писателем — «у Гоголя не было образца, не было предшественников ни в русской, ни в иностранных литературах»⁴⁴⁾; между «школой Гоголя» и «натуральной школой» был проведен знак равенства⁴⁵⁾ и Гоголь был признан творцом «единственной ценной литературной школы»⁴⁶⁾.

И Белинский и Чернышевский видели в Гоголе родоначальника русского реализма, несмотря на явное преобладание романтизма в творчестве Гоголя, несмотря на явное преобладание реализма в творчестве Пушкина.

Главную роль в этом недоразумении играл «сатиризм» Гоголя, его «гумор», как писал Белинский в 1835 году, его «критическое отношение к действительности» — хотя Гоголь одновременно назывался «поэтом жизни действительной», «по-

⁴³⁾ «Н. В. Гоголь — материалы и исследования» под редакцией В. В. Гиппиуса, изд. Акад. Н. ССРР, 1936, вып. II, стр. 504 (статья Г. О. Берлинера «Чернышевский и Гоголь»).

⁴⁴⁾ Ib.

⁴⁵⁾ Ib.

⁴⁶⁾ Ib.

этом совершенной истины жизни»⁴⁷). Ни Белинский, ни Чернышевский не видели в этом «поэте совершенной истины жизни» элементов стилизации, гиперболы, гротеска, карикатуры, с их неизбежным сгущением красок, характерной деформацией, преобладанием частного над целым и бесповоротной «иммобилизацией» жизни. Они не заметили — вернее не придали ей значения — фантастики, они не хотели видеть полного отсутствия психологизма и идеологизма высшего порядка, они не слышали гоголевской декламации.

Все эти характерные черты искусства Гоголя противоречат реализму, реализму бытовому, психологическому и историческому, являющемуся основными признаками русского романа XIX века. Только работы, появившиеся в конце XIX века, особенно же работы, связанные с юбилейными торжествами 1902 и 1909 годов, а также более поздние исследования, — словом статьи, лекции и книги Розанова, Мережковского, Котляревского, Брюсова, Венгерова, заявления символистов в «Золотом Руне», книги Переверзева и Гиппиуса и наконец, А. Белого ввели необходимые оговорки и поправки, которые окончательно преодолели «реалистического» Гоголя. Работы формалистов (Эйхенбаума, Виноградова, Слонимского) сильно поддержали эту литературную ревизию, которой не удалось поколебать литературоведам марксистского толка, ибо и они не могли преодолеть гоголевского гротеска своей «социальной обусловленностью» — «материалистически понимаемой обусловленностью идеологических явлений»⁴⁸). Гиперболизм Гоголя, романтическая сущность гоголевского юмора, лиризм, «акустика» и фонетика, словотворчество — всё это было выдвинуто, и таким образом установленное Белинским и Чернышевским «родоначальне» русской прозы оказалось под знаком вопроса.

Я бы прибавил сюда также «украинизм» Гоголя, который играет сильную, хотя и скрытую, роль в отношении Гоголя к русской действительности (очень ценные в этом смысле биографические сводки, сделанные Венгеровым⁴⁹).

В подробности здесь входить не приходится, но ведь когда

⁴⁷⁾ В. Г. Белинский Избр. соч., стр. 71.

⁴⁸⁾ См. статью В. А. Десницкого в сборнике «Н. В. Гоголь — материалы и исследования», вып. II, стр. 45 и сл.

⁴⁹⁾ См. также очень занятую статью А. Я. Ефименко «Национальная двойственность в творчестве Гоголя», «Вестник Европы», июль 1902 г., стр. 229-245.

подумаешь — очень трудно вывести Тургенева из Гоголя, не говоря о Толстом и даже Достоевском, несмотря на то, что особенно последний, в своем раннем периоде немало взял у Гоголя, несмотря на легенду о том, что «мы все вышли из гоголевской шинели», несмотря на отклики на тему «пошлости», которые здесь и там звучат в рассказах Тургенева.

Да, в Гончарове, Щедрине, Лескове, Чехове, иногда Бунине, многое зависит от Гоголя, однако, установить духовное родство между Гогolem и «Братьями Карамазовыми», «Войной и миром», даже «Обломовым» (несмотря на открытую Добродуловым, а Мазоном доказанную генетическую связь Ильи Ильича с Тентетниковым) и «Дворянским гнездом» задача трудная. Остается, конечно, так называемая «грязная действительность», о которой так красноречиво писал Леонтьев и на присутствие которой с легкой руки Гоголя в русской литературе он с такой горечью жаловался⁵⁰⁾.

Уродливость, как признанная в русском реалистическом романе гаранция жизненной правды, действительно восходит к запаху Петрушки и к ноздревскому рту, в котором «целый эскадрон переночевал», к тараканам, мухам и «самоварным»

50) Вот, что м. пр. пишет в своей автобиографии Леонтьев: «Я не раз говорил, что если французы любят чересчур поднимать жизнь (как в сороковых годах говорили, на как будки и ходули), то наши уж слишком любят всячески принижать ее. Сама жизнь лучше, чем наша литература. Всё у наших писателей более или менее грубо; комизм, отношения к лицам; даже «Война и мир», произведение, которое я сам прочел три раза и считаю прекрасным, испорчено множеством вовсе ненужных грубостей. И в «Анне Карениной», в которой автор видимо сознательно старался более, чем в прежних своих произведениях, об изяществе, — и в выборе лиц, и в самой форме попадаются однако эти вовсе ненужные и противные выходки от которых никто из наших писателей со временем Гоголя избавиться вполне не мог». (Затем Леонтьев приводит ряд примеров «грубостей» из текста «Анны Карениной»). Продолжая, он говорит: «Но, чтобы вполне понять, о чем я говорю, стоит только перечесть эти прославленные «Записки охотника» и для контраста отрывки из писателей неиспорченных Гоголем. Хотя бы «Капитансскую дочку» Пушкина, или иностранцев: «Вертера», «Манон Лескаут», «Рене» Шатобриана или прозанический перевод «Чайльд-Гарольда» Аmedея Pichot» . . . См. «Моя литературная судьба», «Литературное Наследство», тт. 22-24, 1935, стр. 463-464. Ср. его знаменитую книгу «О романах гр. Л. Н. Толстого», Москва 1911.

лицам гоголевских городов и поместий. Этим, однако, не исчерпывается русский роман XIX века, хотя герои Достоевского вечно плюются, клопы гнездятся на стенах обломовской квартиры, а Наташа Безухая торжественно показывает желтые пятна на пеленках своего ребенка.

Думается, что вопреки на долгие годы установившейся традиции и вопреки препятствиям, воздвигнутым Белинским и Чернышевским, влияние пушкинской прозы постепенно упрочилось.

Где и в чем его искать?

Тут, конечно, никак не обойдешь «Евгения Онегина». Вот настоящий «отец» русского романа. И Тургенев, и Гончаров, и Толстой, и Достоевский — все они, так или иначе, восходят к нему. Но, мне скажут — «Евгений Онегин» это не пушкинская проза. Верно, но «Евгений Онегин» — роман и роман в русской повествовательной традиции, пожалуй, самый важный. Всё психологическое и бытовое содержание русского романа, романа первой и второй половины XIX века тесно связано именно с «Евгением Онегиным» — с «Евгением Онегиным» как романом, а не как стихотворным произведением. Как стихотворное произведение «Евгений Онегин» не имел продолжения и традиции не создал — она, можно сказать, сразу оборвалась. Фабула «Евгения Онегина» немного дала русскому роману — она слишком проста. Но именно за счет примитивности этой фабулы выросло его психологическое, бытовое, историческое и идейное содержание. Замечу кстати, что дополнения и поправки — возможные именно в прозе — пришли почти немедленно, причем сделаны они были во всех направлениях! Мы их находим в «Герое нашего времени», где дана уже гораздо более сложная фабула, значительно углублено психологическое содержание и развита система всесторонних характеристик героя и его окружения (природа и люди). Я не вхожу в то, что Лермонтов шел не только по следам Пушкина, что он знал кроме Байрона и Гете *«Adolphe» Benjamin Constant'a, «Stello» A. de Vigny, «Les Confessions d'un enfant du siècle» A. de Musset, «Obermann» Sénaucour'a* — произведения во всех отношениях гораздо более сложные и с гораздо более широкими историческими и социальными фонами и горизонтами, чем «Евгений Онегин». Забудем об этом и останемся в границах развития русского романа. Если придерживаться строгого разделения между прозой и стихами, тогда придется считать именно Лермонтова «отцом» русского романа, в этом, как мне кажется, не может быть сомнений. «Герой нашего

времени» первый «современный» (*modern*) русский психологический и «светский» роман, и с ним связаны и Тургенев, и Гончаров, и Достоевский, и Толстой множеством нитей.

Однако, сам «Герой нашего времени» восходит не только к «Евгению Онегину», но и к пушкинской прозе — к «Повестям Белкина», «Египетским ночам» и «Капитанской дочке». Уроки Пушкина не прошли без следа. Во-первых, фабула. Вопрос не в богатстве фабулы Пушкина — она в сущности всегда проста, даже в «Капитанской дочке» она довольно ограничена. Я имею в виду функцию фабулы в произведении, умение руководить ею и пользоваться ею для вне-фабульных целей, наконец, занимательность фабулы, как одного из важных факторов повествовательных произведений. Этому Пушкин научил своей прозой не только Лермонтова, но несомненно и Достоевского, помог он также в некоторых деталях и Толстому.

Главная трудность в этой области связана с вопросом о сотрудничестве героев с развитием действия — я уже указывал на необходимую в этом смысле психологическую подготовленность, приспособляемость героя к выполнению заданной ему роли.

В этом отношении показательны не только Татьяна и Онегин — особенно показателен Герман именно тем, что в нем уже до начала действия заложены были те силы, которые привели в движение рассказ Томского. Не даром Достоевский считал Германа «колossalным лицом». Он по пушкинской, не только по бальзаковской, схеме построил свое «Преступление и Наказание». Но даже и «Метель» может тут послужить примером — необходима была легкомысленная, гусарская безответственность Бурмина с его «начинайте, начинайте», чтобы оказалось возможным повенчать с ним Марию Гавриловну; с другой стороны, только с такой сентиментально-романтической барышней могло случиться подобное приключение.

В «Герое нашего времени» фабула, можно сказать, полностью себя оправдала — она занимательна и достаточно многостороння, кроме того, она постоянно разоблачает героя и жизнь общества — все рассказы и эпизоды в этом смысле одинаково действенны.

Однако, в «Герое нашего времени» как и в «Евгении Онегине» фабула всё же подчинена психологическому и социальному заданию. Этот преобладающий «психологизм» и «со-

циологизм» надолго определил направление развития русского романа. Особенно жаловаться по этому поводу не приходится. Но Достоевский, например, всё же чувствовал эту столь характерную для русского романа его времени односторонность. Поэтому он учился сложной, занимательной и даже сенсационной фабуле у Поль де Кока, Дюма, Е. Сю, Габорио, В. Гюго, Бальзака, Стендадя, Диккенса. В своих романах он сумел соединить сенсационность фабулы, построенной им по упомянутым выше западно-европейским образцам, с определившейся уже в его время тенденцией русского романа к психологизму и «бытописанию», чтобы в конечном результате создать свой собственный тип авантюрно-идеологического романа, романа философско-психологических приключений.

Чрезвычайно интересны замечания Лескова на эти «технические» темы, замечания, которые он довольно свободно поместил в своем романе «На ножах». Вот, что писал Лесков:

«Один известный французский рецензент, делая обзор русского романа, дал самый восторженный отзыв о дарованиях русских беллетристов, но при этом ужаснулся бедности содержания русского романа. Он полагал, что усмотренная им бедность содержания зависит от сухости фантазии русских романистов, а не от бедности самой жизни, которую должен воспроизводить в своем труде художник. Между тем, справедливо замеченная бедность содержания русских повестей и романов находится в прямом соотношении к характеру русской жизни. Романы, сюжеты которых заимствованы из времен Петра Великого, Бирона, Анны Ивановны, Елизаветы и даже императора Александра Первого, далеко не безупречные в отношении мастерства рассказа, отнюдь не страдают бедностью содержания, которая становится уделом русского повествования в то время, когда, по чьему-то характерному выражению, в романе и повести у нас варьировались только два положения: влюбился да женился, или влюбился да застрелился! Эта пора сугубо-бедных содержанием беллетристических произведений в то же самое время была порой замечательного процветания русского искусства и передала нам несколько имен, славных в летоисчислениях литературы по искусству живописания. Воспроизведя жизнь общества, отстраненного порядком вещей от всякого участия в вопросах, выходящих из рам домашнего строя и совершения карьер, романисты указанной поры, действуя под тяжким цензурным давлением, вынуждены были избрать одно из оставшихся для них направлений: или достижение занимательности произведений посредством фальшивых эффектов в сочинении, или же замену эффектов фабулы высокими достоинствами выполнения, экспрессией лиц, тончайшей разработкой самых мелких душевных движений и микроско-

лическою наблюдательностью в области физиологии чувства . . . У нас между художниками-повествователями явились такие мастера по отделке как в живописи Клод Лоррен — по солнечному освещению, Яков Рюисдалль — по безотчетной грусти тихих сцен, Поль Поттер — по умению соединять в поэтические группы самых непоэтических животных и т. п. Если история живописи указывает на беспримерную законченность произведений Жерарда-Дова, который выделял чешуйки на селедке и написав лицо человека, изобразил в зрачках его отражение окна, а в нем прохожего, то и русская словесность имела представителей, в работах которых законченность подробностей поразительна не менее, чем в картинах Жерарда-Дова. Большая законченность рисунка стала у нас необходимым условием его достоинств. Картины с композицией более обширною, при которой уже невозможна такая отделка подробностей, к какой мы привыкли, многим стали казаться оскорблением искусства, а между тем развивающаяся общественная жизнь нынешней поры, со всею ее правдой и ложью, мимо воли романиста, начала ставить его в необходимость отказаться от выделки чешуек селедки и отражения окна в глазу человека... »⁵¹⁾.

Лесков глубоко был прав. Его соображений не следует забывать: русский политический строй, исторически ограничивший русскую общественную жизнь с одной стороны, с другой — материальное давление цензуры, несомненно оказали свое влияние на особое развитие русского романа. Но «Евгений Онегин», со своей «бедной» фабулой, которую можно заключить в формуле — А любит В, но В не любит А; В полюбило А, когда А уже не могло любить В — тоже не прошел без влияния.

Уже Мицкевич, в своих парижских лекциях по славянским литературам, указывал на «чрезвычайно простую основу» «Евгения Онегина» и на то, как «чрезвычайно трудно было на такой убогой и ограниченной канве соткать длинную поэму». И он восхищался тем, что Пушкин, «пробегая картины домашней жизни, русской земли и будничных событий, нашел достаточно содержания для своих песен, которые являются иногда комедией, иногда трагедией, иногда драматическим романом». Он подчеркивает вместе с тем «чарующую простоту» этой поэмы, и «редкую гибкость и совершенство стиля». «Это, — говорит он, — прелестная живопись, которой фон и колорит постоянно меняются, а читатель даже и не замечает, как из тона оды поэма сходит на эпиграмму и, поднимаясь опять,

⁵¹⁾ «На ножах», ч. V, гл. XXVI.

неощутительно переходит в отрывок рассказанный с важностью почти эпической»⁵²).

Когда я думаю об этих замечаниях Мицкевича, а особенно о лесковских рассуждениях на тему фабулы с одной стороны и описательного искусства с другой, мне приходит в голову, что с русским романом произошло почти обратное тому, что случилось с кинематографическим искусством, когда кинематограф заговорил. До этого поворотного момента, молчаливый экран заставлял заменять голос и слово экспрессией мимики и жестов актеров, а также суггестивностью деталей сценария. Это принудительное молчание сулило огромные, исключительные возможности кинематографу, оно открывало новые горизонты — «десятая муз» приближалась к Парнасу. Но кинематографическое искусство пало жертвой технических изобретений и своим приобретенным голосом отогнало «десятую музу» бесповоротно. (Не говоря уже о том, что речь ограничила универсалистические возможности молчаливого кинематографа, который был всякому и всюду понятен).

С русским романом произошло нечто обратное — как говорит Лесков — «при бедности содержания у нас появились произведения, достойные глубокого внимания по высокой прелести своей жизненной правды»⁵³). Русский роман заменил «эффекты фабулы» «высокими достоинствами выполнения», бытовыми подробностями и психологическим анализом.

До какой степени это верно, свидетельствует следующее замечание молодого Толстого; говоря о prose Пушкина и о том, что она стала «стара», Толстой поясняет: «Теперь (запись 1 ноября 1853 года) справедливо в новом направлении интерес подробностей чувства заменяет интерес самих событий»⁵⁴). И в то же время (1 октября 1853 года) он записывает следую-

52) Вот другие замечания Мицкевича в той-же лекции (7 июня 1842 года), в которых он предвосхищает в некотором смысле Соловьева. Сравнивая «Евгения Онегина» с «Дон-Жуаном» Байрона он говорит: «он не так богат и плодотворен, как Байрон, не поднимается так высоко и не заглядывает до dna человеческого сердца — но он ровнее, заботливее в смысле формы, проще, часто достигает Байрона, а иногда и превосходит его».

53) *op. cit.*

54) Л. Н. Толстой, «Полн. собр. соч.» под ред. В. Г. Черткова, т. 46, Москва--Ленинград, 1934, стр. 188.

щее «правило»: «На всякое свое сочинение, критикуя его, не забывать смотреть с точки зрения самого ограниченного читателя, ищущего в книге только занимательности»⁵⁵). Как мы знаем, «занимательность» стала предметом особого **внимания** Достоевского второго периода и, конечно, Лескова — оба они смело, иногда даже слишком смело, разработали занимательную, сенсационную фабулу.

Думается, что и здесь, однако, не обошлось без Пушкина, в данном случае именно проза Пушкина могла быть примером. В отличие от «Евгения Онегина» — «Арап Петра Великого», «Пиковая дама», «Дубровский», «Выстрел», «Метель», «Египетские ночи», «Капитанская дочка» никак не лишены «эффектной» фабулы.

Наоборот, Пушкин сплошь и рядом вводит весьма сенсационные эпизоды, пользуется элементом «неожиданных развязок» (*surprise*), характерных для романа приключений и вовсе не боится раззвтвений фабульных мотивов, ибо он всегда знает, как соблюсти основное единство фабулы, определенное темой произведения. Внимательное чтение Пушкина могло этому научить.

Равным образом не прошли без внимания уроки, заключенные в «экономии средств», в суровости пушкинской прозы. Они прошли мимо Достоевского, который «болтовни» не избежал, но Тургенев и Толстой с большим вниманием их восприняли. Все романы и рассказы Тургенева отличаются отчетливостью пушкинской композиции и пушкинским чувством меры во всех описаниях. Таков «Рудин», таково «Дворянское гнездо», таковы и «Отцы и дети», такова «Первая любовь».

Что же касается Толстого, то он не переставал в течение всей своей писательской работы бороться именно за эту экономию, за равновесие между «динамическими» и «статическими» мотивами, особенно страдая от «излишества» своих отступлений, нарушающих план целого, уводящих его от разработки главной темы. «Я замечаю, — писал он в своем дневнике (10 августа 1851 года), — что у меня дурная привычка к отступлениям; а именно, что эта привычка, а не обильность мыслей, как я прежде думал, часто мешает мне писать и заставляет меня встать от письменного стола и задуматься совсем о другом, чем то, что я писал. Пагубная привычка. Несмотря на огромный талант рассказывать и умно болтать моего

⁵⁵) Ib. стр. 289.

любимого писателя Стерна, отступления тяжелы даже и у него»⁵⁶).

Не менее характерны и следующие, несколько более поздние заявления: «Интерес ‘Отрочества’ должен состоять в постепенном развращении мальчика после детства и потом в исправлении его перед юношеством. При том внутренняя история его должна для разнообразия уступать место внешней истории лиц его окружающих, так чтобы внимание читателя не постоянно было устремлено на один предмет»⁵⁷). Здесь выступает мотив «занимательности», вопрос, который тоже живо интересовал Толстого. Однако, он подчеркивает: «Чтобы сочинение было увлекательно, мало того, чтобы одна мысль руководила им; нужно, чтобы всё оно было проникнуто и одним чувством»⁵⁸).

Эта систематическая борьба за власть темы в произведении, о которой рассказывают дневники Толстого и которой результаты налицо в его «Кавказских» и «Севастопольских» рассказах, не говоря уже о «Поликушке», «Анне Карениной», где тема сигнализирует, на который постоянно оглядываются все герои — была борьбой, осуществлявшейся по линии пушкинского повествовательного искусства.

Конечно, в этой борьбе за единство, цельность, планомерность и логическую последовательность литературного произведения Пушкин не был единственным фактором: природный «рационализм» Толстого, его «франклиновский журнал», теория музыки, которую он изучал с большим увлечением — всё это и многое другое наводило его на пушкинский путь. Думается, однако, что и непосредственное общение с пушкинским искусством не могло пройти бесследно.

Нет нужды останавливаться на ранних оценках Толстого, таких, как, например, что «Пушкина проза стара — не слогом, — но манерой изложения», что «повести Пушкина голы как-то»⁵⁹), что за исключением «Цыган» и «Евгения Онегина» остальные поэмы «ужасная дрянь» — зрелый Толстой их не повторил.

Нет нужды останавливаться и на тенденциозных и парадоксальных суждениях Толстого о Пушкине, высказанных в

⁵⁶) Л. Н. Толстой, «Полн. собр. соч.» под ред. В. Г. Черткова, т. 46, Москва — Ленинград 1934, стр. 82.

⁵⁷) Иб. стр. 286-287.

⁵⁸) Иб. стр. 215.

⁵⁹) Иб. стр. 187.

период его «народничества». Характерно то, что Толстой в годы своей полной зрелости, а потом старости неизменно восхищался прозой Пушкина, особенно «Повестями Белкина» и «Пиковой дамой». Он считал, что «Повести Белкина» надо читать каждому писателю. Он восторгался «гармонической правильностью распределения предметов, доведенной до совершенства» в «Повестях Белкина»⁶⁰).

К концу жизни восхищение Толстого прозой Пушкина стало еще более аподиктическим — он прямо говорил, что «лучше всего у Пушкина — его проза»⁶¹). «Пиковую даму» он называл «chef-d'oeuvre-ом» и утверждал, что в ней всё сделано «так умеренно, верно, скромными средствами»; «ничего лишнего в ней нет», — говорил он⁶²). А вот, что сказал он о «Метели» почти перед самой своей смертью: «Главное у него — это простота и сжатость рассказа: никогда ничего лишнего»⁶³).

Этой «сжатости рассказа» учился у Пушкина и Чехов. «Капитанская дочка»⁶⁴) была его любимицей. Характерно, что на том же уровне он ставил «Тамань»⁶⁵), а «Тамань» вместе с «Фаталистом» самые пушкинские рассказы Лермонтова. Попробуйте сравнить их с ранней, «неистовой» прозой «Вадима», написанного до знакомства с главными прозаическими произведениями Пушкина. Недаром сказал Толстой: «Чехов это Пушкин в прозе»⁶⁶).

Если теперь перейти к вопросу о языке Пушкина и его исключительной динамичности, то и тут придется признать, что хотя непосредственных наследников у Пушкина, за исключением Лермонтова, в этой области мы как будто не знаем, тем не менее Пушкин, через посредничество Лермонтова, научил русскую литературу содержательной простоте своего языка.

⁶⁰) Из письма к Голохвастову, март 1874 г.

⁶¹) Из записей Н. Гусева от 8 июня 1908 г.

⁶²) Из дневника А. Гольденвейзера от 1 июня 1908 г.

⁶³) Ib. 1 октября 1910 года. «Многому я учусь у Пушкина — говорил Толстой, — он мой отец, и у него надо учиться». Ср. интересную статью Н. Гудзия «Толстой о русской литературе» в сборнике «Эстетика Толстого» п. р. П. Н. Сакулина, Москва, 1929, стр. 196.

⁶⁴) «Русские писатели XIX века о Пушкине», стр. 344.

⁶⁵) Ib.

⁶⁶) Ib. стр. 384.

В этом смысле взгляды Тургенева и Толстого на язык и на слог Пушкина совершенно совпадали. Дело тут особенно в том, что подход к языку у Тургенева и Толстого во многом был тот же, что и у Пушкина. Основным принципом был принцип логической, а не эмоциональной сообщительности языка. Обоих, кроме того, одинаково характеризует подчинение требований «здравого смысла» — пушкинскому «благоразумию» и «трезвости». Некоторые заявления Тургенева и Толстого на эту тему звучат совершенно по-пушкински. Вот, например, что Тургенев писал по поводу рассердившего его французского перевода «Записок охотника»: «Слова ‘я убежал’ — француз переводил так: ‘Je m’enfuis d’une course folle, effarée, échevelée, comme si j’eusse à mes traces toute une légion de couleuvres commandée par des sorcières’». «И всё в этаком роде, жаловался Тургенев (говорит Иванов), каков бессовестный француз. И за что я теперь должен, по его милости, превратиться в шута!»⁶⁷).

Не менее характерны следующие замечания молодого Толстого: «Не знаю, как мечтают другие, сколько я не слыхал и не читал, то совсем не так, как я. — Говорят, что, смотря на красивую природу, приходят мысли о величии Бога, о ничтожности человека, влюбленные видят в воде образ возлюбленной. Другие говорят, что горы, казалось, говорили то-то, а листочки то-то, а деревья звали туда-то. Как может прийти такая мысль? Надо стараться, чтобы вбить в голову такую нелепицу. Чем больше я живу, тем более мирюсь с различными натянутостями (*affectation*) в жизни, разговоре и т. д.; но к этой натянутости, несмотря на все мои усилия, привыкнуть не могу»⁶⁸.

Наконец, не подлежит, мне кажется, сомнению, что про-за С. Т. Аксакова («Семейная хроника» особенно), хотя вызвана она была к жизни Гоголем, ничего от Гоголя не восприняла, а наоборот, вернулась к пушкинскому образцу — говорит за это энергическая содержательность и логическая целестремленность аксаковского языка. Думается, что и язык Гончарова, с его спокойной, прозрачной ясностью и сознательной сдержанностью, тоже восходит к пушкинской, а не гоголевской традиции. Жива эта традиция, мне кажется, и в

⁶⁷) И. Иванов — «И. С. Тургенев», Нежин, 1914, стр. 174.

⁶⁸) «Дневник», запись 10 августа 1851 года. Ср. также чрезвычайно важные рассуждения на эту тему в выпущенном «отступлении» в 9-ой главе «Детства», изд. п. р. В. Г. Черткова, т. 1, стр. 177-178.

структуре языка Бердяева — с преобладающими в нем главными предложениями.

Стоит, наконец, прибавить, что с той же экономией, сккупостью, лаконичностью, «деловитостью» языка и четкостью быстрого движения фабулы рассказов и повестей Пушкина связан прием начала *ex abrupto*, вводящий читателя сразу *in medias res*. Как известно, отрывок Пушкина «Гости съезжались на дачу» послужил образцом для знаменитого начала «Анны Карениной».

**

Теперь мне только остается сказать несколько слов об «идейном» влиянии Пушкина на русскую прозу XIX века. Под этим я подразумеваю разработку пушкинских тем, ситуаций, типов в русском романе.

В свое время, в моих польских работах, посвященных Пушкину, я писал об этой неумирающей «жизни» пушкинских «героев-мифов» в русской литературе⁶⁹). Но и без моих работ всякий знает, что пара — Онегин и Татьяна — не переставала появляться на страницах русского романа в разных «злободневных» видоизменениях; достаточно вспомнить «Героя нашего времени», «Рудина», «Обломова», «Обры» (с разными оговорками), она даже перекочевала в Польшу: я имею в виду «Без догмата» Сенкевича⁷⁰). Одной этой парой дело, однако, не ограничилось.

Мережковский блестяще открыл, а Бем точно доказал, как близко расположилось «Преступление и наказание» от «Пиковой дамы», как тесно связан «Господин Прохарчин» (помимо иных своих филиаций) и особенно «Подросток» со «Скупым рыцарем» и с Петербургом «Пиковой дамы». «Бедные люди» сами говорят о «Станционном смотрителе» (как Белинский не заметил намеренного противопоставления «Станционного смотрителя» и «Шинели» — трудно понять), и та же тема, карамзинская тема, появляется опять в «Униженных и оскорбленных», где Ихменев *sui generis* пушкинский станционный смотритель. А сцену с деньгами, которые бросил в негодовании «на-земь» и «притоитал каблуком» станционный смотритель, Достоевский варьировал не один раз — и в «Пре-

⁶⁹⁾ Cp. W. Lednicki: *Puszkin 1837-1937*, Kraków, 1937.

⁷⁰⁾ Cp. W. Lednicki: *Sienkiewicz*, published by the Polish Institute of Arts and Sciences in America, N. Y. 1948.

ступлении и Наказании», и в «Идиоте», и в «Братьях Карамазовых». Только у Пушкина станционный смотритель «отошел несколько шагов», «остановился, подумал... и воротился», тогда как герой Достоевского или «не воротился», или «пололз на коленях». Надеюсь, что мне лично в скором времени удастся доказать несомненную связь, существующую между «Записками из подполья» и «Выстрелом», о чем я уже выше говорил. Помимо более важных и существенных элементов связи могу уже сейчас указать на мотив «романтического», спекулятивного поединка, появляющийся в «Выстреле» — в заключении рассказа и проникший, может быть, через посредство Тургеневского «Дневника лишнего человека», в «Записки из подполья», а затем в «Бесы» и «Братья Карамазовы».

Не менее богатое поле для исследования в этом смысле представляют рассказы и романы Тургенева — упомяну только рассказ «Два приятеля», в котором автор постоянно «играет» с «Евгением Онегиным», «Дневником лишнего человека» с его отголосками из «Выстрела» (не только мотив поединка), «Бреттера» и его родство с «левой руки» с «Евгением Онегиным», «Рудина» с его «онегинской» сентиментальной ситуацией, «Дворянское гнездо», идеологическую связь которого с «Евгением Онегиным» и «Дубровским» мне самому удалось, как мне кажется, доказать⁷¹⁾.

Я должен держаться пушкинской прозы, и потому не вправе ссылаться на «Затишье» и на некоторые другие рассказы Тургенева, в которых появляются не только реминисценции из поэзии Пушкина, но иногда, как например, в «Затишье» пушкинское стихотворение становится той искрой, которая зажигает пожар катастрофы. Пушкинский «Анчар», точно какая-то волшебная флейта, шевелит «тихий омут» «Затишья» и вызывает к жизни дремавшие в нем «страсти роковые».

Не могу равным образом ссылаться на связь «Казаков» Толстого с «Кавказским пленником». Но рассказ «Два гусара» я имею полное право упомянуть — рассказ, написанный в период постоянных бурных размолвок Толстого с «Современником». Толстой, как бы в укор «Современнику», стал в этом рассказе намеренным пушкинским эпигоном, создав в лице

⁷¹⁾ W. Lednicki: "Bits of Table Talk on Pushkin," II "The Nest of Gentlefolk," and the "Poetry of Marriage and the Hearth." *The American Slavic and East European Review*, Vol. V, Nos. 14-15, 1946.

своих графов Турбина — отца и сына — повторное противопоставление пушкинских героев: Сильвио и молодой граф, Сальери и Моцарт, Старый барон и его сын, не говоря уже о чисто пушкинской атмосфере этого рассказа, перенесенной в него, можно сказать, прямо из пушкинской «Метели», что подтверждает даже фамилия Турбин, явно навеянная пушкинским Бурмином.

Можно найти следы влияния Пушкина также и в Щедрине — в данном случае я имею в виду «Историю села Горюхина» и его отражения — точно в увеличительном зеркале — у Щедрина. Наконец, русские новейшие исторические романы и рассказы — Брюсова, Ауслендера, Бориса Садовского, Алданова, со всей их исторической стилизацией восходят к пушкинскому «документальному» историческому реализму; образцами служили в данном случае «Арап Петра Великого», «Дубровский», «Капитанская дочка» и отрывок «Цезарь путешествовал...». Думается, что и в «Петре I» Алексея Толстого возможно ощутить некоторые отражения прозы Пушкина. Наконец, «Князь Серебряный» гр. А. К. Толстого — этот роман — баллада, как мне хочется его назвать, — звучит какими-то фабульными отголосками из «Дубровского». (О «Трилогии» гр. А. К. Толстого и говорить нечего, она, конечно, восходит к «Борису Годунову», а его салонная лирика в некотором смысле продолжает пушкинскую стихотворную традицию).

Прибавлю еще одно замечание; как-то, случайно, мой друг, профессор П. А. Будберг, часто изумляющий своих коллег неожиданностью и меткостью своих открытий, обратил мое внимание на роман Апухтина — «Архив графини Д.» (повесть в письмах). Всё действительно говорит за то, что этот отлично написанный роман представляет собой развитие и законченную обработку замысла Пушкина, известного под заглавием «Роман в письмах». Здесь я только упоминаю об этом открытии проф. Будберга — оно заслуживает подробного обследования.

Пришлось мне также оставить в стороне письма Пушкина — это тоже важный отдел русской прозы. Скажу одно, что эти письма один из лучших образцов не только русского, но всемирного эпистолярного искусства, не говоря уже об исключительном богатстве их содержания; это своеобразная энциклопедия русской культурной жизни пушкинского времени, охватившая самые широкие сферы этой жизни.

В заключение скажу, что в Западной Европе проза Пуш-

кина сразу привлекла к себе внимание знатоков — лучший этому пример *Mérimée*, давший свои превосходные переводы из Пушкина. В наши дни А. Gide счел нужным их исправить, что доказывает неослабевающее внимание, оказываемое пушкинской прозе во Франции. То же самое следует сказать о Германии, Англии, Италии и Америке — повести Пушкина считаются исключительными шедеврами в области новеллы. Такой же популярностью эти повести пользуются и в славянских странах, где они постоянно продолжают появляться (например, в Польше печатаются теперь новые переводы в литературных журналах). В Европе прозе Пушкина принадлежит видное место среди лучших прозаических текстов мира⁷²). В России — неповторяемое художественное достоинство этой прозы было оценено лучшими русскими писателями — на этом сошлись Лермонтов, Тургенев, Гончаров, Достоевский и Толстой — они все были учениками этого первого, в полном смысле образцового русского прозаика⁷³).

Berkeley, California. 15-31-VII-1948.

В. Ледницкий

72) Пользуюсь случаем, чтобы обратить внимание читателя на отличное издание «Повестей Белкина» с толковой вступительной статьей и комментариями проф. Б. Г. Унбегауна, появившееся в серии публикаций Страсбургского Университета в 1943 году (Macon, Imprimerie Probat). Тут же стоит отметить, что в 1948 г. появилось новое английское издание «Повестей Белкина» (Lindsay, Drummond), что дало повод известному английскому критику Philip Toynbee написать о «Повестях Белкина» совершенно в духе Белинского (sic!) и за счет Пушкина превознести . . . Андреева.

73) Обращаю также внимание на ценную статью А. Г. Цейтлина «Из истории русского общественно-психологического романа» в книге «Историко-Литературный Сборник» п. р. С. П. Бычкова и др., Огиз, 1947, стр. 289-344. К сожалению я с этой работой познакомился уже после того, как моя статья была набрана — эта книга только недавно пришла в библиотеку Калифорнийского Университета. Взгляды А. Г. Цейтлина во многом совпадают со взглядами высказанными мною в этой статье и в моей польской монографии о «Евгении Онегине» (Краков, 1925), по А. Г. Цейтлин м. б. справедливее — пластичнее — определяет роль Гоголя в развитии русского романа; его генеалогия зиждется на »трех китах«: «Евгений Онегин», «Герой нашего времени», «Мертвые души». Такую генеалогию я вполне принимаю. Впрочем я сам в этом же духе веду свои рассуждения, м. б. только я не так определенно высказался.

“НЕСОГЛАСНЫЕ ГРАЖДАНЕ”

Теперь уже трудно вспомнить, когда термин «несогласные граждане» был впервые употреблен в советской публицистике. Вероятнее всего он возник в связи с каким-нибудь произведением, в котором, наряду с официально одобренными героями и не менее официальными злодеями, промелькнул образ человека, которого нельзя было отнести ни туда, ни сюда. Важнее установить другое: «несогласные граждане» появились в советской литературе очень давно, их встречаешь и в двадцатых, и в тридцатых годах, немало их имеется и сейчас в послевоенной беллетристике.

«Несогласные граждане» — их иногда не совсем точно называют еще «внутренними эмигрантами» — это очень значительное количество действующих, а чаще «бездействующих» персонажей. В качестве образчика сошлюсь на пример: в начале тридцатых годов в повести ныне покойного Бориса Левина «Жили два товарища» (1931 г.), в которой речь идет о жизни учащейся молодежи в годы 1-ой пятилетки, студент Дебец оказывается неблагополучным по троцкизму; несмотря на заступничество друзей его исключают из партии и он в конце концов пускает себе пулю в лоб; это отрицательный герой. Другой студент — Павел Корчагин благополучно уезжает на строительство и является типичным положительным героем. Но у этого добродетельного члена партии имеется дядя в провинции, работающий в Сельсоюзе. Молодой врач Надя, дочь этого дяди, приезжает в отпуск в Москву и разыскивает Корчагина. При этом она передает ему письмо от отца. Так как письмо послано с оказией, дядя рассказывает о своем житье-бытье откровенно. Живет он с женой и сыном-комсомольцем в одной комнате. Жизнь трудная не только в материальном отношении, но и в душевном плане. С сыном нелады. О молодежи дядя пишет: «Чувства жалости у них нет. Они смотрят на нас, как на хлам, как на вымирающее племя, у них всё взвешено. А мне это противно, Павел. Мне это надоело. Я хочу иметь отдельную комнату, где был бы письменный стол и книги. Пить крепкий чай, читать Пушкина и

курить. Но ничего этого нет. Есть клопы и диван с торчащими пружинами. Спать на нем как на баранках. Будь он проклят! Я знаю, ты скажешь, что это рутина, оппортунизм, поправление. Но куда ж еще к чорту леветь? Куда еще революционней? И так уж за хлебом стоим в очереди. Вот тебе наши достижения. Кругом крики — классовый враг, классовый враг. Я, признаться, тебе, — не вижу его. Где этот классовый враг? Где он? В годы гражданской войны я знал определенно, — вот он там, в окопах, лежит классовый враг. А теперь, где классовый враг? Не вижу его, не вижу. Вот у нас в Сельсоюзе восемь человек лишили избирательных прав. Из них только двое оказалось настоящими лишенцами, а остальные восстановились. Но что они пережили за это время! Сколько испортили себе крови и нервов! Скажи пожалуйста, зачем это понадобилось? Для того, чтобы этих жалких служащих, которых гоняют на субботники, которые работают как волы, чьих детей никуда не принимают, чтобы их еще больше обозлить, чтобы их сделать на всю жизнь врагами советской власти? Почему же это так получается? А вот почему. Потому что сегодня послали одного чиновника и сказали — лишай, и чиновник рад стараться и лишает как можно больше. Ему количества надо. Назавтра послали другого чиновника и сказали ему — восстанавливай, и чиновник восстанавливает как можно больше...»

Автор письма — не контр-революционер. Он сам вспоминает, как еще будучи в 7-м классе гимназии он писал «революцию» с большой буквы, сидел в тюрьме при царизме, был в Красной Армии во время гражданской войны. «Но — пишет он — я устал. Хочется спокойно жить. Спокойно спать. Скажи, пожалуйста, ведь имею же я право на мало-мальски человеческие условия? Имею же я право быть уверенным, что завтра меня не вышвырнут из комнаты? Ты знаешь, у нас один сослуживец привез из Москвы немецкий журнал 'Ди Вехе'. И ты знаешь, Павел, — мне тебя стесняться нечего, — я рассматривал рекламы, фотографии, картинки, и у меня слонки текли. Как хорошо, вкусно и уютно живут люди... Вот вошел сын... 'Тиlle, — говорю я ему, — мать спит'. 'Жратвы никакой нет?' — Это он спрашивает у меня, и я ему ничего не отвечаю, потому что он мне противен. И всё это у них 'жратва', 'шамовка', 'наворачивать', 'покрыть'. Как это всё отвратительно. Они нас презирают, но и мы их презираем. Только мы вот еще боимся своих детей. У них глаза, как у леопарда в зверинце, — жадные и злые...».

Прочтя письмо, Павел Корчагин в негодовании разорвал его и бросил на пол, сказав, что дядя стал «фашистом». Надя вступилась за отца: нет, он хороший, ей очень жаль его, он работяга и честный человек.

Автор повести ничего не рассказывает о дальнейшей судьбе корчагинского дяди. Но, прочтя его письмо, всякий чувствует: вот она настоящая жизнь без обычной лакировки.

«Ты и представить себе не можешь прозябания совслужа, — жалуется другой «несогласный гражданин» в повести С. Буранцева «Дом с выходом в мир» (1930 г.), — а тут еще семья, догадываешься, как цветет семейка на 120 рублей, на 30 рублей мирного времени. Всё, брат, ползет, и швы на штанах, и нравственность, и почтительность, и удержать нет возможности. Знаешь, это как зараза: распутство от нищеты».

И много таких «моментальных фотографий» зафиксировано в разных романах и рассказах за минувшее тридцатилетие. Не перевелся «несогласный гражданин» и в послевоенной беллетристике. Но чтобы понять его новейшую эволюцию, надо прежде всего осознать некоторые его особенности в предшествующий период.

«Несогласный гражданин» довоенного периода в массе своей принадлежал к старшему поколению, т. е. к тому разряду людей, юность которых протекла еще в дореволюционные годы. К какому бы слою ни принадлежал «несогласный», роднило его с другими «внутренними эмигрантами» обладание материалом для сравнения. Присматриваясь к образам «несогласных граждан», запечатленным такими разными писателями, какими были покойные В. Вересаев, Пантелеимон Романов, с одной стороны и, скажем, Дм. Лаврухин или Ю. Либединский, с другой, улавливаешь, что в чем-то существенном, все они сходятся в оценке «несогласных граждан», особенно, когда речь идет о представителях довоенной интелигенции.

Мать обеих сестер Нины и Лели Ратниковых (в романе В. Вересаева «Сестры», 1932 г.) до революции сама была большевичкой, ее муж был расстрелян при старом режиме. Она могла бы получать пенсию от советского правительства, но предпочла этому службу и грошовое жалованье в кооперации, а когда компартия в кооперацию прибрала к рукам, она устроилась на службу в Этнографическом музее. Несмотря на свое большевистское прошлое мать Нины и Лели не может найти общего языка со своими дочерьми. Она обвиняет компартию в «каморализме», в «неразборчивости в методах», которые «дискредитируют социализм» и приводят к «шигальевщи-

не». Но ее дочери не читали «Бесов» Достоевского и им «шигалевщина» ничего не говорит. А критика матери приводит к обратным результатам: обе девушки пишут в дневнике, что оне начинают «смертельно ненавидеть интеллигентскую мораль», рассуждения матери кажутся им в лучшем случае «навивным лепетом 50-летних младенцев».

Несмотря на всю разницу в уровне жизни и культуры, есть много общего с матерью Ратниковых у «несогласных граждан» из среды крестьянства и рабочего класса (вспомним старика Тарпова в романе С. Семенова «Наталия Тарпова» 1928 г. или старика Плакущева в «Брусках» 1934 г. Ф. Панферова). И это общее порождает одинаковую реакцию среди противостоящих «несогласным гражданам» сторонников официального единомыслия. Присматриваясь к каждому отдельному случаю, видишь несколько повторяющихся характерных особенностей: «мораль» несогласных граждан коммунисты и особенно молодежь связывают с их прежним, казавшимся нерушимым укладом жизни. Этот прежний быт рассыпался, а значит устарели и должны быть развеяны и нравственные нормы уничтоженного уклада. В противовес старой морали, проникнутой гуманистарным духом, возникает и пользуется широкой поддержкой компартии воинствующий аморализм.

Своего апогея этот воинствующий аморализм достиг в начале тридцатых годов, т. е. в годы первой пятилетки с ее индустриализацией, коллективизацией, расцветом доносительства и террором. И тогда же появились первые признаки какого-то перелома: словно тревожный ветер — так дальше нельзя! — пронесся одновременно на верхах нового общества и в просторах страны. Зародилось опасение: воинствующий аморализм больше всего вредит стабилизации самого нового общества. Косвенно эта тревога вскоре нашла свое отражение в пьесах и романах второй половины тридцатых годов. Впервые за время существования советской власти в художественных произведениях появляются зарисованные с теплой симпатией «несогласные граждане» из дореволюционной интеллигенции (см. образы старого учителя в романе «Третий фронт» 1934 г. Конст. Шубина и врача-земца в пьесе А. Корнейчука «Платон Кречет», 1933 г.). В реальной действительности прототипы этих старомодных интеллигентов, покорные биологическому закону, стали к этому времени уже исчезать.

Но вот что опять характерно для всей психологической атмосферы, в которой формируется официальное общество:

очень скоро советские публицисты выдвинули идею, что новая советская интеллигенция в моральном отношении не только «догнала», но и «перегнала» старую интеллигенцию; «люди сталинской эпохи» являются представителями «советского ренессанса». И в качестве образца в 1940-1941 г.г. они часто ссылались на повесть А. Митрофанова «Ирина Годунова». Ирина — жена талантливого техника-стахановца Александра Годунова. Сама она в прошлом — беспризорница, но об этом прошлом только упоминается, оно не показано; настоящее ничем это прошлое не напоминает: Ирина — студентка Консерватории, выдвинутая за ударную работу на предприятии. Ирина обаятельна, умна, талантлива, изящно одевается, живет в красивой комнате. Так и кажется, что где-то здесь на одной из стен висит картина Ботичелли «Весна». Но звериная и бесправная действительность неожиданно врывается в этот уютный интерьер: на предприятии, где работает Годунов, объявляются «враги» в лице директора и одного из инженеров. Они убивают Годунова. Тут Ирина не только вспоминает свое беспризорное прошлое, но обнаруживает опытность бывалой чекистки и ей удается разоблачить убийц Годунова. Рядом с ней стоит автор и поощрительно замечает: «Таких как Ордынец (убийца Годунова) надо уничтожать деловito и холодно, как уничтожают крыс».

Беллетристика кануна 2-ой мировой войны довольно убедительно показывает, что сходство верхов новой советской интеллигенции со старой обманчиво и ограничивается заимствованием некоторых внешних форм дореволюционной интеллигенции. Но в своей моральной основе эта привилегированная советская интеллигенция полярна дореволюционной и в особенности «несогласным гражданам».

Наряду с этим в беллетристике второй половины тридцатых годов заслуживает внимание появление «несогласных граждан» из числа детей старой интеллигенции и из бывших членов комсомола и компартии; их мне пришлось коснуться в другой связи в статье «Молодежь сороковых годов» (см. «Новый Журнал», кн. XIII, 1946 г.).

В довольно большом количестве и в почетной роли русских патриотов «несогласным гражданам» суждено было появиться в беллетристике первого периода совето-германской войны («Нашествие» Л. Леонова, «Русские люди» К. Симонова, «Странная история» Ал. Толстого и т. д.). Конечно, можно сказать, что появление их произошло не без ведома и благо-

словения литературного начальства. Стоит, однако, вчитаться в «подтекст» этих произведений, чтобы почувствовать что этот «социальный заказ» пришелся на этот раз по сердцу писателям. То, как интимно понятен широкому слою советских современников мир «несогласного гражданина», косвенно обнаруживается в историческом романе С. Бородина «Дмитрий Донской» (1942 г.). В сущности, настоящим героем этого романа является не столько Дмитрий Донской, сколько «несогласный гражданин» той эпохи бывший беглый монах и зодчий Кирилл Борода. Его призвал Дмитрий, когда задумал построить Тайнишскую башню в Кремле с подземным ходом, и обещал хорошо вознаградить. А когда башня была готова, по приказу Дмитрия все строители были тайным путем выведены из Москвы и убиты. Кирилл спасся случайно и с тех пор затаил ненависть против Дмитрия. Но когда разнесся слух о приближении татар, в душе Кирилла возник страстный спор: кому желать победы? Смертельная обида, нанесенная коварным Дмитрием, диктует ему желание увидеть Дмитрия побежденным, чтобы ему «стыдно было перед народом себя показать»; косвенно к этому понуждает еще и сознание, что в случае победы высоко вознесется Дмитрий, «не будет ему никого равного. Будет на устах его ухмылочка»... Кириллу удается совладать с мстительными чувствами, когда его мысль обращается к народу, к тому, что с ним будет в случае поражения, и Кирилл принимает деятельное участие в обороне родной земли...

Недолго суждено было «несогласным гражданам» походить в героях! Как только на фронте наметился перелом, их опять поспешили убрать с авансцены, опять появились рассказы и пьесы («Ленушка» Л. Леонова, «Мать и дочь» Ал. Толстого), в которых «несогласные» подозреваются в симпатиях к «кулакам» и во враждебных чувствах к советской власти. Когда же А. Твардовский в своей «Родине и чужбине» (1947 г.) с симпатией рассказал о «кулаке», до войны отбывшем концлагерь, а во время отступления помогавшем советским людям, попавшим в окружение, добираться до своих, Твардовского упрекнули в «идилическом воспевании старого, отжившего, идущего из тьмы веков»...

Тем не менее «несогласные граждане» не только продолжают существовать в жизни, но и привлекают к себе внимание. Они встречаются в виде эпизодических фигур в большом числе новейших произведений, им отведено видное место в повести К. Симонова «Дым отечества» и в двух нашумевших пьесах

последнего сезона — в «Великой силе» Б. Ромашова и в пьесе «Вопрос чести» А. Штейна.

Уже первое поверхностное знакомство с этими произведениями позволяет установить, что послевоенные «несогласные граждане» только в одном отношении похожи на своих единомышленников из предшествующего периода: в массе своей они принадлежат к старшему поколению. Но это старшее поколение состоит сегодня из людей 50-ти лет и выше, т. е. к началу революции им было около 20 лет. Кое-кто из них был участником 1-ой мировой войны, но воспоминания большинства об этой войне заслонены событиями революции; они тоже хранят в своей душе материаль для сравнения, взятый из дореволюционного прошлого. Но в смысле культурной ценности этот материаль более беден, он больше ограничен семейными воспоминаниями, родственными отношениями и т. д. Всем своим характером этот материаль больше пригоден для бытовых сравнений, чем для идеальных выводов. Это совпадает и с основными устремлениями его обладателей. В отличие от «стариков» двух предыдущих десятилетий советского режима, послевоенный «несогласный гражданин» в основном не мечтатель, он вырос на большом ветру, он привык к внезапностям судьбы, привык бороться за свое существование.

Таков, например, Григорий Фаддеич Кондрашов, инженер-строитель и шурин коммуниста Басаргина в повести К. Симонова «Дым отечества». Очень хороша маленькая подробность в его внешности, о которой писатель считает нужным упомянуть в самом начале: у Кондрашова красное лицо. Ну-да, он вырос на большом ветру! Басаргин не был дома больше трех лет: в 1943 году его из Красной Армии командировали сначала в Западную Европу, потом в Соединенные Штаты. Сидя за обеденным столом и разглядывая Кондрашова, Басаргин находит, что Кондрашов мало изменился. Кондрашов принадлежит к разряду людей, которые знают себе цену. Это сквозит в его движениях, прорывается в его жестах и мимике. В отличие от «мягкотелых интеллигентов» прежних времен, всегда немножко «витавших в эмпиреях» (вспомним профессора Незнамова из романа П. Романова «Товарищ Кисляков»), Кондрашов обеими ногами прочно стоит на земле, он — главный добытчик в семье, любит хорошо и вкусно поесть. С удовольствием оглядывая обеденный стол, он с улыбкой разъясняет Басаргину про себя: «Строитель! То тот, то другой меня вспомнит. Всем нужен. Ехали — видел, какое кругом пепелище?» — «А ты цветешь среди него?» — спросил Басаргин не без яда.

«Цвету? — запальчиво переспросил Григорий Фаддеич, уловив неприязненность в его голосе. — Я не герань. Я на этом пепелище две тысячи домов построил».

Григорий Фаддеич не скрывает, что его успехи связаны с тем, что он не всегда руководствуется официальными инструкциями, у него свой метод: помог ему кто-нибудь раздобыть кровельного железа, он в благодарность ему первому выстроит нужный ему сарай.

Басаргин спрашивает его, а не боится ли он из-за этих «методов» под суд попасть? Нет, Кондрашов не боится. Растирая свои огромные, обветренные и в ссадинах руки, он говорит Басаргину: «Когда работаю, не считаюсь: крана нет, сам бревна поднимаю. А какой я есть, что даю, где беру, пусть носа не суют — прищемлю».

Тем не менее, именно за эти особенности в работе, Кондрашова понизили по службе. Хотя это нисколько не отразилось на материальной стороне его жизни, Кондрашов чувствует себя задетым. Задевает его официальное лицемерие: как все практики, он убежден в том, что, оставаясь в рамках официальных директив, выполнить план немыслимо. Знает он также, что среди коммунистов-хозяйственников, спрашивающих именно «работу», он на хорошем счету. Басаргин возражает, что хорошие строители и в Америке имеются, но советский строитель должен качественно отличаться от американского. Кондрашов желчно спрашивает, что он имеет в виду этим замечанием? «Пережиток капитализма я, да. Или, как это, родимое пятно?» Басаргин подтверждает, что именно это он и имел в виду. Несколько позже, возвращаясь к прерванному в этом месте спору, Басаргин поясняет Кондрашову свою мысль на примере фильма «Ленин в 1918 году». В фильме изображен рабочий-коммунист Василий, посланный в голодный год за хлебом для Москвы. Василию удалось привезти в Москву несколько вагонов хлеба. Войдя в кабинет к Ленину, чтобы сказать, что поручение он выполнил, Василий падает в обморок от истощения. Несмотря на то, что Василий имел дело с хлебом, для себя он не брал ничего сверх положенной по карточке норме. Но этот пример не производит никакого впечатления на Кондрашова: «Ну и глупо» — возразил он Басаргину. Басаргин стал объяснять, что это совсем не глупо, что это тогда было нужно для победы, и теперь нужно: «А сейчас иные люди все силы и душу вложат, чтобы такой эшелон привезти, и привезут, но про то, что им лично, какой бы груз они не везли, всё равно положено только то, что им самим положено, — про это, к

сожалению, забудут». Он хотел было продолжать, но, встретив взгляд Григория Фаддеича, «прочел в нем такое скучающее отвращение ко всем этим высоким словам, что осекся и замолчал».

В рамках настоящей статьи невозможно исчерпать всего содержания этого знаменательного спора «несогласного гражданина» с его коммунистическим оппонентом. Замечание о «коммунистическом оппоненте» — не обмоловка. Когда Симонов задумал писать свою повесть, он носился с идеей разоблачить в лице Кондрашова «пережиток капитализма» и те «родимые пятна» старого, которые «еще» имеются в Советском Союзе. Но, будучи художником, он увлекся живым материем своих наблюдений и не заметил, что Басаргин со своим братом Шуркой только и делают, что произносят высокопарные слова, а Кондрашов работает как вол, восстанавливает разрушения войны, вытягивает большую семью, помогает родным, в том числе жене Басаргина и его матери.

Желая очернить Кондрашова Симонов подробно останавливается на вызывающих тревогу Басаргина взглядах Кондрашова на третью войну. Кондрашов — решительный противник третьей войны и считает, что ее быть не должно, она «не имеет права быть», ее надо избегнуть «любой ценой». Не нравится Басаргину и повышенный интерес Кондрашова к Америке. Басаргин привез ему из Америки в подарок электрический бритвенный прибор. Разглядев подарок, Кондрашов сказал с восхищением: «Вот это культура. Как сделано — чисто, тонко, комар носу не подточит». Прочтя неодобрение в глазах Басаргина, он заметил: «... Ты думаешь обо мне: вот дикарь! Дали ему в руки электрическую бритву, а он уже готово, обрадовался, закричал — культура! А между прочим, так оно и есть — культура, она прежде всего в мелочах обнаруживается. Мелочи — это зеркало культуры»... Конечно, Басаргин с этим несогласен.

При всём этом, в отличие от забитых беспартийных персонажей довоенной беллетристики, Кондрашов не стелется пугливо под ногами «победителей», он чувствует себя «хозяином» своей жизни и даже «с раздражением, смешанным с сочувствием» упрекает Басаргина: «Не умеешь ты быть хозяином своей жизни. Что хотят, то с тобой и делают. Не хозяин».

Но, может быть, самым знаменательным при чтении повести является ощущение, что за Кондрашовым стоят живые, непреклонно работающие люди, а за Басаргиным видны только краснобаи с партбилетом в кармане. Что это чувство возникает

не только у читателей, симпатизирующих «несогласным гражданам», видно из статьи критика И. Рябова «Люди сороковых годов» (в апрельской книжке журнала «Октябрь» за минувший год). Выступая в этой статье против наклеивания писателями «ярлыков» на лбы своих героев, Рябов ссылается на Конст. Симонова: в своей повести «Дым отечества» Симонов не поскупился на ярлыки, инженера-строителя Кондрашова он назвал «и обывателем, и перерожденцем, и врагом даже, а читателю непонятно, почему, собственно, впал строитель-инженер в такую опалу у писателя и у якобы положительных героев его повествования».

Симонов хотел показать, что Кондрашов — одинок в советской жизни. Изучение послевоенной литературы приводит к диаметрально-противоположному выводу: сила Кондрашова в том, что, в отличие от Басаргина, он почвенный человек. И в жизни и в литературе у него много «родственников» в разных группах населения. Ближайшим «родственником» Кондрашова является предисполкома Федор Хохлаков в романе Семена Бабаевского «Кавалер Золотой звезды» (1947-1948). Это пожилой человек, опытный и энергичный администратор, хорошо справившийся с работой в тяжелых условиях войны. Своими успехами Хохлаков обязан своему чувству действительности. И недаром говорит он бывшему фронтовику Савве Остроухову, любителю помечтать о грандиозных планах: «Савва, ты к небу не взлетай, ты держись за землю. А то день и ночь планируешь, а уборку спланировать не можешь». Положение резко меняется с приездом в станицу возвращающегося с фронта Сергея Тутаринова, двадцатипятилетнего сына местного казака-колхозника. Его не удовлетворяют скромные планы, выработанные Хохлаковым. Сперва Хохлаков пытается убедить Сергея, что работа в районе «это тебе не танковая рота, которая знает только одно — вперед», Хохлаков убежден, что у Тутаринова «еще шумит война в голове». Но в конфликте с Тутариновым начальство склоняется на сторону молодого проектора, которого назначают на место Хохлакова. Решающим в отстранении Хохлакова от должности председателя был «либерализм», проявленный им в отношении колхозов: Хохлаков сквозь пальцы смотрел на то, что многие председатели увеличили колхозникам наделы их личных приусадебных участков.

Почти во всех произведениях послевоенной литературы изображена замена новыми людьми руководства, выдвинутого во время войны. Хозяйственники и администраторы,правля-

шиеся с работой в тяжелых условиях военного времени, оказываются «отставшими от жизни» и тянувшими «не вперед, а назад». Вернувшийся с войны секретарь партийного комитета Рогов в пьесе Н. Вирты «Хлеб наш наущный» (1947 г.), обращаясь к председательнице исполкома Твердовой, так и формулирует главное обвинение против нее: «Двадцать лет мы бьемся над тем, чтобы подрезать корни прошлого, а они — нет-нет да покажутся. А ты, Твердова, оживлением их занялась. Не забыла ли ты, что есть на белом свете силы, которые в ножки тебе поклонятся за то, что ты для них Тихого (председателя колхоза из бывших «кулаков» — В. А.) растила... На что вы толкали людей? На то, чтобы подорвать в них веру в наше дело. Кому вы потворствовали? Всяким реакционным силам, которые поднимают голову при первых наших трудностях? Это что же получается, чорт побери! Американские и прочие реакционеры нажимают на нас извне, а вы тут давали поблажки тем, кто нас хочет жать изнутри?»

Реальное положение выглядит гораздо трагичнее: в глубинах страны и в душе «несогласных граждан» ширится и растет ощущение, что «авральные методы» работы, «штурмовщина» практически приводят только к одному, что одно звено «в рекордах ходит» и тысячи «в слезах». Люди устали от темпов, от истерики, от громких слов и вечных скачков. Очень хорошо это ощущение передано в одной сценке в упомянутом романе С. Бабаевского: в станице организовался кружок по изучению электричества; инструктор спрашивает слушателей, какое по их мнению электричество лучше — постоянное или переменное? — «На мое рассуждение, — отзвалась женщина, — лучше, ежели оно постоянное». На вопрос, почему она так думает, тетка Фекла ответила: «Всё, что временно, плохо». Ее поддержал и другой из кружка: «Правильно, тетка Фекла. У нас в то лето временно кинопередвижку строили — и никакого толку из нее не получилось».

Не менее любопытна другая особенность, подслушанная писателями в послевоенной жизни и перенесенная в беллетристику: «несогласные граждане» и стоящие за ними массы беспартийных любят противопоставлять официальным планам свои маленькие житейские дела, которым они часто присваивают ходячие «громкие» лозунги. «У меня своя пятилетка» — говорит Николай Фомич, советский частник, весь товар которого умещается в двух рыжих чемоданах (повесть В. Добровольского «Тroe в серых шинелях», 1948 г.), похлопывая себя по боковому карману, где спрятан кошелек. Прислуши-

ваясь к голосу маленькой дочки, доносящемуся из соседней комнаты, Лена Журина, работающая подавальщицей в горкоме (повесть П. Павленко «Счастье», 1947 г.), тихо замечает: «Вот мой Берлин». Когда герой этой повести полковник Воропаев стыдит мать Лены, что она задумала стать «торговкой» на базаре, она ему смело паририует: «Стыд, милый, не елка — глазам не колко, я всю жизнь мою только и делала, что стыдилась, а что с того? Голая да босая сижу на дочке».

Эти маленькие «пятилетки» и «Берлины», осуществляемые и завоевываемые людьми в тяжелых материальных и моральных условиях, не только кажутся важнее громких и чванливых лозунгов, они оттесняют на задний план официально одобренных героев. Трудом этих миллионов «несогласных граждан» восстанавливаются города, налаживается разоренная войной жизнь. Но всей этой своей трудной бесправной жизнью они горячо голосуют против официального лицемерия о свободной и счастливой жизни.

В. Александрова

16 ОКТЯБРЯ *)

Детка правил машиной не очень уверенно, однако, отчаянно. Не сбавляя скорости на поворотах, он делал бешеные виражи. На одном углу мы насили ускользнули от встречного грузовика, — Детка завернул руль до отказа. На другом перекрестке чуть не изувечили старуху, — Детка притормозил так, что покрышки завиляли на изрытленном асфальте.

— Тише, ты! Как-никак руководствуй машиной! — буркнул я.

Детка, выпрямляя машину, рванувшуюся на сторону, оскалился:

— Не могу руководствовать! Еле в руках держу... вырывается!

Зато мы скоро облетали Москву, побывали в инженерном управлении (Детка тем временем отвез Сосниных), отыскали фабричку. Она находилась в Кутузовской слободе. До войны производила картон, а теперь — противотанковые мины. Делами там вершил военпред, военный представитель, стариократый капитан-сапер. На фабрике работали почти исключительно женщины, и даже у наружных дверей стояла, охраняя проходную, круглоголовая деваха с винтовкой и в красноармейской стеганой телогрейке.

В крохотной застекленной клетушке, служившей военпреду кабинетом и спальней, стояли кровать, застланная плащпалаткой поверх одеяла, стол и в углу — покатая, сколоченная из досок горка, на которой были выставлены мины. Не входя, мы с Юхновым глядели на нехитрое убранство конторки, пока вахтер ходил с нашими документами к военпреду в цеха. В конце полутемного коридора, разгороженного на такие же клетушки, освещенного тусклой желтой лампочкой, поминутно открывалась и закрывалась дверь, — там, дальше, были цеха, оттуда несло приторно-сладковатым запахом смол, древесных стружек.

Вахтер толкнул изнутри дверь, скрипящую блоками и,

*) См. 20-ю книгу «Нового Журнала».

придерживая ее рукой, пропустил военпреда вперед себя в коридор. Военпред увалисто подошел к нам, держа в руках наши документы. Крестьянский облик лежал на нем, на его простом лице с белесыми, выгоревшими от солнца усами Прикрытые выпуклыми надбровными дугами глубоко сидели умные, по-мужицки хитроватые глаза.

— Из Шестнадцатой армии?

Военпред недоверчиво сощурился.

— Из Шестнадцатой, товарищ капитан, — ответил я, различив на воротничке военпреда вкось прикрепленную зеленую фронтовую шпалу.

— Не капитан, военинженер третьего ранга, — поправил он. — Бровь, похожая на пшеничный колос, поползла кверху и обнажила серый глаз, другой щурился, окруженный черствыми излучинками. — А что это я подпись не разберу на вашем документе?

— Подполковник Бурков подписал, начальник инженерного отдела штаба армии.

— А-а, помню, помню. Приезжал сюда. Такой низенький, чернявый.

— Простите, товарищ военинженер, вы его с кем-то путаете. Он, наоборот, такой, что я ему подмышку головой достану. И не чернявый, а блондин.

— Тыфу ты, чорт! И верно, спутал! Теперь припоминаю, припоминаю . . .

Открылся и другой глаз, излучинки сгладились. Отдал документы, коснулся рукой кончика уса, улыбнулся дружелюбно.

— Так что же вам . . . мины?

— Три тысячи, товарищ военинженер. Мы ездили в Хрустальный переулок, там нам обещали транспорт к вечеру, как только автобат из рейса вернется. Велели ехать сюда и заранее подготовить всё для погрузки.

— А вы на них не надейтесь, — наставительно сказал военпред. — Обещать-то они обещают, да ведь не вы одни, кому-нибудь другому тоже транспорт требуется. Надо было одному из вас там остаться и не слезать с них, — машины придут, сразу захватывать. Вас трое? Пусть один возвращается в Хрустальный, один остается здесь — готовить материал к погрузке, а третий . . . вы на машине? вот хорошо!.. третий сгоняет за капсюлями для мин. Капсюли у нас в другом месте. Я сейчас ордер напишу.

Детка поехал за капсюлями. Юсов — в Хрустальный пере-

улок. Я остался на фабрике. Военпред провел меня в свою кабинетную и показал образцы противотанковых мин, которые вырабатывала картонная фабрика.

— Б-5, бумажная пятикилограммовая, — сказал он, передавая мне в руки круглую картонную коробку, пропитанную водонепроницаемой смолистой смесью. Нутро коробки, напоминавшей многократно увеличенную аптечную облатку, было залито плавленым толом.

Военпред был наблюдателем. Тотчас заметил, что мина Б-5 не произвела на меня впечатления.

— Не нравится?

— Громоздкая, товарищ военинженер. Иногда приходится, знаете ли, минировать под обстрелом, особенно закапывать некогда. Отодрал пласт дерна, сунул под него мину и дальше, — мина должна быть плоская. Такую Б-5 не вдруг подсунешь, а и подсунешь — останется бугор, издалека видать, что мина. Нет маскировки, скрытности. В переноске неудобная, ручек нет, таскай в обхват. Капсюльное отверстие одно, второго — потайного — капсюля не вставить, — немец подползет, разминирует ее в два счета. Вы простите, товарищ военинженер, может, я не имею права наводить такую критику?

— Нет, вы молодец! — засмеялся военпред. — Дело знаете. Это я люблю. Немецкую Т-У видали? Плоская, с ручками, вставляй хоть три капсюля — сверху, в ребро и с донышка. Хороша? Ну, чего губы тянете, признавайтесь!

— Очень уж тяжела... Капсюль такая бабаха медная... ни к чему!

— А я скажу... хороша! — оживился военпред. — Недостатки есть, но всё-таки мина как мина. Не наша кустарница! Взгляните на эту уродину. ЦМ, так называемая «цилиндрическая мина».

Подставив ладонь, я принял обрубок чугунной трубы, запаянной на концах и так же залитый плавленым взрывчатым веществом. История цилиндрической мины была курьезна: на одном из московских заводов обнаружили большой запас труб, подготовленных для водопровода и канализации. Пустили трубы в дело — родился новый тип мины. Цилиндрическая мина была мало действенна и крайне неудобна в обращении.

— Насчет действия, куда ни шло, — сказал военпред. — Важно то, что цилиндрическую мину будут выпускать, пока не кончатся на заводе трубы. Кончатся трубы, попадется другой случайный матерьял, начнут лепить другой тип мины. На фронте саперам — путаница. Курсанты не в счет — народ

грамотный, быстро освоитесь с новой миной. А рядовой сапер? Дорого нам обойдется кустарщина.

Инженерные войска Красной армии в начале войны были вооружены убого. В сравнении с нами, немцы были богачи. Напр., они имели стандартные комплекты полевых укреплений. Как только танки пробивали брешь и пехота захватывала позицию, подбрасывались каркасы огневых точек, готовые коля для проволочных заграждений, большей частью железные, прилагались даже изготовленные фабричным способом таблички: «форзихт — минен», «осторожно — мины». Немецкие мины были сделаны не из случайного материала, отличались замысловатостью, иногда излишней, и большой убойной силой, широким радиусом действия. ШрапNELЬНАЯ пехотная выбрасывала от земли металлический, начиненный шрапнелью стакан, который рвался в воздухе на уровне груди, шрапнель ранила бойцов на значительном расстоянии; капсюли эта мина имела трех сортов — нажимной, натяжной и терочного действия. Каждый немец имел малую лопатку, которая при надобности могла употребляться, как мотыга; носилась она в черном чехле великолепной кожи. А в нашей армии... Никаких готовых комплектов для полевой фортификации. Нехватка малых лопат — бойцы гибли от того, что нечем было окапываться на поле боя. Подрывники нуждались в таких пустяках, как обжимы (инструмент, необходимый при изготовлении зажигательных трубок). Мины ЦМ и Б-5 были символами нашего убожества.

Встретившись с человеком, близко стоявшим к производству воинского инженерного оборудования, и, видать, неглупым, я осмелился спросить:

— Почему же такая кустарщина ввойской инженерии? Ведь теперь, при обороне, инженерные войска — фортификаторы, подрывники, минеры — имеют значение первостепенное, может быть, даже решающее.

Военпред не ответил. Он присел на кровать и молча, с напряженно-собранным лицом, начал свертывать папироску. На кровати поверх одеяла была накинута плащ-палатка, побывавшая под дождями и утратившая яркость зеленои окраски.

— На каком фронте воевали, товарищ военинженер?

— А вы откуда знаете, что воевал?

— Фронтовика всегда отличишь... Вот и плащ-палатка у вас поношенная.

— На Северо-Западном направлении. В Новгороде получил тяжелое ранение. Вышел из госпиталя, влип в военпреды.

Истинно влип, как кур во щи. Ведь я техник-строитель, в Литве на рубеже работал, а теперь вот попал на фабрику.

Помолчал, затянулся папиросой. Опять недоверчиво сощурился на меня. Набрал в свою высоко поднятую грудь табачного дыма и, выпускав его, сказал со вздохом:

— Да-а... Литва-Литва... В Литве нас война накрыла.

Недоверие его таяло, как струйка табачного дыма, запутавшаяся под навесом белесых усов. Воспоминания первых дней войны нахлынули на военпреда.

— Были денечки! Ведь я и под Иелгавой участвовал...

— Второй раз про Иелгаву слышу. Бой на кладбище?

— Двухдневный бой!

Военпред оживился. Брови взлетели, он как-то смешно замигал, повидимому, разгоняя ударами ресниц щекотку, возникшую в углах глаз.

— По случайности попал я в Иелгаву... Наш уэнэс¹⁾ строил оборонительный рубеж на границе, на берегу Немана, там, где он переходит в Восточную Пруссию. В субботу 21 июня меня командировали в Паневеж. В лесу около Паневежа уже месяц... пожалуй, даже больше месяца... находился на полевом капэ²⁾ штаб ПрибОВО³⁾, проще говоря, штаб Северо-Западного направления, потому что наши войска стояли на боевой ноге и все мы ждали, что вот-вот выступим на территорию Германии. Побывал я в Паневеже, возвращаюсь обратно, и вот — война! Не мы выступили на ихнюю территорию, а они — на нашу, такая заварилась каша. Нечего и думать искать уэнэс, там, где мы стояли, уже немцы. Всякая связь потеряна. А что-то делать надо. Правда, я нестроевой, давно в запасе, от гражданской войны за винтовочку не держался. Ну, а всё-таки, думаю, как же так... немцы! Прибрёлся к одному полку, даже номера не знаю, кажется, 830-й дивизии. Дивизия боевая! Народ молодой, бойцы отборные. Возле Иелгавы есть большое кладбище, там дивизия и залегла. В

¹⁾ УНС — Управление Начальника Строительства — название полувоенных организаций, которые были созданы перед войной для возведения оборонительных сооружений на новых границах в Литве, Западной Белоруссии и Украине. Командный состав в УНС-ах был военный, рабочая сила — колхозники.

²⁾ КП — командный пункт.

³⁾ ПрибОВО — Прибалтийский Особый Военный Округ. Штаб округа располагался в Риге, но в апреле 1941 года переведен на фронтовое положение в леса Паневежа.

проходах между могилами, — представляете, среди мрамора и гранита, — вырыли стрелковые ячейки. Круговую оборону заняли. Держались истинно геройски. Кровью истекли, а не сдали позицию. Наша авиация, надо прямо сказать, подкачала, не прикрыла с воздуха. Понятное дело — «Юнкеры» задавили нас. Мрамор и гранит с землей смешали. Мало кто с этого кладбища выбрался. Меня и пуля царапнула там, и оглушило бомбой, землей засыпало. Очнулся, кругом мертвяки лежат, из могил гробы взрывами поворачивало, белые кости торчат. Тяжело раненые стонут, дух отдают. Немецкие солдаты ходят — грабят и докалывают. Притаился я, а ночью выбрался. Лесами, овражками — попал к своим. Тогда Одннадцатая армия из окружения лесами выходила, — на нее и наткнулся.

Военпред затянулся, обжигая губы, и притушил дрогревшую папиросу о подошву сапога. Поднялся с кровати, хрустнув простуженными коленями.

— Да-а... Войну-то мы собирались вести на чужой территории, а пришлось вот обронять Москву... Так какие же вам дать мины? Вы просите ЯМ-5? Три тысячи я не наберу. Наша фабрика выпускает, в основном, Б-5, картонные. ЯМ-5 вырабатываем сверх положенного, в деревообделочном цеху.

— ЯМ-5, побольше, сколько наберете, — попросил я.

ЯМ-5, ящик минный пятикилограммовый, — плоский, продолговатый, сколоченный из досок, — был лучшим типом противотанковой мины в том потоке кустарницы, самодельщины, которым наводнялись наши войска.

— Сколько наберу, всё ваше, — пообещал военпред и пошел распорядиться о подготовке к погрузке.

«Приятный» — подумал я, глядя вслед военпреду, на его увалистую походку, несколько сгорблленные покатые плечи. Так ходят за плугом... На ходу, за стеклянной перегородкой, он оглянулся и кивнул мне, — мелькнули пучки усов, раздувавшихся на простом мужицком лице. В деревнях встречаются служивые солдаты, которые бреют щеки до старости, давая волю лишь усам. Почему-то таким мне представился отец военпреда. Он был несомненно сыном пахаря и солдата.

Несколько минут спустя присланная военпредом работница повела меня в склад. На платформе мы распахнули брезенты. Пристутили к укладке мин, отдельными партиями для каждого грузовика. Помогавшие мне работницы стояли цепочкой от темных глубин склада до платформы. В цехах гудело, пыхало, взвизгивало, скрежетало, — и там шла налаженная работа.

Как будто фабрички и не коснулись события, какие происходили в этот день в Москве.

— Директор-то ваш где? — спросил я.

Работницы переглянулись, смеясь.

— А мы его арестовали.

— Как это... вы?

— Вот так... мы! Женщины, которые тут, при складе.

Говорила работница, укладывавшая на платформе мины. Она приостановилась и разогнула спину. Блеснула смеющимися глазами:

— Которые в цехах работают, те что видят? Взаперти! А нам и двор, и улица, как на картине. Мы первые заметили: подъехала машина, остановилась в переулке у забора. Директор с кассиром — в контору: деньги вынимать из кассы. Вчера бы вынули, да, верно, не гадали, что на утро такие дела по Москве начнутся. На машине — вешицы, женушки, детишки. Парамонов... секретарь парткома... сидел-сидел, да тоже вслед кассиру: испугался, как бы его деньгами не обошли. Тут мы их и забастовали! Как они вынесли чемодан с денежками к машине — подняли крик, окружили. Они, понятно, отбиваться, ну, наши из цехов повыскакивали. В деревообделочном — столяра, хоть и старики, а все мужчины. Ухватили бегунов, поволокли в контору. А тут и наш Иван Тимофеевич, военпред, подъехал, — он эту ночь ночевал в Москве. Позвонил, куда надо, — забрали, конечно, голубчиков.

Рассказчица была кругленькая, как куропатка, в синем халате, туго перетянутом кожаным ремешком, — бойчее других и моложе. Тонкий румянец красил ее лицо.

— Не оберешься смеху! Парамонова тянут, и коленкой, коленкой под задницу. Кричат: — На фронт его! На фронт отправить! Потеха...

— Хороша потеха! — холодновато сказала пожилая работница с отечными желтыми щеками. — Ты думаешь, их мало, Парамоновых? На каждой фабрике есть свой секретарь парткома. Всё дымом пустят, доведут до точки. Плакать надо, а тебе все хаханьки.

К платформе подошел военпред. В пониклых прокуренных усах таилась улыбка, вызванная донесшимся до него обрывком разговора. В события 16 октября он не вмешивался: передал арестованных приехавшему из Наркомвнудела представителю и тем положил конец делу. Не произносил речей, не агитировал. Он и не мастер был на речи, и не нужны они были народу. Характерно, что и представители НКВД ограничивались только

изъятием арестованных: не начинали следствия о «беспорядках», не приступали к рабочим с допросами. На улицах истребительные отряды свирепо разгоняли сбираща, но на заводах наркомвнудельцы действовали тихо, осторожно, не раздражая народ, как бы предоставляя события самим себе. Исход дня показал, что это была наилучшая тактика. По заводам и фабрикам сама собою восстанавливалась работа. Народ чутьем понял, что в войне ему не на кого надеяться, — только на самого себя. Простые люди почувствовали, что если они не спасут Россию, — ее не спасет никто. Повсюду без агитации — без парткомчиков, без профсоюзников — приступали к работе.

— ЯМ-5 все выбрали? Подсчитали? — спросил военпред.

— Все, товарищ военинженер, — ответил я. — Восемьсот штук с небольшим.

— Это уже кое-что... Вы не обедали? Пойдемте.

Столовая помещалась в соседнем здании на втором этаже. В комнате для «итэров», инженерно-технических работников, отделенной тесовой перегородкой, стояли квадратные столики, в отличие от длинных и грубых столов общей обеденной залы. Топорицлась пружинами ветхая кушетка. Военпред бросил фуражку на рогач вешалки и повалился на кушетку, ударяя кулаком по бунтующейся пружине.

— Ну, так как оно там у вас, под Волоколамском? Рассказывайте.

Под пшеничными бровями засветилась голубоватая белизна.

— Так же, как и тут у вас, в Москве.

Военпред улыбнулся и легонько похлопал ладонью повалику кушетки.

— Тогда, значит, всё в порядке.

— Ничего себе, порядок! — не удержался я. — Это в Москве-то сегодня?

— А что сегодня? — притворился военпред. Веерочком собрались в углах глаз хитроватые морщинки. — Ничего, работаем...

— Да ведь на улицах почти бунты. Утром и у вас на фабрике...

— Пустяки-и! Поверьте моему слову, пустяки. Только теперь-то и начнется настоящая работа. Бунты... это же было бы смерти подобно. Кому это выгодно? Кто, вы думаете, сеет сегодня панику?

— А вот... Парамонов... мне ваши работницы рассказывали.

— Положим... Но и немецкие агенты! Паникеров уничтожать на месте. Такой дан приказ — расстреливать на улице, на тротуаре. И я подписываюсь — правильно!

— Правильно-то оно правильно, да ведь народ... всех не расстреляешь. На Ламе мне пришлось видеть бойцов — бредут и бредут. Без шапок, шинели нараспашку. Винтовку редко-редко у кого увидишь — побросали. А прислушаться, что говорят: — Народ разве удержишь? Народ удержать нельзя... Вот что говорят!

Желтоватые остистые брови военпреда сошлись вкругую, лицо окрасилось багрянцем, подпухло. Он поставил ладонь ребром и рубанул по красненьким цветочкам на обивке валика.

— Нельзя! Народ не удержишь, если он сам себя не удержит. Народ, это такая штука с подковыркой... не поймешь в нем, что к чему. На вид, в Москве сегодня плохо дело: к великому беспорядку. А я даю голову на отсечение — наоборот, к порядку.

Над крышей столовой промахнулся самолет. Военпред откинулся и посмотрел в окно, прислушался, как убывает рев удаляющихся моторов.

— Пешка, — сказал он и уставился в потолок, словно еще ждал самолета. — Хорошая машина. Одна пошла. Должно быть, на разведку.

Помолчал. Усмехнулся каким-то своим мыслям. Накрутил на палец ус и дернул слегка.

— Пешка... полетает-полетает, высмотрит, что надо. Под брюхом у нее фото-аппарат пристроен, лента движется. На фотографии видать, как на ладони: где немцы накапливаются, откуда ждать удара. А разведка-то, может, другая нужна... не на той стороне, а на этой, в своем народе. Бес его знает, к порядку оно или к беспорядку? К победе или плохому концу?

— Такой машины не придумано, чтобы в душе у народа высматривать, — сказал я. — Темная душа, скрытная. Народ безмолвствует — верно это на все времена, и для семнадцатого века, и для двадцатого. Безмолвствует... и никто не знает, о чем он думает.

Наблюдательный остроглазый военпред прищурился. Наш разговор поворачивался такой стороной, которая не поддавалась ни его, ни моей зоркости. Однако, по тому, как подрагивали его усы и барабанили пальцы по кушетке, я заметил, что военпреду было интересно продолжать беседу. Тем более, что в столовую мы опоздали — повариха подтапливала плиту, разогревала остатки обеда.

— А ни о чем не думает, — сказал военпред почему-то весело. — Не знаю, какого рода вы, а я — крестьянского. О чем думал мой отец? Весной, к примеру, выйдет в поле, возвьмет комочек земли, разотрет в ладонях: — Подоспела землица, пора пахать. Народу одна дума: пахать, волочить, сеять... политикой никогда заниматься. Политика, лозунги, призывы, пропаганда — всё это народу ноль без палочки. Пропаганда скользит по поверхности, не достает до dna. Dно-то у нашего народа глубокое, большая толща. Наверху волны бушуют, набегают одна на другую, сталкиваются и разбиваются... идеи, мысли, течения. А внизу «мысля» простая: в мирное время — работай, в военное — воюй.

— Насчет «воюй»... это как сказать! Не очень! — возразил я. — Вы спрашивали, как оно у нас там под Волоколамском? Простите, отвечу прямо: разброд! форменный разброд! Какая, к чорту, победа!

— Не говорите так, не говорите. Ничего неведомо и никакой разведки произвести нельзя.

Пропасть лежала между партией и военпредом, членом партии. Военпред, конечно, изучал и «Краткий курс истории ВКП(б)», и «Вопросы ленинизма» Сталина, имел тетрадку с конспектами, выступал на семинарах и теоретических конференциях, но... всё это была поверхность, вершки. Корнями он держался в народной толще и потому, сам того не сознавая, думал не так, как предписывали марксистские тезисы. В представлении марксистов народ не что иное, как известное количество рабочих рук, контингент людей, принадлежащих к определенным, классифицированным и тарифицированным, профессиям. Двести миллионов людей, населяющих пространства от Белого моря до Черного, от пинских болот до чукотской тундры, не рассматривались большевиками иначе, как резервуар людской силы, необходимой для выполнения пятилетних планов. Но имелись и в партии люди, которые были ей органически чужды. Они питались глубинными соками, прикасались к живому началу — народной душе. В октябре 1941 года они почувствовали, что спасение России придет не от Сталина, не от большевизма, — от народа. Всё зависело от одного: насколько глубоко вошли в толщу народа язы болшевизма; насколько исказилась под влиянием большевизма национальная сущность народа; насколько ослабли в народе те психологические рефлексы, которые вырабатывались в нем за тысячелетнюю его историю. Не ослабли, найдется народ в послед-

нюю минуту, обретет сознание, произойдет в народе внезапная реакция, — спасена Россия! Нет, — пропала!

— Заждались, — сказала подавальщица, неся на деревянном подносе тарелки, в которых плескалась заправленная капустой водица. — Куда вам поставить? За какой столик сядете?

— Сюда, к окошку, — поднялся военпред.

За переплетом рамы виднелась полоса Можайского шоссе, дома Кутузовской слободы и громадные серые Триумфальные ворота, сооруженные в честь героев Отечественной войны 1812 года. По шоссе — к Москве и к Филям, деревне, примыкавшей вплотную к слободе, — катили грузовики, легковушки. В потоке прикрытых брезентом газиков⁴), остроносых, забрызганных грязью эмок попадались тупорылые осадистые многоместные машины «ЗИС-101» новой модели. На Можайском шоссе, в районе Барвихи-Жуковки, в те дни располагался штаб Западного фронта.

Военпред, собирая ложкой капустные лепестки, прилипшие к щербатому краю тарелки, сказал:

— Жуков или, скажем, наш командующий, Рокоссовский, вы думаете они знают, чем всё это кончится? Ничего не знают! На Ламе какой рубеж построили — оставили. Теперь наспех строят узел обороны в Истре, на озерах. А я так думаю... если в народе, в сердце солдата, не воздвигнута позиция, то на земле хоть какую строй, крепкую-распрокрепкую, — не поможет!

— Странно вы рассуждаете, товарищ военинженер! Отступать дальше некуда, докатились до точки, до самой Москвы. А в народе... когда же она, эта позиция, воздвигнется?

— Воздвигнется, непременно воздвигнется, — убежденно сказал военпред. — Докатились до точки... должно было докатиться! А, может, сегодня как раз и воздвигнется! Не верю, и ни за что не поверю, чтобы народ так и оставил войну, поддался бы немцу. Наша нация... она какая? Мы же от века солдаты! Дед мой на Турецкую ходил, на Шипку лазил. Отец германскую отвоевал, под Эрзерумом сражался, полный бант крестов имеет. Народ военный. Нас голыми руками не бери — уколешься.

Из-под выпуклых надбровных дуг он смотрел за окно на Триумфальные ворота. Катили машины на фронт и с фронта.

4) «Газик», «Эмка» — легковые машины производства Горьковского автомобильного завода ((ГАЗ)).

Каменные скрещенные флаги 1812 года осеняли Можайское шоссе, опять ставшее фронтовой дорогой.

* *

Приготовив к погрузке мины, я по совету военпреда — как старший группы — отправился помогать Юсову добывать машины. Хрустальный переулок, где помещалось Главное инженерное управление Красной армии, был запружен грузовиками, легковушками, мотоциклетами. Из полууты ворот — длинного сводчатого туннеля — выбегали офицеры связи, разъезжавшиеся отсюда во все концы трехтысячеверстного фронта. В кабинете ОД — оперативного дежурного — я увидел командиров в полушибаках с белыми пушистыми воротниками, прибывших с Северного фронта. Капитан в драной-предраной пинели, только-что прилетевший с юга, рассказывал, что утром сегодня противник овладел последними кварталами Одессы. Другой передавал, что завтра-послезавтра следует ожидать падения Таганрога.

— Товарищи курсанты, — недовольно нахмурился Оперативный, когда мы с Юхновым подошли к столу, — вам человеческим языком было сказано: транспорт под ваше хозяйство получите вечером. Что вы опять пришли? Беспокоитесь? А чего? Не беспокойтесь, генерал-майор Котляр приказал для Шестнадцатой армии отгрузить в первую очередь. Идите, гуляйте, смотрите Москву... Да вы москвичи?! Э-эх вы! К женам, к женам ступайте! Штыковым боем подзаймитесь с ними! Отпускаю вас до восьми вечера.

Оперативный с чувством ударил в ладонь кулаком и ухмыльнулся. Юхнов в тон шутке откозырял:

— Есть заняться штыковым боем! Незадача только... моя жена в эвакуацию уехала. А твоя родня, Коряков?

Юхнов еще утром, пока я толкался на Курском вокзале, разузнал все московские новости. Наменял гравенников и влез в телефонную будку на полчаса. Обзвонил всех знакомых и дознался, что жена эвакуировалась в Тифлис, куда уехали Кончаловские и многие другие московские художники.

Мне же не посчастливилось: сколько я ни звонил — из уличных автоматов и от военпреда — никто не отвечал. Только в одном месте подошла к телефону старушка, прошамкала что-то невразумительное. Даша Лычкова, студентка московского университета, девушка, которая мне была, как сестра, давно собиралась с университетом в эвакуацию, в Ашхабад.

Между тем, старушка передала, что она вовсе никуда не уехала, а поступила в госпиталь, — в какой именно госпиталь, старушка не знала. «Миша, вы позвоните вечером, Дашиуну вам будет очень рада, а у меня на кухне молоко горит», — прокричала старуха, и я в сердцах, с замороченной головой, повесил трубку.

Отпуск до восьми вечера... куда итти? Возвращаться на картонную фабрику? Незачем, достаточно позвонить и сказать, когда пригоним машины. Юхнов предложил:

— На Кузнецком мосту — мастерская Всекохудожника. Пойдем туда. Наверняка застанем кого-нибудь из приятелей.

Хрустальный переулок был в центре Ильинки. Квартал этот мало изменился после революции, его почти не перестраивали. Как и прежде, стояли здания бывших банковских контор, толстые сплошные стены товарных складов. Белые облупленные львы караулили подъезды, старинные ворота. Богатейший квартал, московское Сити. К кованым шиповатым воротам воображение подставляло сторожей в пахучих жарких овчинах, к подъездам — рысаков, запряженных в легковые санки, купцов в просторных бородах и поддевках. Из дали минувших лет пахнуло особым воздухом Ильинки, смесью запахов, сочившихся из складских помещений, в которых хранились ивановские и тверские ситцы, восточные пряности, цветные смолы и москательные специи, бесценные древесные породы, туркменская каракульча. Неисчислимыми богатствами ворочала в струину Ильинка! Немеркнущее золото кремлевских башенных орлов сияло над нею, и была она вещественным воплощением русской силы и русской гордости.

Картина, которую создавало воображение, была навеяна полотнами старых художников. Ни мне, сибиряку, ни Юхнову старая Москва была неведома. Юхнов вырос на севере, в ставроверческом Каргополе, выбрался оттуда в двадцатом году, когда Москва кишила мейющими, беспризорниками, кожанными комиссарскими тужурками и совслужащими в протертых пальтишечках. Ходил он в лохматой волчьей куртке и под выпуклым лбом вынашивал лохматые мысли о жизни, искусстве. Учился во Вхутемасе, Высших художественно-технических мастерских, бывшей Школе живописи, ваяния и зодчества. Новая эпоха изгоняла такие слова, как «ваяние», «зодчество» — в них чудилось колдовство, ворожба, идеалистическая зараза. Не говорили: «Н. Н. пишет картину», — нет, «делает» картину. Делать картины, делать книги... художники, поэты стояли в шеренге каменщиков, ткачей, штукатуров

— строителей социализма. Поэты стыдились называться поэтами, и наиболее талантливый из них, изо дня в день рифмую партийные лозунги, гордился: «я — ассенизатор и водовоз, революцией мобилизованный». Круглыми глазками Юхнов всверливался в кипень новой жизни, чутье подсказывало, что всё это — пена, выплывшая наверх пустяки. Ниспровергнув всё на свете, ниспровергатели приближались к последнему ниспровержению — самих себя. Так случилось с поэтом-ассенизатором: он ставил *«nihil»* надо всем и, наконец, поставил *«nihil»* и над собственной жизнью — «точку пули в своем конце». Когда-то должна была покончить самоубийством и вся новая — ленинско-сталинская — эпоха.

Юхнов не прилепился к футуристам: не строил абстрактных деревянных конструкций à la Татлин, не клеил на полотна клочки шерсти, тряпочки и ржавые подковы. Не пристал и к ахровцам⁵): не соблазнялся делегатками в красных платочках, ни матросами в черных бушлатах, опутанных пулеметными лентами. Душой он прирос к олонецким изумрудным озерам, к нерубленой синеве лесов — колыбели детства. Край тот был сказочный, былинный. Былинным эпосом веяло и от картин Юхнова. Леса так леса — темные от земли до неба; озеро — как море, покрытое белыми гребешками; солнце рядит в золото сыпучие снега. Леса живут непрестанным и медленным круговоротом: из поверженных полусгнивших стволов выбиваются новые поколения, могила одних служит другим колыбелью. Так жили и люди в олонецкой стороне. Юхнов написал картины *«Отец и сын»* — оба крепкие, как лесные корни. Сын был бородат, как отец, имел такие же тяжелые и строгие глаза, будто выточенные из черного камня. Художник давал почувствовать: сын, хоть убей его, не отступится от отцовской веры, передающейся из сердца в сердце, из века в век — целое тысячелетие. Критика, признавая формальные достоинства картины, охаивала ее *«миривоззренческих»*, клеймила автора, так непростительно затянувшего «идейную перестройку». Комиссия по закупке картин для музеев систематически отклоняла полотна Юхнова. Он вынужден был тратить жизнь на магазинные рекламы, работать на... директора *«Союзплодоовоши»*.

Третьяковская галерея, не говоря уже о провинциальных музеях, заполнялась портретами Сталина и других окружавших его полубогов. Предприимчивые портретисты богатели, получали ордена, строили пышные дачи. Так сделал карьеру

⁵⁾ АХР — Ассоциация художников революции.

Александр Герасимов. Не более десяти лет назад он приходил в продранном пиджачишке в столовую Товарищества художников и занимал трешницу на обед: под будущие гонорары. В тридцатом году ему пришла идея: писать вождей. Написал картину — «Сталин на трибуне XVI партсъезда». Пошел в гору. Теперь он делал только портреты Сталина, иногда — в придачу — портрет сталинской фаворитки, одетой в кружевые пачки и приподнявшейся на пуанты. Александр Герасимов стал «Народным художником СССР», «лауреатом сталинской премии»... миллионы в банке, повара и лакеи, четыре автомобиля.

Иной раз с портретами вождей происходили забавные казусы. Художник Налбандян написал портрет Лазаря Кагановича, наркома железнодорожного транспорта. Не с натуры — по фотографической карточке. Притащив холст в приемную наркома, художник попросил Кагановича, проходившего мимо, взглянуть на портрет и чёркнуть на листке из блок-нота: «Не возражаю, чтобы работа тов. Налбандяна была помещена в Третьяковскую галлерею». Но портрет был написан плохо. Критик Осип Бескин, председатель закупочной комиссии, разошелся: анатомические детали не выверены, освещение взято неверно, перспективаискажена... не годится даже для провинциального рабочего клуба, не то, что для Третьяковки. Тогда-то Набалдян и объявил свой козырь. Положив на стол листок из именного блок-нота наркома, он спросил не без ехидства:

— Лазарь Моисеевич, значит, меньше вашего понимает в искусстве?

Конфуз, полный конфуз! Критики, не сходя с места, перестроились: в портрете нашли несуществующие достоинства, Налбандяна расхвалили, как растущего, чрезвычайно талантливого художника. Налбандян, как и Герасимов, разбогател, полез на верхушку.

В Москве тем временем жили и работали живописцы, которых не влекла верхушка, — их очаровывали глубины. Был один из них — с дарованием гения и сурвостью монаха-чертенца. Быть может, в мировой современной живописи нет другого такого мастера — по совершенству рисунка, чувству формы и, главное, по тому внутреннему зрению, которое только и отличает великого художника от посредственности. Живописец этот не мастерил портретов вождей — он писал Русь. Не украшали его орденами, не богател он на «сталинских премиях», не носил звания «Народного художника СССР», но был

народным художником по существу, певцом души народной. Картины его оставались в мастерской, но должно же, должно было притти время объявиться душе народа. Юхнов, почитавший его, как учителя, неотступно думал о том дне, когда рухнут кремлевские полубоги, разлетится, как пена под ветром, окружающая их шушера и выйдет на свет настоящая — почвенная, глубинная — правда. Правда народа, который 1000-летним опытом обогатил свою душу, выработал свои обычай, нравы, традиции, построил — бревно к бревну, камень к камню, копейка к копейке — большой и богатый дом — Россию!

... Истребительные отряды очистили улицы столицы. Под вечер, когда мы шли от Ильинки на Кузнецкий мост, Москва — по крайней мере, в центре — была уже тиха, безлюдна. Ветер гнал по улицам бумажный мусор — обрывки плакатов, лозунгов, возвзаний. На панелях, под окнами, валялись разломченные книги. Книги эти были напечатаны миллионными тиражами, — теперь в них никто не нуждался. Большевистская пропаганда напоминала большую и шумную ярмарку: марксистские идеи распространялись по дешевке — всем! всем! всем! Широко распространенные, эти идеи, концепции, принципы, лозунги и призывы отныне не имели цены, как банковские билеты в период инфляции. То было величайшее банкротство — идеальное банкротство большевизма. Отрицатели отрицали самих себя. Дворники, подметавшие мусор, находили партийные и комсомольские билеты, из которых были вырваны фотографические карточки и листки, обозначавшие владельца.

Шагая под горку по Кузнецкому мосту, Юхнов предвосхищал удовольствие: сейчас он расскажет приятелям про директора «Союзплодоовощи». В мастерской Всеокондожника было, однако, не до разговоров: там шла горячая работа. На столах и на полу были разостланы темно-красные бархатные полотнища. Юхнов заметил приятеля. Он стоял на четвереньках и, нагнув побагровевшую, в седых лохмах, голову, выводил кистью на бархате золотые слова:

За Родину! За Сталина!

Юхнов тронул его за плечо. Тот вскочил, обрадовался.

— Николай Федорыч! Всёоешь?

— Воюю, скоро победим... — невесело улыбнулся Юхнов. — А ты?

Приятель поскреб пятнистыми позолоченными пальцами грязно-серую щетину на невыбритой щеке.

— У нас аврал. Другие сутки не спим, со знаменами мудохаемся.

Караул, ребята! — крикнул с лесенки толстый, как шарик, директор Всекохудожника. — Щербаков звонил по телефону, едет за знаменами.

Подбежал к Юхнову, толчком сунул маленькую руку.

— Николай Федорыч, ты тут народ, пожалуйста, не отвлекай. Понимаешь, запурхались мы, запурхались. Позавчера приехали из наркомата обороны, привезли бархат — на тридцать знамен. Не простые знамена, с рисунками. И чтобы через день было готово. Да что вы, помилуйте, где я художников наберу на такую работу? — Приказ товарища Щербакова... понятно? — А теперь звонит, вот-вот сам приедет.

То были первые гвардейские знамена, предназначавшиеся для минометных частей, вооруженных «катюшами». Изобретение Костикова тогда только-только входило в действие: механизм, смонтированный на грузовой машине и мечущий — по наклонно приподнятым рельсам — реактивные снаряды. Официальное название «катюш» — гвардейские минометы. Полки, вооруженные ими, не вступая в бой, уже назывались гвардейскими: получали особые знамена, знаки отличия, полуторный оклад жалованья. Предполагалось, что первые знамена будет вручать сам Сталин. Ближайший помощник Сталина, Щербаков, начальник политического управления Красной армии, заботился, чтобы знамена были сделаны на славу.

— Тряхнул бы стариной, Николай Федорович, — сказал директор Всекохудожника. — Вот тебе кисти, краски... помоги.

— Нет уж, — уклонился Юхнов. — Я забежал на минутку, мне ехать надо.

Юхнов повел меня по зале, длинной, как вокзальная платформа и накрытой стеклянным сводом. Художники, торопясь, разрисовывали знамена. На одной стороне — значек с дубовым венком и словом «Гвардия», номер и наименование воинской части. На другой — лозунг, клич, призывающий на битву: «За Родину! За Стalina!»

— Тут явная путаница — одно противоречит другому...

Юхнов усмехнулся, прижмурил мелкие, позлащенные солнцем заката глаза. Потомок староверов, он хорошо знал Писание и при случае любил — передо мною, невеждой в этом отношении — процитировать. Наставительно подняв палец, он извлек из кладовой памяти подходящую строку:

— И если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению?

— Откуда это? — спросил я.

Юхнов остановился. Буграми выперло на лбу раздумье. Где именно это сказано? Неужели он забыл то, чему в детстве учился — сперва от деда, потом от отца? Нет, нашелся...

— Апостол Павел, первое послание к Коринфянам.

В мастерской возникло волнение. Директор шариком покатился к выходу. Задребезжали тонкие остекленные двери. Послышался скрип сапог. В залу вошла генеральская, зеленого сукна, шуба, увенчанная высокой каракулевой папахой. Не желая тянуться перед генералом, мы отошли к стене.

Щербаков был плечистый, грузный. «Кувшинное рыло», — шепнул Юхнов, глядя на пухлое лицо с младенческим цветом кожи. Но это кувшинное рыло залезло в ряд полубогов, окружавших верховного идола — Сталина. Щербаков был главным распорядителем на ярмарке пропаганды. В тридцатых годах его посадили в Союз писателей: муштровать, идеино перестраивать литературу. По его указке отправляли в ссылку писателей, живописцев, травили таких художников, как Лентулов, Павел Кузнецов. Теперь Щербаков руководил политической работой в Красной армии, был начальником Советского информационного бюро. Директор Всекохудожника масляным колобочком вертесься около него:

— Выполнено ваше задание, товарищ генерал. Все силы были мобилизованы. Результат налицо — готово!

— Показывайте.

Перед ним развернули бархат, отяжененный золотой бахромой. Дубовая листва, живая и свежая, как-бы омытая дождями, зеленела на гвардейском венке.

— Недурно. Переверните.

Всмогрелся. Неопределенно хмыкнул. Задумался.

— Где у вас тут телефон?

В мастерской директор Всекохудожника имел только маленькую конторку, отгороженную фанерными щитами. Художники, канительщицы, обшивавшие знамена, несколько человек военных, приехавших с генералом, все притихли. Трещал телефонный диск, стучал рычаг, раздавались крики:

— Кремль! Кремль!

В Кремле была своя телефонная сеть. Не имея кремлевской «вертушки», соединиться почти нельзя. Только имя Щербакова, его властные грубоватые окрики и какой-то условный магический номер помогли ему пробиться через сложную систему коммутаторов и соединиться... впервые в жизни я видел человека, который запросто разговаривал с божеством по телефону.

—...насчет знамен, Иосиф Виссарионович. Они готовы... Да, конечно, как было сказано — за родину, за Сталина... Может, оставить так? Художники не успеют сегодня... К утру? А вы поедете? Нет?.. Ехать мне одному?.. Хорошо. Так и сделаем... Есть. Так и сделаем. Есть.

Положив трубку, генерал облокотился на стол. Ладонью потер лоб. Тяжело отодвинул кресло, поднялся. В сдвинутой на затылок серой папахе вышел в залу.

—Небольшая переделка, — сказал он, обращаясь к директору. — Немного, всего на одной стороне. И чтобы к утру готово было. Что? Полукругом — крупно, широко — расположите: За Родину! Нет, нет, только это... одно... За Родину!

Тонкие хромовые сапоги, скрипя, вынесли папаху и шубу из залы. В мастерской стояла тишина, как над раскрытым могилой, в которую только-что опустили гроб. Юхнов, прикусив губу, удерживал смех. У всех животы распирали от смеха. Мы скользнули в вестибюль, рванули дверь на улицу. Из глоток вырвался неудержимый, клокочущий хохот. По отлогому скату улицы полз, шурша, и попался под ноги Юхнову лоскун бумаги. Юхнов наступил и только тогда мы заметили, что это — половинка разодранного портрета Сталина. Наступили оба тяжелыми, окованными железом солдатскими сапогами и растоптали лицо идола.

**
*

Вечером мы пригнали на фабричный двор табун машин. Началась погрузка. В кузове грузовика укладывая мины, Юхнов похояхтывал, вспоминая катастрофу со знаменами. Когда нагруженная машина отъехала, он вытер рукавом потный лоб и спросил:

— Тебе, Михалыч, так и не удалось никого из своих повидать?

— Жду, должны сюда приехать.

Вечером, когда я позвонил, Даша только пришла из госпиталя. Она обрадовалась. Прижав ладонью трубку, крикнула что-то из коридора в комнату. Пообещала:

— Приедем, сейчас приедем...

Даша — я знал — не хотела оставаться в Москве. В июле ее мобилизовали на оборонительные работы. На Ламе она копала противотанковые рвы, тянула колючую проволоку. Попадала под бомбежки, даже артиллерийские обстрелы. В

августе была ранена. Крохотным осколком повредило глаз. Полтора месяца пролежала в глазной клинике акад. Авербаха. Операция сошла удачно, глаз удалось спасти. Только она вышла из больницы, ей выпало много хлопот. На Москву по ночам налетали немецкие бомбардировщики: приходилось нести дежурства, сидеть на крыше и отбрасывать на асфальт пылающие огнем зажигательные бомбы, которые немцы высипали кассетами над городом. Днями надо было ходить в университет: он отправлялся в Ашхабад, и всех студентов, оказавшихся в наличии в Москве, вызывали помогать упаковывать библиотеки, драгоценные коллекции, инструментарий. Ко всему, старшая сестра, муж которой, артиллерийский инженер, воевал на фронте, везла целый детский дом, сотен восемь ребятишек, в Вятку; Даша помогала ей в сбоях, погрузке, отправке этого крикливого, разноголосого, плачущего и погоняющего хозяйства.

На Коровьем валу Даша имела комнатку. Вместе с ней жила ее подруга, Литли Лопатина. Литли была внучка Германа Лопатина. Она родилась в Генуе. В 1927 году приехала с матерью в Россию. В эмигрантских кругах она росла в Италии, к эмигрантским кругам прибыла и в Москве. Подружилась с Джованни Джерманетто, Луиджи Поляно, наконец, с самим Эрколи, ныне — Пальмиро Тольятти. Эрколи устроил ее на работу в Коминтерн. В дни войны она занималась радиоперехватом: ночами слушала итальянские передачи и к утру составляла сводку для Эрколи. Литли была против того, чтобы Даша эвакуировалась: «Оставайся, мы будем драться на баррикадах!». При Коминтерне состоялся интернациональный отряд — оборонять Москву, колыбель мировой революции. Бойцы интернационального отряда собирались на Страстном бульваре, копали в песке стрелковые ячейки, перебегали, ползали, рассыпались цепью, кричали «нонгта». Ночами подруги пускались в споры. Даша говорила, что если все едут в эвакуацию, то и она поедет. Литли в темноте, подымая от подушки голову, кричала о дашиной безидеиности и беспринципности. Даша отвечала смеясь, без злобы: «Вот и хорошо, что беспринципная... будем спать!..».

В воскресенье 5-го октября, как раз перед боевой тревогой, Даша приезжала ко мне на свидание в Большево. Грустновесело рассказывала проочные споры и под конец сказала:

— Так устала, так устала... Уехать бы скорее к чорту на кулички! В Ашхабад, в Дюшамбе, на Памир... под Крышу Мира!

На складской платформе, наполовину очищенной от мин, появился вахтер и сказал, что меня ожидают две гражданки. То, что Даша не уехала, а осталась в Москве, я приписал влиянию Литли. «Интересно послушать, — подумал я, — что скажет Литли о московских делах сегодня». Потому что с кем другим могла приехать Даша?

В тускло освещенном коридоре я издалека увидел машину «гномку», клетчатый пушистый башлычек. Даша с легким смехом подбежала и, жмурясь, обняла. Откинувшись, не снимая рук с плеч, с шершавой шинели, посмотрела на меня безмолвно и улыбчиво. Башлычек, как нельзя лучше, шел Даше: лицо в пушистом обрамлении принимало детский ласково-простодушный вид и оттого новую прелесть приобретали недетски-спелые губы и темные блестящие глаза. По надбровью просекался тонкий розовый шрамик, но он не был сильно заметен, терялся в тени крупных каштановых локонов, выбивавшихся из-под башлычка.

— Ты не догадывался, кого я привезу к тебе? — спросила Даша.

Возле перегородки, наполовину стеклянной, стояла девушка. Нет, не Литли. Она сдержанно улыбалась, чуть обнажив голубоватую подковку зубов. Боже мой! Волна чего-то легкого, светлого и немного щемящего поднялась во мне, подкатила к сердцу.

— Воротничек!

Девушка протянула узкую руку в перчатке и, пролепетав сперва что-то глазами, живо повторила:

— Воротничек...

Даша толкнула меня под локоть:

— Ее зовут Ольга.

— Ольга Магерина, — одновременно сказала девушка.

Взвешивая ее маленькую руку в синей нитяной перчатке, я смеялся от удовольствия:

— Магерина... Оля, значит? Вот так неожиданность...
Воротничек!

В начале лета, за две-три недели перед войной, я занимался днями в бывшей Румянцевской библиотеке, ныне «Ленинке». Над Москвой, по синеве, еще не потемневшей, плыли весенние белогрудые облака. Перепадали дожди. На мокром солнце блестел за окном зеленый скат холма, на котором стояло старинное, в колоннах, здание библиотеки, внизу — лиловый асфальт Моховой улицы, крыши домов, а за ними зубчатая кромка кремлевской стены, квадратная Кутафьевская

башня. Дни были в солнечных пятнах и яркой зелени, мне же предстояло проходить нескончаемую, монотонную, в сплошном сером цвете, пустыню науки, именуемой «Основами марксизма-ленинизма». Передо мною лежала книга Берии «К вопросу о зарождении большевистских организаций в Закавказье», но я читал ее только глазами, подремывая и скучая. Очнувшись, увидел по другую сторону стола, напротив, девушку. В глаза мне ударила золотая пыльца волос, взвихренных на склоненной макушке. Неведомо куда отлетели «большевистские организации». Девушка была в закрытом темно-синем платье с кружевным воротничком. Через низко припавшую к книге голову виднелся выгиб спины, по которому сбегали кругленькие, обшитые синим пуговицы. Переvertывая освещенную солнцем страницу, она подняла лицо и посмотрела на меня, как на пустое место. Навстречу ей я метнулся взглядом, но она тотчас склонилась, замкнулась в книгу. Непонятно почему, я резко встал, собрал и сдал на кафедру книги и, унося в памяти неподвижные — большие, серые — глаза, поехал в институт, в Сокольники. Вместо института долго бродил по сокольническому лесу и что-то бормотал из Пастернака, кажется:

Я живу с твоей карточкой, с той, что хохочет,
У которой суставы в запястьях хрустят,
С той, что пальцы ломает и бросить не хочет,
У которой гостят и гостят и грустят.

Несколько дней потом искал встречи с девушкой в белом кружевном воротничке. Должно быть, она сдавала экзамены и не приходила в «Ленинку». Даша посмеивалась над моими огорчениями:

— Так, как же с Воротничком? Познакомился?
Вместе с Дашей мы увидели ее в библиотечном вестибюле. Познакомиться не удалось: она стояла перед зеркалом, уже одетая, в бежевом летнем пальто и, закинув руки, поправляла поднятые над ушами и завернутые в большой узел волосы. Даша проводила ее взглядом и по-детски выпятила жаркие смуглые-красные губы, которых не подмазывала никогда.

— Воротничек ничего себе... Чего же ты растерялся?
Придумал бы какой пустяк, подошел сейчас и познакомился.

Было это в субботу 21 июня, а наутро, в воскресенье, я не растерялся. Девушка в воротничке... — положим, она была уже не в воротничке, а в лиловой вязаной кофточке с пушистыми помпонами... — сидела и читала толстую медицинскую

книгу, полную желто-красных картинок. Взяв комплект газеты «Труд», я сел напротив и открыл страницу, где была напечатана одна из статей Лиона Фейхтвангера о том, что делают немцы в оккупированной Франции. Необыкновенные эти статьи я читал месяц назад, когда они только появились, но теперь с притворным волнением ахнул и придинул газету к Воротничку:

— Подумать только! Вы читали?

— Что это? — холодновато спросила она.

Весной, когда советско-германскую дружбу, казалось, ие омрачало ничто, — Москва гнала в Германию нефть и пшеницу, Берлин посыпал в Россию авиационные моторы будто бы нового образца, — в газете «Труд» появились статьи об ужасах немецкой оккупации. Так как игра в дружбу еще продолжалась, нельзя было напечатать статьи, скажем, в «Известиях», «Правде», «Комсомольской Правде» — правительственный или партийной прессе. Придумали трюк: напечатали в «Труде», органе профессиональных союзов. Для советского читателя, знающего, что профсоюзы в СССР зависят от партии и вся прессы унифицирована, было ясно, что публикация таких статей — знак близкого разрыва с Германией.

Не все читали «Труд», третъеразрядную газету. Девушка впервые увидела статьи Фейхтвангера. Пока она впивалась в строчки, ахала, подымала на меня влажные напуганные глаза, я посматривал, как розовеет, наливаясь кровью, мочка крохотного ушка, прикрытоя золотистой прядью. Вызывающие и ярко синело в больших приоткрытых окнах небо. Девушка, милая в своей ласковой простосердечности, спрашивала: «Что же это такое будет? Война?» —, и я отвечал что-то вроде: «Не страшно! Немцы, даже победители Европы, не представляют для нас опасности. Германия израсходовала свои ресурсы, а у нас нетронутые силы. Вероятно, подошел момент, когда мы сможем раздавить Германию и стать единственными хозяевами в Европе», — механически повторял то, что недавно слышал на лекции по международному положению в нашем Институте философии, истории и литературы. Всё это — механическое —казалось, однако, таким незначащим по сравнению с блеском дня, молочно-синего, жаркого, пестрого от солнца и зелени. Одновременно, между слов, как бы в другом музыкальном ключе, я говорил глазами: «Поедем кататься на лодке... Помолчи, как играет блестками Москва-река...» Девушка понимала безмолвную просьбу и по теплу, согревшему ее глаза, я догадался об ответе. Только мы поднялись, отодвинули

стулья, как и другие читатели начали вскакивать из-за длинных столов. Бросая на столах книги, тетради, белую россыпь листков, все устремились к выходу. Кто-то спрашивал:

— Пожар? А... что? Пожар?

— Нет, какой-то пожар!

— Не знаю.

— В чем дело, товарищи?

На круглом, залитом асфальтом дворике гудел радиорупор, прикрепленный к дереву. Взволнованно, заикаясь, Молотов говорил о войне. Девушка побледнела:

— Ой! Коля... Мама...

Взяла меня под руку, пояснила:

— Брат мой старший — летчик-истребитель. И мама... она врач-хирург... тоже состоит на военном учете.

Не катанье на лодке — война нас сдружила. Просто и доверчиво, — в один миг привыкнув друг к другу, — пошли мы по улице Фрунзе (бывшей Знаменке), Арбату. На улицах шумели тысячные толпы. Народ кинулся к булочным и сберегательным кассам. Накупали хлеба, будто можно было запастись на пять лет войны. Вынимали вклады, будто не верили в состоятельность государства. В булочных скоро не стало хлеба, в сберегательных кассах ограничили выдачи ста рублями. На Арбате мы простились до завтра, до встречи в «Ленинке». Но дома меня ждала повестка — на призывной пункт. Только по дороге в Большево я вспомнил, что не знаю ни адреса, ни имени Воротничка.

Без малого четыре месяца кружила на русских полях война. Проводы на фронт, бомбежки, оборонительные работы, эвакуация... — ветром войны разметало людей на все стороны. Много дорог разминулось, но много и скрестилось. Не всё расстани, случались и встречи. Нечаянные, негаданные... в такие вот дни, как 16 октября в Москве.

— Даша, милая, как же ты Воротничек нашла? И почему ты в Москве? Я считал, ты давно в Ашхабаде.

— Не поехала. Правду сказать, еще утром сегодня поспорила с Литли. Понимаешь, просыпается она и говорит: — Имей в виду, Дашуня, наш Коровий вал — на направлении главного удара. Немецкая группировка — танки Гудериана — идет от Калуги, выходит прямиком на линию Большой Калужской. Каждому понятно, разгорится бой за переправу — Крымский мост. Ты видела, какие там возводят укрепления? Настоящий тет-де-пон! В тактическом отношении наш район... да что говорить, энергетическая база столицы. У нас — МОГЭС!

Конечно, немцы направят сюда свои главные оперативные силы.

— Прямо, как генерал чешет, — засмеялся я.

— Литли есть Литли, — сказала Даша. — Как увлеклась — откуда что берется! Теперь у нее роман с войною... ну, и военная терминология. Сперва я посмеивалась, а сегодня... нехорошо... обозлилась: — Тебе, говорю, быть может, хочется, чтобы эти гудерианы в самом деле по Москве ударили? Как она взъелась, пошла и пошла! Баррикады, интернациональный отряд, колыбель мировой революции, беспринципные эвакуанты... Взяла я рюкзак, белье положила, книжки и — на Моховую, узнать в деканате, когда погрузка нашего эшелона. А на улицах такое поднялось — глаза разбежались, голова кругом пошла. Не знаю почему, на улице вдруг решила: — Не поеду в Ашхабад... не поеду! Из-за одного того, чтобы видеть, как всё это будет в Москве, не поеду! Побежала в больницу и нанялась сестрой. Курс санитарной подготовки в университете проходила, латынь знаю... видел бы ты, как доктор мне обрадовался!

— Не один доктор... теперь и Литли обрадуется. Будет хвалиться — перевоспитала беспринципную Дашу.

— Не говори! Литли пешком из Москвы ушла.

— Пешком? Ушла? Не понимаю.

— Такой день сегодня — всё перепуталось! Понимаешь, на радиоперехвате она работает ночами. После, как я ушла, она еще заснула. Поднялась, когда на улицах уже во-всю кружила завируха. Первая мысль у нее была — вошли немцы, начинается бой у этого... как его... тет-де-пона. Накинула кожанку, выскочила за ворота. Народ бежит, где-то стреляют, но не часто... — ничего не понять. Пошла в магазин — позвонить по автомату. Вызвала Марию Эрколи... жену, они — подруги. Ну, буono джорно и всё такое... ты же знаешь, как Литли разговаривает по-итальянски — точно вся в петушиных перьях! Жена Эрколи сказала, что муж и она улетают и что Литли должна немедленно ити в гостиницу «Селект» — там жили коминтерновцы — и тоже лететь на «дуглас». А тут глупая история... Публика в магазине услышала итальянскую речь. Приняли Литли за шпионку, чуть не избили. Подоспели истребители — тем и спаслась. На «дуглас» из-за этого опоздала, пыталась пристать к эшелону — не приняли. Дома узнала, что я звонила из больницы, пришла ко мне... плачет! Дала я ей рюкзак — пошла пешечком по Владимирке...

— Хватит она горя в эвакуации, — покачал я головой.

— Конечно, хватит, — согласилась Даша.

В больнице Даша встретила Ольгу Магерину. Та была студентка-медичка, работала сестрой второй месяц. Даша тотчас же рассказала ей историю с «Воротничком». Посмеялись. Даша, увлекавшаяся в дружбе, потащила Ольгу к себе домой. Тут и я позвонил — обе помчались в Кутузовскую слободу.

— И вы не уехали из Москвы? — спросил я Ольгу. — Ведь... если не ошибаюсь, вы не москвичка?

— Не ошибаетесь. Я из Моздока, есть такой маленький городок на Тerekе. Только там у меня никого не осталось. Брат мой воюет под Ленинградом, его подбили в воздушном бою, — получила письмо из госпиталя. Мама тоже на фронте, на Харьковском направлении.

Даша, охваченная огневым румянцем, указала восхищенными глазами на подругу:

— Она и сама бесстрашная. Такое делает... что твоя фронтовичка!

— Ну уж и фронтовичка, — смутилась Ольга. — Ничего особенного. Как все работают, так и я работаю.

— Не все, не все!

В конце коридора хлопнула дверь, военпред вышел из цеха.

— Вы чего же... стоя? Проходите хоть в мою конторку. Присаживайтесь... стул-то один, ничего — на кровати.

Он выдернул ящик письменного стола, взял какую-то вещицу и резко вдвинул снова, побежал в цеха. Даша, сидя на кровати, рассказывала про Ольгу и глазную больницу:

— В нашей больнице делают... Ну, почти чудеса! Привозят танкистов — обгорелых, слепых. Им восстанавливают зрение. По методу Авербаха — пересадкой мертвей роговицы. Для операций нужны глаза... от мертвых! Недалеко от нас клиника Склифасовского. Надо итти туда, в большой морг, и у покойников вырезать глаза. Никто, понимаешь, никто не берется за это дело. Была одна сестра, пожилая, она не боялась, — недавно уехала с детишками в эвакуацию. Из молодых сестер ни у кого не хватает храбрости. Да и у меня... бр-р-р-р! — Даша в шутку затряслась, как от озноба. — Ни за что не пошла бы. Как ты не боишься, Ольга?

Морг... Подземелье под серыми сводами... В клинику Склифасовского со всей Москвы везут самоубийц и всех несчастных, погибающих каждый день в уличных катастрофах. На оцинкованных нарах лежат шафранно-желтые удавленники; толстые и синие, набухшие от воды утопленники; под-

плывшие кровью тела, перерезанные трамвайми. Некоторые трупы подымают в анатомический театр: оттуда приносят в ящиках головы с содранной кожей, распиленные; ноги и руки с раздерганными, как мочало, посиневшими мышцами; багровые, черные, сизые внутренности. В страшный мир покойников, окутанный приторно-сладким туманом, спускается девушка. Она одна... — служителю морга в сером халате и с серым помятым старческим лицом до нее нет дела, он постучал ключами и ушел. Девушка всматривается в мертвцевов, подходит и... вырезает глаза. Похоже на дурной сон...

— Ты чудачка, Даша, — скупо улыбнулась Ольга. — Разве я говорила, что не боюсь? Хоть и медичка, на пятый курс перешла, в анатомичке много занималась, а тут боюсь... еще как боюсь! Вчера подхожу к одному, а он смеется! Нет, правда... оскалился, зубы белые-белые! Как же не бояться? А другой, рядом с ним, лежит, привалился щекой к холодному железу, — в морге нары такие цинковые, — и на лице у него застыла улыбка. Будто у них другой мир, которого мы не знаем.

Ольга сдергивала с руки перчатку. Держа за тонкий нитяной палец, покрутила ее и опять надела. Даша сидела, свинув пушистые брови над темными глазами. В тишине я смотрел, не отводя глаз, на девушек. Простые, как все и как многие — милые, мне же единственные на свете! В последующие годы войны — на фронте в лесах Приильменя, на берегах Вислы, в долинах Саксонии — много раз возвращался я памятью к встрече с девушками. Всё более утверждался я в мысли, что именно они, Даша и Оля, помогли мне пройти тяжкий путь от Москвы до Дрездена. То, что я видел в октябре 1941 года — разброд на Волоколамском шоссе, бегство московской верхушки — давило меня, погружало в темный омут отчаяния. Воен-пред был незнакомый человек, член партии, откровенность опасна, но в разговоре с ним сама собою вырывалась мутная волна горечи. Только Даша и Оля, сами того не зная, облегчили, просветили меня. На их белых, таких родных лицах, с таким светом в глазах, я увидел ту «скрытую (*latente*) теплоту патриотизма», о которой говорит Толстой, описывая людей 1812 года. Несчастья России всегда внушали и внушают русским людям только очень маленькое количество простых идей, и по мере того, как я старался — потом, на фронте — понять их, я видел, что идеи эти всё упрощаются и упрощаются и в конце концов сводятся к одному: любовь к России. Не размышляя, а подчиняясь простому, как небо и земля, чувству,

девушки прошли сквозь мятель 16 октября и нашли свое место, свою позицию для защиты России, для облегчения тяжких страданий матери-родины. Мятель захлестнула меня, но тонкая девичья рука взяла и вывела: нам — госпиталь, тебе — фронтовая дорога, иди по ней и не вихляйся!

— Как странно, — продолжала Ольга. — Пересаживают мертвую роговицу — она оживает. Взять живую — помрет, не привьется. И так повсюду! Мой дядя — агроном, в Тимирязевской академии. Как-то я рассказала ему про роговицу, он задумался: — Ну, а зерно, говорит... падает в землю, погибает и подымается. На грани смерти и жизни. Таинственная черта — какие-то таинственные переходы.

— Ну их, с покойниками! — нетерпеливо и раздраженно сказала Даша и полыхнула на меня глазами. — Ты... ты почему мне не пишешь? Вот что скажи!

— Эва! Письма! У нас там и почты-то нет. Такая идет кутерьма. Кто куда едет, кто за чем идет... не разобраться. При штабе армии, может быть, и имеется почта, а в Яропольце не было. Поставили нас к мостам на Ламе, — стояли, вчера отошли.

Даша всплеснула руками:

— Ты — в Яропольце?!

— Не в самом Яропольце, — в Юркиной. Может, помнишь, мостишко ветхий, деревушка в полутора верстах.

— Конечно, помню. Мы там проволочные заграждения тянули. Ольга, подумай-ка, он попал на позиции, где меня ранило. Ну, как они, наши позиции? Накопали мы порядочно...

— Оставили мы вчера ваши позиции.

— Как же так? Совсем без боя?

— Без боя. Наверное, и еще отступим, Волоколамск отдадим. На Истре — ты знаешь, там озера — что-то такое строят, только и это без пользы. Военпред, вот, что приходил сюда, в конторку, говорит: докатимся до точки, до самой последней точки, а потом двинем вперед. Тоже вроде Ольги: сперва погибнем, потом подымемся. Понимать это как-то трудно.

— Понимать тут нечего, — ответила Ольга. — Тут верить надо. Мы привыкли верить только в то, что видим. В одной пьеске, я видела, встретился инженер с монахом и спрашивает: — Кстати, что это такое, ваш Бог? Монах говорит: — Бог — это все, что есть, а чего нет — тоже Бог. Инженер смеется: — О несуществующем не может быть и мысли. Ваш Бог... имеет ли он вес, объем, величину? — Так и теперь. Где наша

победа? Нет у нее ни веса, ни объема, ни величины. Победы не видать, она не существует, о ней не может быть и мысли. Но надо поверить в... невидимое.

— Верить в победу, как верят в Бога? — засмеялся я. — Или в победу... от Бога?

— Не знаю, — пожала плечами Ольга. — Я в Бога не верю. А только есть... вот во всем этом... — она широко повела руками — ... какая-то тайна.

Бошел, грохоча тяжелыми сапогами, Юхнов.

— Машины нагружены. Где военпред? Надо, чтобы он подписал путевку.

Машины выезжали из фабричных ворот и выстраивались на обочине шоссе. Прикинув в уме расстояние от Москвы до станции Подсолнечной, оттуда до села Степанчикова, я с радостью подумал, что мы успеем приехать — подбросить мины — к полудню, не то, что к вечеру, как приказывал командир роты.

Дверь проходной была открыта настежь: шла смена. Вахтер, присвечивая фонариком, проверял пропуска. Слышились шутки. Кто-то спрашивал, смеясь, про Парамонова. Давешняя работница сыпала горохом: «Коленкой, коленкой его под задницу!..» Как те, что работали на фабрике днем, так и те, чтошли в ночную смену, были захвачены общим настроением освобождения от старого, вчерашнего и ожиданием нового, завтрашнего.

Большой день — поистине исторический — пережила столица. День кризиса, день перелома. Москва не перешла из одних рук в другие руки, но из одного качества в другое. При тех обстоятельствах сталинская тирания не могла обрушиться, но рухнула сталинская идолатрия. Как бы советские историки ни доказывали, что генералиссимус Сталин вел военную игру, как гроссмейстер — шахматную, т. е. двигал миллионами пешек, возводил их в туры и королевы, продвигал или сбрасывал с доски, день 16 октября показал, что Сталин, сам Сталин — пешка, не более, чем статист в той драме, которая разыгрывалась не только на трехтысячеверстном фронте, но вообще на пространствах России. Драма не имела героя, — или героем ее был весь народ. Повернувшись спиной к большевизму, народ очутился лицом к лицу перед немцами. От этого поворотного пункта начинается иной ход войны. Наступление армий фон Бока, развивавшееся по календарному плану, неожиданно застопорилось. План был хорош, основателен и аккуратен, но он провалился. Потому что никаким планом —

ни немецким, ни советским — нельзя было предугадать — ни во времени, ни в пространстве — реакцию народного сознания, народного инстинкта. План не учитывал ту неизвестную моральную величину, которая вообще никогда не поддается учету, и немецкие генералы, составители плана, конечно, никак не ожидали, что в середине октября вдруг окрепнет сопротивление Красной армии⁶). Правда, немцы, остановившись, накопят силы и месяц спустя — 16 ноября — вновь перейдут в наступление. Месяц — срок недостаточный, чтобы народ после разброда смог построиться в боевые ряды, наши войска еще раз отступят к Москве. Но это будет последний раз. Народ построится и 5 декабря перейдет в наступление, которое окончится разгромом немцев под Москвой. Придет первая победа, о которой знали только верующие сердца.

... Разрубая ночную темь, вспыхивали и тотчас же гасли фары. Клокотали заведенные моторы. Шоферы сидели в кабинках, положив на рули огромные руки в черных перчатках с раструбами. Даща обняла меня крест-на-крест три раза и поцеловала. Не выпуская ольгиной руки, я отворил дверцу кабинки и стал на подножку. Когда колонна тронулась, когда смолкли прощальные взглазы девушки, я всё еще чувствовал пожатие узкой руки в нитяной перчатке. Передо мною лежала четырехлетняя фронтовая дорога. Была ночь. В небе, немом и черном, шарили прожектора. Москва стояла, огорожденная голубыми мечами.

Михаил Коряков

6) Кассиди в «Moscow Dateline» отмечает: «Внезапно сопротивление Красной армии окрепло на двух флангах. Немцы успели овладеть Калинином (Тверью), но их продвижение было остановлено тут же, в пригороде. Тула отказалась сдаться. Немецкий центр, не подпираемый флангами, не осмелился продолжать свое продвижение к Москве. В середине октября первое генеральное наступление на Москву было остановлено».

“Я ГРАЖДАНИН ЛЕНИНГРАДА”

I.

Дверь отворилась и в комнату вошла мать моей жены. Она была взъярена.

— Подумайте, — говорила она, — разве возможно жить с этими людьми? Снесла на кухню грязную чайную посуду и на минуту вышла. Возвращаюсь — нет серебрянной ложки. Твоей, Ирочка! Ну, кто успел ее взять? Ведь это же чорт знает, что такое! И боишься сказать что-нибудь. Не оберешься потом неприятностей.

— Ой! Неужели моя ложечка пропала! Мама, ну как же это? Поискать бы еще...

Мария Федоровна безнадежно махнула рукой и вышла. Сквозь неплотно притворенную дверь долетал шум примусов из коммунальной кухни.

Было воскресенье, 22 июня 1941 года. Еще несколько дней — закончится учебный год и наступят долгожданные каникулы.

Жена включила радио-трансляцию.

Голос в радио говорил мерно и четко.

Война!..

Жена испуганно взметнулась и вдруг забилась в рыданиях.

— Что же это? Ничего не понимаю. Как же это? Боже, все кончено. Тебя возьмут, тебя возьмут от меня. Господи, спаси и помилуй!

И, глядя на ее изменившееся, вдруг осунувшееся лицо, в ее глаза, в которых точно отобразились грядущие муки, я не разумом, а сердцем понял, что случилось что-то ужасное и непоправимое.

Надо что-то делать...

Что же делать?

Поискать серебрянную ложку? ..

А за окном заметался город.
Коммунальная квартира опустела. Все бросились в магазины. Закупать.
Война.

— Не сметь закупать! Продуктов достаточно!
Достаточно?

Есть события, которые в одно мгновение опрокидывают установившееся, ставят совершенно новые задачи и определяют для каждого новое место в жизни.

Война изменила всё.

Всё, что казалось до сих пор необходимым, перестало им быть. Я сам перестал принадлежать своему делу, своей семье, даже самому себе. Я принадлежал государству, точнее, той машине, которая, будучи именуема Народным Комисариатом Обороны, приводится теперь в действие и которая в ближайшие часы или дни распорядится мною самым беспощадным образом.

Я чувствовал, что меня уже мчит поток неудержимо развивающихся событий и что ничто не в силах остановить его.

Память сохранила, как рваную ленту кино-фильма, лишь отдельные картины, относящиеся к этим первым дням войны. Всё потонуло в чувстве обречённости и боли разлуки.

Большая аудитория, полная молодежи. Косые лучи солнца освещают внимательные лица и пыль на партах.

Смотрю на часы. Три минуты до звонка.

— Я дал вам краткий обзор пройденного нами за этот год и хочу на этом закончить сегодняшнюю лекцию. События развиваются быстро. Я могу быть призван. Кто знает, может быть, это последняя лекция, которую я читал вам. Позвольте поэтому попрощаться и пожелать вам всего хорошего. Тот, кто переживет эту войну, возможно самую страшную из войн, увидит настоящую счастливую жизнь.

Я схожу с кафедры.

Зал вдруг зашевелился. Меня обступают, говорят наперебой.

Сколько ласки и затаенной тревоги в этих юных добрых глазах.

Что ждет их?

На моем письменном столе лежит повестка из Военного Комиссариата. Ее принесли час тому назад. Через 48 часов я, как командир запаса, должен явиться по мобилизации в казарму Балтийского флота.

Я принял повестку, а когда мой сын встревоженно спросил: «В чем дело, папочка?», улыбнувшись ответил: «Призывают, Коля».

Я ждал. Я знал, что это неминуемо. Но лишь сейчас до конца понял трагическую нелепость этого факта — предстоит защищать, и, может быть, умереть за тех людей, которые в течение 24-х лет почти в буквальном смысле этого слова цепрерывно держали меня за горло, ежесекундно угрожая задушить.

Нет, это выше сил... Хоть в этом судьба могла бы пощадить!

Ведь родины — нет.

Россия погибла 7-го ноября 1917 года.

С тех пор ее народ истекает кровью и стонет под игом насилия. С тех пор его руками подготовляется страшное дело, которое принесет всему человечеству неслыханные несчастья и невиданное рабство.

Да, его руками...

Громкоговорители, свисающие как жерла на углах улиц, непрерывно передают бравурные песни и военные марши. Хриплые звуки, извергаемые огромными черными радио-репродукторами, наполняют воздух, заглушают шум большого города.

«... если враг нападет
Если темная сила нагрянет,
Как один человек весь советский народ
За свободную родину встанет».

Прохожие спешат мимо. Лица сосредоточенные. Каждый занят сам собой.

Вести с фронта поступают тревожные.

«Сдать немедленно все радио-приемники!»

Германские войска быстро наступают, занимая город за городом.

Главное здание института.

— Я хотел бы видеть ректора.

— У товарища Пастухова совещание.

Обычно я ждал. Долго приходилось ждать.

— Я призван и мне необходимо получить от него соответствующие распоряжения, — говорю я — сегодня.

— Попробуйте тогда войти.

В кабинете ректора накурено.

В креслах около стола сидят несколько партийцев. Что-то обсуждают. Лица растерянные.

Я молча подаю ректору повестку Военного Комисариата и написанную мною записку: «Кому передать кафедру?

Студент, секретарь парткома нашего института, бросает взгляд на записку.

— Пастухов, ты, может, прекратишь заниматься посторонними делами?

— Что значит посторонними... Человек призван в армию... Должен же я... Пойдемте...

Он выходит со мной и отдает секретарю распоряжение об отдаче в приказе о моем призывае и о передаче кафедры Андрееву.

Состав моей кафедры взволнован тем, что я призван. Я, кажется, первый из профессорско-преподавательского состава.

— В институт-то вы еще придете?

— Да, завтра, около трех.

Три часа дня. Я стою окруженный студентами моего факультета.

— ...Партия и правительство требуют от каждого из нас напряжения всех сил для победы над фашизмом. Мы желаем вам, Александр Константинович, успеха при исполнении вашего долга...

Мне подают большой букет сирени.

Разве сейчас цветет сирень?..

— Спасибо, спасибо... — говорю я, жму десятки рук и чувствую себя неловко.

Привычные лица товарищей по кафедре. Они ждали меня в моем кабинете, чтобы попрощаться.

— Вот, кажется, и всё, — говорю я Андрееву, передав дела кафедры.

Тушу папиросу.

Всё?

Взор падает на белого слоника, стоящего на моем письменном столе перед чернильницей. Ира подарила мне его — на счастье. Я протягиваю руку и кладу его в карман.

Теперь всё.

Дверь тихо приоткрывается.

— Вы уходите, Александр Константинович? — спрашивает моя лаборантка Нелединская.

— Да, а что?

— Можно вас попросить выйти ко мне на минутку?

— Пожалуйста.

Я выхожу в лабораторию.

Нелединская заметно волнуется, оглядывается, точно ей хочется убедиться, что в комнате действительно никого кроме нас нет, и говорит почти шепотом:

— Александр Константинович, возьмите это с собой.

Она протягивает мне что-то очень маленькое.

— Наденьте это. С этим многие из моей семьи уходили в поход и... возвращались. Вы ведь знаете... я из военной семьи...

Да, я знал то, что Нелединская не писала в своих анкетах. Я знал, что ее отец был гвардии полковником в царской армии. Из всей семьи, когда-то большой, остались только она и мать.

Ладанка?

Еще есть ладанки?

Я снова у ректора. Его лицо еще более серо и менее выразительно, чем обычно. Он не смотрит на меня и его глаза, как мыши, бегают из стороны в сторону.

Еще недавно он был посредственным студентом нашего института. По ходатайству партийной части он был по окончании курса включен в число преподавателей института и вскоре, а именно, в период чистки советского аппарата в 1937-38 году, по рекомендации высших партийных органов назначен ректором, как «истый пролетарий» и послушный партиец. Его предшественник был арестован. Вся энергия Пастухова уходит на выполнение директив партии и соблюдение ее «генеральной линии». Так как он в сущности ничего кроме

нашего института и притом в его худшие годы не видел, он от души считает подметенные коридоры признаком серьезного прогресса.

Я докладываю о передаче кафедры профессору Андрееву. Мы прощаемся и я иду к двери.

— Богданович, — останавливает он меня непривычно громким голосом.

Я обворачиваюсь.

— Стреляйте, — почти истерически кричит он, — стреляйте метко, Богданович.

Мне 45 лет, ему неполных 30. Я ухожу, он остается. Он не будет призван, он принадлежит к тем, кого мы должны защищать.

Казарма Балтийского флота у Поцелуева моста. У ворот охрана. Напротив толпа женщин. Это провожающие. Им не позволяют подходить близко.

Но вот ворота широко открываются и под вооруженной охраной выходит партия мобилизованных.

Толпа женщин зашевелилась. Некоторые бросаются к проходящим. Слышны возгласы. Протягиваются руки с узелками.

— Куда вас ведут?

Охрана отгоняет женщин.

Рыдания.

Лица мобилизованных хмуры.

Часовой проверяет мои документы и впускает во двор.

Ворота закрываются.

4 часа утра. Вещи собраны. Я в форме Балтфлота. Мой поезд к месту назначения уходит в 5 с минутами. Надо идти.

Ира. Ее глаза. Родные, милые руки. Худенькое лицико. Обрывочные слова. Она очень старается держать себя в руках.

— До свиданья. Христос с тобой. Я жду тебя.

Быстро спускаюсь по лестнице и иду к остановке трамвая. На улице меня догоняет Ира.

— Саша, подожди. Ведь я забыла, забыла дать тебе с собой шеколад. Саша, я проеду с тобой до вокзала. Да?

Мы уговорились проститься дома. Но сейчас я так рад, что она еще хоть немного побудет со мной.

Так рад.

II.

Тишина. Лесная тропинка около Ораниенбаума.

Нас около 30 человек мобилизованных командиров запаса. Мы тащим на себе наши тяжелые чемоданы и длинной вереницейдвигаемся по указанному нам направлению к Штабу Сектора Укрепленной Обороны.

Дача в лесу. Это Штаб. Десятки проводов полевого кабеля тянутся к нему. Перед балконом стоят и сидят на чемоданах несколько человек, прибывших до нас.

Писарь принимает документы, выстраивает нас в две шеренги, командует и ведет строем в клуб Штаба.

— Товарищи командиры, пока вы можете здесь располагаться. Когда части пришлют за вами транспорт, я вызову. С имуществом клуба обращаться бережно. На пол не плевать. На кресла ног не класть.

Ночь.

— Встать! — раздается голос дежурного писаря, — лейтенант Федор Семенов, лейтенант Дмитрий Полежаев, старший лейтенант Александр Богданович, взять вещи и выйти для отправки в часть.

Ручной фонарик тухнет. В окна смотрит северная белая ночь.

Слегка покачиваясь, катер разрезает свинцовую воду и увозит нас в туманную дымку по направлению к одному из фортов Кронштадта.

Пришвартовываемся. Нас встречает капитан, начальник форта.

— Товарищ начальник, старший лейтенант запаса Богданович является по случаю назначения на вверенный вам форт начальником боевого питания.

Кругом седые волны Финского залива. Над нами утреннее небо. Белыми крыльями взметнула чайка и скрылась вдали.

Форт, на который я прибыл, построен на искусственно сооруженном острове.

Впереди воды Балтики, позади силуэт Кронштадта, а за ним на горизонте в ясную погоду виден купол Исаакия.

Временами кажется, что находишься на передовом форпосте, порой ощущаешь, что фронт далеко, что здесь глубокий тыл.

Жизнь на форту не приобрела еще характерного для воинской части ритма. Занятия не производятся. Происходит укомплектование гарнизона.

Каждое утро причаливает катер и привозит новых людей. Их выгрузилось сегодня около 50 человек. Разные лица, разные возрасты, разные судьбы. И что-то общее у всех: подавленность. Молча стоят они у пристани около своих сундучков. Их обступают краснофлотцы форта.

— Ну как там? Что слышно?

— Да ничего...

Мнутся.

По отдалу на плоту несколько полунагих краснофлотцев стирают белье. Из открытого окна классной комнаты доносится голос политического руководителя:

— Долг каждого бойца не щадить своей жизни в борьбе с подлыми фашистами и умереть за дело Ленина-Сталина.

Солнце светит ярко. Неподвижна зеркальная гладь воды. На открытых площадках высокого вала грозно вырисовываются тела тяжелых орудий.

Взвыают сирены.

Противовоздушным батареям отдается команда — к бою! Все обязаны бежать в бомбоубежище, хотя совсем ясно, что этот одинокий самолет, показавшийся с Финского берега, пройдет стороной, что это самолет-разведчик.

Нас на форту почти 600 человек. Из них около 50 командного и политического состава. Большинство командиров уже распределено по батареям. Они помещаются вместе с краснофлотцами. Несколько, в том числе и я, занимают комнату, вернее ночуют в помещении кают-компании.

Каждый держится особняком.

На моей обязанности лежит доставка боеприпасов на форт и их учет.

— Вы назначены начальником боевого питания?

— Да.

— Во время Финской кампании у нас сменилось три начальника боевого питания. Все три пошли под суд за плохую постановку дела.

Я молчу.

Штабной писарь смотрит на меня неприязненно, передает мне папку с данными о боевом питании и прибавляет:

— Тут такое написано, что, пожалуй, ни одной цифре верить нельзя.

Я молчу.

Сведения о боевом питании действительно оказались в беспорядке. По моей просьбе начальник форта назначил комиссию по переучету. Председателем комиссии был назначен не я, а один из командиров батарей. На мою долю выпал подсчет одного из второстепенных складов. По окончании работы комиссии у меня, как и раньше, не могло быть уверенности в правильности зафиксированных данных, тем более, что переучет проводился наспех, так как срок был предоставлен очень короткий — один день.

— Берете вы на себя ответственность за каждую цифру?

— спрашивает начальник штаба, когда я передаю ему сведения.

— В части, где подсчитывал я — да. За весь подсчет несет ответственность председатель комиссии.

Начальник штаба, партиец, молодой инженер, — типичный представитель новой, советской интеллигенции, беспринципной, развязной и самомнительной.

Команда боепитания состоит пока из пяти краснофлотцев. Все они из числа рабочих Ленинграда. Пожилые.

Сейчас они должны носить патроны из одного склада в другой, я застаю их сидящими перед складом на завалинке и покуривающими.

— Перенесли?

— Нет, товарищ командир. Мы было начали, да тов. Надеждин приказал приостановить. Говорит, не годится.

Сержант Надеждин краснофлотец действительной службы, мой помощник. До начала войны он временно выполнял обязанности начальника боевого питания.

— Так, — говорю я, закуривая папиросу, и объясняю краснофлотцам необходимость иметь в боевой обстановке патроны не на одном, а на двух складах, как на южном, так и на северном.

Время обедать. Иду в направлении к кают-кампании. Из-за склада выходит человек в командирской форме, но без знаков различия. Он бросает на меня пристальный взгляд и идет рядом.

— Вы недавно прибыли на форт?

— Да, около недели тому назад.

— Ваша фамилия?

— Богданович.

— Вы какую занимаете должность?

Вопросы, казалось бы, простые и такие естественные, когда два команда, может быть, оба недавно назначенные в часть, впервые встречаются и знакомятся. Но советский строй приучил нас к большой подозрительности. Привычное ухо улавливает сразу неприятные нотки в вопросах. Я настороживаюсь.

— Вы какое отдали распоряжение относительно патронов?

— Я вас не понимаю.

— Да вы только что говорили о нем с краснофлотцами.

Я коротко повторяю объяснения, только что данные мной.

— Но кто-то ведь отменил ваше распоряжение?

— Один из сержантов, но я не уверен, знал ли он, что распоряжение отдал я.

— Сержант какого подразделения?

— Из боевого питания. Я полагаю, что тут какое-то недоразумение.

— Фамилия сержанта?

— Надеждин.

Мы подходим к кают-кампании.

— Если у вас будут дальше непорядки — заходите ко мне.

— А вы кто?

— Спросите в Особом Отделе Савельева.

Многие командиры уже обедают.

Подхожу к кассе, плачу за обед, получаю талоны и занимаю свободное место у большого стола посередине комнаты, обращенной окнами к Кронштадту.

На первое вкусный флотский борщ, на второе — селедка с картошкой.

Неприятное ощущение от только что имевшего место разговора. Каким надо быть осторожным! Значит этот Савельев в течение всей моей беседы с краснофлотцами стоял за углом и слушал: это на советском языке называется «изучением личного состава» и относится к пресловутой «бдительности». Неужели среди моих пяти уже есть кто-нибудь, кому поручена «почетная» роль «осведомителя»?

Я кладу в рот последний кусок селедки. На тарелке остаются голова и хвост, соединенные хребтом.

— Здорово это у вас получилось, — говорит один из моих соседей.

— Что?

— Да с селедкой. Этак чисто ее разделать и рук не замазать!

Я невольно смотрю на говорящего и остальных.

Почти все командиры едят селедку руками.

После обеда привозят почту и газеты. Мне писем нет. Всё еще нет.

Германское наступление по всему фронту развивается с невероятной быстротой.

Меня вызывают к начальнику форта.

Я поднимаюсь на главный наблюдательный пункт, где в маленькой комнате, напоминающей собой каюту, помещается начальник форта. Заставлю у него начальника штаба.

— Что вы хотели доложить? — обращается начальник форта к начальнику штаба.

— Товарищ начальник, я выяснил из разговора с начальником боевого питания, что он не считает цифры, данные ему комиссией правильными и отказывается от ответственности за представляемые им сведения.

Начальник штаба смакует свои слова. Желание выслушаться за счет искажения фактов очевидно.

Волна возмущения вдруг охватывает меня. Кровь приливает к голове. Я хочу сказать что-то, но не успеваю. Начальник форта смотрит на меня и неожиданно говорит обращаясь к начальнику штаба:

— Вы можете идти.

Лицо начальника штаба выражает недоумение. Он выходит.

— Успокойтесь, — говорит начальник форта, — Мне всё ясно. Вы подчиняетесь лично мне и можете впредь начальнику штаба объяснений не давать.

Он смотрит на меня добрыми, светло-голубыми, русскими глазами.

Вечерние тени окутали форт. С моря пахнуло прохладой. Где-то запела гармонь:

«Тучки над городом встали,
В воздухе пахнет грозой,
За далекую Нарвской заставой
Парень идет молодой».

Несколько голосов подхватывают припев:

«Широка ты, путь-дорога,
Выди милая моя,
Мы простимся с тобой у порога
И, быть может, навсегда».

Навсегда?
Может быть и навсегда.

Острый свет резнул по глазам. Я вскакиваю с постели.
Свет тухнет и голос из темноты спрашивает:

— Чего вы вскочили?

Снова резкий свет, но сейчас он направлен в лицо лежащего на соседней койке. Я различаю силуэт человека, держащего карманный фонарь. Мой сосед приподнимается, а голос человека с фонарем кричит:

— Почему вы валяетесь здесь, в кают-кампании, когда вам еще вчера сказано перебраться в батарею?

— Товарищ политрук, — растерянно отвечает мой сосед, — там же нет свободной койки. Я вам докладывал.

— Вот посидите у меня под арестом, тогда и койка сразу найдется.

Все в комнате просыпаются. Луч света падает на следующую кровать. Тот же разговор. Он повторяется еще с несколькими командирами и в той же форме.

Это ночной обход политического руководителя.

III.

Около часу тому назад я прибыл с форта в Кронштадт и находусь в казармах Балтийского флота. По распоряжению высшего командования я должен здесь получить назначение во фронтовую часть. Дела по боевому питанию снова принял сержант Надеждин. Первый этап моей военной жизни — месяц на форту — закончен.

Получил койку в комнате для приезжающих командиров, поставил вещи, умылся и решил пройтись по городу.

Я не бывал в Кронштадте. В юности не пришлось, а после революции большевики закрыли свободный доступ в город Кронштадт.

— Вы куда? — останавливает меня постовой у ворот.

— В город.

— Ваша увольнительная?

— Какая увольнительная? Я командир.

— Без увольнительной записи выходить никому не разрешается.

Узнаю, что делом увольнения ведает полковой адъютант. Иду к нему. Перед дверью встречаюсь еще с двумя командирами. Они тоже хотят в город. Входим втроем.

— Зачем вам в город? — грубовато спрашивает адъютант.

— Купить кой-что нужно, — объясняет один из командиров.

— Знаем, купить! Надрызгаетесь! А потом возись с вами, — говорит адъютант, но увольнительные выписывает.

Я смотрю на моих сотоварищев. На них это «надрызгаетесь», как будто, не произвело впечатления. Почему же я не могу привыкнуть?

Сквер на площади Кронштадта. Сижу на скамейке. Женщина средних лет подходит, смотрит на меня и садится рядом. Что ей надо?

— Товарищ командир, — шепчет она мне в ухо, — поглядите, вон там, на скамейке сидит молодой человек. Это — немецкий шпион. Я давно за ним наблюдаю. Всё смотрит кругом, а потом в книжечку пишет. Арестуйте его, товарищ командир!

Недалеко от нас сидит юноша и пишет что-то в блок-ноте. Он иногда поднимает голову, смотрит в небо и снова пишет. Отгадать, пожалуй, не трудно — он наверно влюблен и пишет стихи.

— Товарищ командир, арестуйте его! — настаивает женщина. Она вся проникнута жаждой сенсации.

О шпиономании я уже кое-что слышал. Мне рассказывали, что в Ленинграде, например, дошло до того, что волокли в милицию даже милиционера, заподозренного в том, что он переодетый немецкий шпион.

Все радио-станции в промежутках между маршами и патриотическими песнями только и делают, что громят паникеров,

шептунов, предостерегают от диверсантов, вражеских парашютистов и лазутчиков и призывают к повышению бдительности и борьбе не только с внешним, но и внутренним врагом. Все силы советской агитации и пропаганды брошены на этот «участок идеологического фронта».

Господи! Что мне делать с этой дурой? Я так не расположен сейчас к глупым скандалам.

— Знаете что? За сквером стоит постовой милиционер. Идите к нему и расскажите о ваших подозрениях. Я пока постерегу шпиона.

Женщина быстро направляется к милиционеру, а я, как только она скрывается за деревьями, обращаюсь в постыдное бегство.

Не знаю, удалось ли в этот день влюбленному поэту закончить свой сонет.

Из завуалированных сводок Советского Информбюро всё-таки совершенно ясно, что Красная Армия ни на одном из рубежей не в состоянии задержать немецкого наступления. Газеты заполнены описаниями отдельных боевых эпизодов, рисующих подвиги красных героев.

Приемная полкового врача. Большая очередь, но она движется быстро, по-военному.

Хочу просить дать направление для снятия кардиограммы, т. к. последнее время чувствую себя неважно. Да к тому же ждать назначения в часть придется, повидимому, несколько дней.

— На что жалуетесь?

— Сердце... — я хочу расстегнуть тужурку.

— Не надо. Вот вам порошок.

— Нельзя ли кардиограмму...

— Не задерживайте. Следующий!

От какой сердечной болезни я получил порошок — не знаю. Но всё остальное было коротко и ясно.

Невольно вспомнилась встреча с другим врачом. Это было год тому назад. Я проходил как командир запаса врачебную комиссию в военном комиссариате.

— На что жалуетесь?

— Сердце.

— На что еще?

— Больше ни на что не жалуюсь.

— Ну так и запишем — ни на что не жалуется.

Стетоскоп прикасается на секунду к груди, перескакивает на спину и в военном билете появляется жирная запись «здоров».

Следующий! ..

Мне не пришлось получить нового назначения. Судьба распорядилась иначе. Я заболел, попал в госпиталь, был перевидетельствован и признан негодным к занятию строевых должностей.

IV.

Пассажирский пароход увозит меня из Кронштадта в Ленинград.

Что-то ждет меня дальше?

Но радость предстоящего свидания заслоняет собой все.

Любовь ...

Трудно говорить о любви. Да и надо ли?

Каждый любит по-своему, каждый иначе чем другие и в то же время в чем-то с ними одинаково.

Трудно говорить о любви. Еще труднее сказать, что такое любовь. Это надо знать.

Если человек не изведал в жизни настоящей любви и счастья, которое она дает, — он прожил неполно. Пусть он в другом достиг всего, к чему стремился — он жил неполно, он не познал жизни.

Но если человек узнал любовь, а в другом потерпел неудачу — можно ли назвать его несчастным?

Трудно говорить и нельзя объяснить, что такое любовь ...

Я знаю одно — я люблю.

Мы встретились 13 лет тому назад. На заседании кафедры. Ира тогда только-что окончила университет.

Причесанные на прямой пробор волосы, большие, очень большие темные глаза под прямыми бровями, строгий овал немного смуглого лица, чуть-чуть неправильный выразительный рот, хрупкая фигура — это все не может передать ее облика, изящного в своей простоте, обаятельного в своей женственности.

Маленькие руки с длинными пальцами. Немного приглушенный тембр голоса. Неуловимая прелесть в манере держать себя.

После заседания мы вышли вместе. Нам оказалось по пути. Трудно говорить о любви. Да и надо ли?

Через год мы были мужем и женой.

Для меня слово жена стало одним из самых больших слов. Отец Иры был врачом. Он боролся за русское дело, был

схвачен и расстрелян большевиками. Девочкой 12-ти лет она попала с матерью в концентрационный лагерь, потом в далекую и длительную ссылку. Машина ГПУ нечаянно выпустила из поля зрения свою жертву, ей удалось вернуться и получить образование. На вопрос в анкетах — кто ваш отец? — Ира отвечает: врач, умер. К счастью, о причинах смерти пока еще не спрашивают.

Несколько лет тому назад я получил кафедру. Ира руководит лабораторией в научном институте. Мы оба химики.

У нас сын, наш Коля. Ему сейчас 11 лет.

С нами живет мать Иры. Бабушка. «Бабуся» — говорит Коля.

Трудно говорить о любви. Да и надо ли?

Я знаю одно, что только любовь помогает нам жить нашу жизнь советских граждан. Тяжелую, тревожную . . .

V.

— Идите пока опять к себе, на гражданскую, — устало говорит мне писарь в военном комиссариате моего района в Ленинграде. Пометка в документах и вот я опять в штатском, опять дома.

Дома. Вместе. Хорошо.

Снова институт. Снова на столе стоит слоник. Снова вхожу в привычную жизнь.

В привычную? Нет, совсем иную. Совсем не ту.

Война.

Всякие отпуска и каникулы сразу после начала войны отменены. Высшим учебным заведениям приказано продолжать занятия. Десятки тысяч студентов, стремившихся домой, задержаны в Ленинграде. Но институт сейчас не учебное заве-

дение. Это в первую очередь учреждение, поставляющее рабочую силу для производства оборонных работ.

Рыть окопы! — повестка сегодняшнего дня.

Бригады — охраны социалистического порядка, санитарные, пожарные — в центре жизни института.

И параллельно — мобилизация!

Мобилизация обычная, через комиссариаты, и мобилизация в добровольческие дивизии в самом институте.

— Вы хотите помочь родине? — спрашивает секретарь парткома.

Кто ответит — нет?

— Да...

И прежде чем говорящий успевает сказать свое робкое «но», он уже призван годным защищать своей грудью социалистическое отчество.

Добровольно...

Скажем для ясности советским неофициальным языком: добровольно-принудительно.

За это время с моей кафедры призваны двое: ассистенты Кутузов и Брелков.

Ассистентка Смирнова ушла на фронт сестрой милосердия.

Часть студентов (это в подавляющем большинстве девушки; мужчины уже почти все мобилизованы) и многие преподаватели отправлены рыть окопы и противо-танковые рвы где-то далеко, в районе Нарвы. Кто-то оттуда приехал. Говорят, есть раненые.

Группа студентов грузит на товарной станции зерно и сахар в железнодорожные вагоны. Погрузка производится и днем и ночью. Почему увозят продовольствие?

В некоторых аудitorиях идут занятия, еще читаются какие-то лекции, сдаются досрочно экзамены призывниками и старшим курсом.

В срочном порядке организована особая группа комсомольцев и комсомолок для изучения немецкого языка. Им предстоит не то быть переводчиками, не то сброшенными в тыл противника. Говорят, кто-то был вызван в партком и уже отбыл «на ту сторону» — «добровольно-принудительно».

Около входа в институт пост бригады по охране социалистического порядка проверяет у входящих и выходящих пропуска и документы. «Революционная и боевая бдительность должны быть на высоте, товарищи!».

Посты у всех входов.

Посты «пожарников» на крышах.

Дежурства в санитарных комнатах
 В грязных коридорах торопливо снующие люди.
 В подвале под старинными сводами главного здания
 «штаб института».
 А в общем суете, сумятица, неразбериха...
 В эту неразбериху врываются сирены и голос в рупорах
 радио возвещает с наростающей силой:

«Воздушная тревога!
 Воздушная тревога!!
 Воздушная тревога!!!»

А потом мерно тикает метроном: тик... так... тик... так...
 тик... так...

С улиц всех загоняют в бомбоубежища, в наскоро вырытые на площадях и скверах рвы и подворотни.

Но налетов нет.

В бомбоубежища идут очень неохотно.

Вся жизнь нарушается. Никуда нельзя попасть во-время. Масса времени уходит на ничего-неделанье. Из магазинов выгоняют. Из трамваев выгоняют. Из поездов выгоняют.

Милиционеры кричат и неистовствуют.

— Товарищ, товарищ милиционер, мне только через улицу. В этот дом — вот — напротив. Что же вы меня гоните в противоположную сторону? Зачем же вы меня в подворотню? У меня в доме бомбоубежище...

— Давайте, гражданин, не разговаривать. Делайте, что приказано. Не пучьте глаза. А то за нарушение дисциплины... — продолжает гнать милиционер, не обращая ни на что внимания.

Власть дадена...

А на всех крышах и чердаках появляются вновь испеченные «пожарники» для тушения зажигательных бомб.

В институте идет повторный инструктаж пожарной бригады преподавателей моего факультета. Осматриваются чердачки, перераспределяются посты, вновь объясняются правила тушения зажигательных бомб.

— Вы стоите на чердаке. Вот лежит песок. Если зажигательная бомба пробивает крышу, то вы...

Красивый рот молоденькой ассистентки Павловой кривится и звонкий голос с чуть заметным оттенком иронии спрашивает:

— А если фугасная?

Сквозь слуховое окно чердака видно безоблачное авгу-

стовское небо. Кругом крыши, крыши, трубы и около одной из них, на доме напротив, сидят рядышком, на корточках, студент и студентка. Около них пожарные каски и неизменные портфели.

«Сидим мы тут на крыше,
на крыше,
на крыше,
А надобно и выше,
и выше,
и выше —
Полезем на трубу...»

Напевают смеющиеся голоса.

Весело быть молодым и сидеть вдвоем высоко на крыше, в теплых солнечных лучах.

А город мечется. Город нервничает. Город недоумевает. Не знает, что делать.

Радио-трансляция¹ передает сводки о «боях в направлении на...». Сегодня одно направление, завтра новое. «Успешные бои», а «направления» говорят об отступлении, о приближении фронта к Ленинграду.

Эвакуация!

Слово было брошено как-то очень скоро после начала войны. Его подхватили... но... как же это? Можно ли говорить об этом? Возникло колебание, неуверенность. Но вот снова — теперь уже определенное — эвакуация: эвакуация детей!

Но матери должны остаться. Матери нужны городу.

Заметались женщины. Заплакали дети.

Неуверенно брошенное слово «эвакуация» превратилось в безапелляционный приказ: обязательная эвакуация детей!

Куда? как? с кем?

Школами? Районами?

А маленькие?

И надо ли?

Да обязательно ли?

Многих уже отправили...

Слухи ползут: повезли, да не рассчитали — оказалось в направлении фронта. Эшелон разбомбило. Другой повернулся. Неизвестно куда. Почты нет.

Господи! Где дети?

Ира, до полусмерти напуганная эвакуацией детей, увезла Колю в деревню под Ленинградом. На службе сказала, что уже эвакуировала. С бабушкой. К знакомым.

— Только одно — не расстаться. Пусть всё как будет — только вместе.

Она права. Пусть всё как будет, только вместе.

А слухи ползут...

Эвакуация заводов!

Эвакуация научных учреждений!

Театры уже эвакуируются.

Консерватория уезжает.

К ним пристраиваются родственники и не родственники.

Эвакуация!!!

Эвакуация только с учреждениями! Самим нельзя! Есть план эвакуации!..

А слухи ползут: НКВД эвакуируется. Жены во всяком случае.

— Со всем имуществом и даже с коровами, — прибавляют совсем тихо. — «Чтоб свежее молоко в дороге было».

Эвакуация? Бегство?

У каждого свои мысли. Свои желания. Свои тревоги.

Город в лихорадке.

Город мечется.

А южнее Ленинграда день и ночь, растянувшись на сотни километров, идут беженцы. Пешком, на повозках, с вещами, с узелками, без всего. Женщины, старики, дети. Идут медленно. Идут понуро. Некоторые гонят скот. Идут днями, неделями. Не знают куда. Но уходить приказано. Да и оставаться негде. Красной Армии дан приказ сжигать деревни и села. Ничего и никого не оставлять врагу!

— Только не эвакуироваться, только не к ним, в тыл, — у Иры проснулась вся приглушенная ненависть к «ним», к «большевикам», к «большевизму».

У Марии Федоровны проще:

— Эвакуация... Мы беженцы. Беженцы — это ужасно. Я видела беженцев. Да еще быть беженцами при большевиках... В ту войну им все помогали. А теперь? Если бы и хотели — ни у кого ничего нет.

А немцы?

А фашизм?

Большевизм — знакомое зло, а говорят, что знакомое зло лучше незнакомого.

Но что хуже большевизма?

А слухи ползут:

— С немцами русская армия идет...

— За немцами русское правительство едет... Объявлена война большевизму!

Большевики тоже никак не могут допустить, что немцы будут настолько тупы в своей политике, что не попытаются победить их при помощи русских. На улицах появляются плакаты:

«Немцы везут в обозе царя и помещиков!»

А слухи ползут:

— Ну с чего вы взяли, что немцы плохо обращаются с русскими? Ведь это же культурнейшая нация!

А слухи ползут. Плохие слухи: начались высылки, усилились аресты. Эти слухи всегда верны.

В кругах профессорско-преподавательского состава чувствуется напряженность и нервность, столь знакомые в таких случаях. Аресты идут на этот раз, пожалуй, по линии происхождения. Репрессиям подвергаются лица из кругов прежней интеллигенции или носящие немецкие фамилии.

Среди арестованных уже есть знакомые.

Арестован мой коллега, профессор Шварц. Он так старался быть «передовым» и очень правоверным. Во время обыска, длившегося около шести часов, у него был дважды сердечный припадок, но, несмотря на просьбы жены, ему не разрешили выпить ни одного глотка воды. У него взяли золотые вещи. Случилось так, что его жена, прятавшая их в сарае, принесла их наверх за несколько минут до обыска.

В 48 часов предложено покинуть Ленинград всеми уважаемому библиотекарю нашего института, Аксаковой. Ей 65 лет. Она из очень интеллигентной старой русской семьи. Трудно ей будет...

Лаборанту физического кабинета Петуховой удалось выхлопотать двухнедельную отсрочку высылки в связи с тяжелой болезнью ее матери, которая должна была ехать с нею.

Каждый день узнаем о новых арестах.

Ночи спим плохо. Всё прислушиваемся, не остановился ли около нашего дома автомобиль.

Арест — это смерти подобно.

Ко мне в кабинет заходит профессор Андреев. Мы давно и хорошо знаем и понимаем друг друга. Мы даже откровенно

говорим друг с другом. Это редкость в «первом в мире социалистическом государстве».

Он присаживается. Мы оба закуриваем.

— Подходят, — прерывает молчание Андреев. — Я переживал немецкую оккупацию в прошлую войну в Крыму. Стюри и требовательны, но справедливы. Так трогаться никуда не будем, Александр Константинович?

— Не будем.

— Говорят, что академик Белавин, когда ему предложили эвакуироваться ответил, что он как «капитан» будет последним покидать корабль. — Удачно вывернулся, — улыбается Андреев.

— Да ведь он умница.

— А крысы-то, крысы — бегут!

— А корабль может вовсе и не гибнет, Михаил Васильевич?

Поживем — увидим.

Многие боятся ужасов фронта. Желание эвакуироваться охватывает всё более широкие круги.

А многим надо, пожалуй, уезжать. Им по пути с большевиками. Они волнуются, но еще осторегаются проявлять слишком большую настойчивость в отношении эвакуации. Как бы не обвинили в чем-нибудь!

В кабинете ректора одного из институтов Ленинграда, молодой женщины-партийки, опущены шторы.

Ректор лежит на диване с компрессом на голове. Ей сегодня в Городском Комитете Партии объявили, что вместо нее в командировку на восток с целью подготовки помещения для института в случае эвакуации поедет другой партиец. Ей придется пока оставаться в Ленинграде продолжать вести дела института.

— Какие тут дела! Уезжать надо, скорей уезжать!

На дверях надпись:

«Приема нет».

По дороге домой, на набережной Невы встречаю одного из моих бывших учеников, ныне секретаря парткома одного из филиалов Академии Наук.

— Не тех эвакуируют, кого надо, — возмущается он. — Ну, разве можно оставлять академиков? Им, во-первых, вблизи

фронта делать нечего, а, самое главное, — разве можно отдавать немцам таких, как например, Белавин? Ведь они премьера из него сделают, — вдруг срывается у него...

Бывают, очевидно, минуты, когда и секретарю парткома надо «высказаться».

Неожиданно приезжает двоюродная сестра жены. Она живет с мужем и дочерью в 70 км. южнее Ленинграда. У них неспокойно. Совсем неспокойно. Третий день слышна канона-да. Немцы полностью владеют воздухом. Части Красной Армии отходят. Вот, вот придут немцы. Она сегодня же едет обратно.

— Если красные будут выгонять, мы укроемся в лесу... Исход войны совершенно ясен. Еще три, четыре дня, ну, неделя — и немцы войдут в Ленинград... Терпеть осталось не-долго. Тогда — конец большевизму... Мы будем отрезаны от вас на несколько дней, а потом снова увидимся...

С фронта вернулся Кутузов, ассистент моей кафедры. Он в штатском и сидит на своем месте в лаборатории.

— Какими судьбами?

— Вернули, как и вас на гражданскую, — устало улыбается Юрий Николаевич и поднимается, чтобы пройти со мной в кабинет.

— Отбился при отступлении от части и явился в военный комиссариат.

— Юрий Николаевич, объясните-ка толком, что делается на фронте?

— Бегут, Александр Константинович. Дисциплины нет. Оружия нет. Руководства нет. Желания драться — тоже нет. Рассыпались, сбились и идут по дорогам к Ленинграду. Может где и иначе. Рассказываю, что видел... Так называемой добровольческой дивизии очень досталось... Все ведь необучены, кроме того, винтовки были только у передних. Задним было приказано идти так... брать оружие у павших... Сами понимаете... Попали под пулеметно-минометный огонь... Из нашего института трое убито... Знаете Иванова? Заместителя директора по хозяйственной части? Так вот он и два аспиранта...

В городе строят баррикады. В домах устраивают бойницы. На крышах устанавливаются зенитные орудия и пулеметы. В Академии Наук стоят пушки.

Почти все оборонные работы проводятся силами населения. Сотни тысяч людей, преимущественно женщин, роют вокруг Ленинграда окопы. Врачам отдано распоряжение освобождать от физической работы лишь в совершенно исключительных случаях. Многие уже доведены непосильным трудом до состояния полного изнеможения.

Проносится слух о предполагаемом минировании заводов.

— А мы что же будем делать, когда заводы взорвут? Нам без завода нельзя. Если и немцы придут — нам работать надо, чтобы есть, — говорит рабочий, мой сосед по коммунальной квартире.

— Мы взрывать не будем, — прибавляет он.

Эвакуация идет сухопутным и водным путем. Грузятся железнодорожные составы, грузятся баржи.

В город хлынули из окрестностей беженцы.

Фронт приближается. По вечерам слышна канонада.

Сотни привязных баллонов висят над темным городом.

Сотни прожекторов причудливо разрезают ночное небо.

Сводки Советского Информбюро явно расходятся с действительностью.

— Ирочка, неужели нам суждено увидеть снова над Россией трехцветный флаг?

Белый, синий, красный...

«Окопы! Все на окопы!»

Куда?

Зачем?

И вдруг короткое, звонкое слово. Звонкое и тогда, когда его произносят совсем тихо — к о л ь ц о .

Кто сказал это слово?

Но почему не отправляют эшелоны?

Город насторожился.

Сладут?

Кольцо...

Кольцо вокруг Ленинграда...

Кольцо...

Кольцо сомкнулось...
Город притаился...
Что дальше?

VI.

Нервные, издерганные дни...

Начальство требует, не взирая на развивающиеся события, на явную нелепость и невыполнимость такого распоряжения в настоящий момент, «нормального» хода работ.

В институте сутолока. Твердого расписания нет, да и быть не может. Занятия всё время срываются. Приезжают и уезжают на окопные и другие оборонные работы. Во дворе института студентов и преподавателей обучают штыковому бою и метанию бутылок с горючим в танки. Кто-то еще эвакуируется, вернее, надеется эвакуироваться. Идут ненужные совещания и заседания. Много времени уходит на разговоры с сослуживцами, требующими совета, что делать. Переезжаем в другое помещение, так как часть зданий института подготовляется под лазарет.

Время проходит бесстолково, с огромной затратой энергии.

Бесконечные воздушные тревоги, но налетов попрежнему нет.

В общем же все заняты одним — событиями на ленинградском фронте.

Надежда Павловна, технический секретарь факультета, почти непрерывно находится на окопных работах. На предложение остаться в институте, она отвечает:

— Я, как комсомолка, должна быть примером. В такие дни отдыхать нельзя.

Естественный ответ комсомолки? Нет. Это — исключение. В советской молодежи нет и тени настоящего патриотизма.

Мы привезли Колю с Марией Федоровной из деревни и опять все вместе — Ира, Коля, Мария Федоровна и я.

Вместе и порознь.

Ире и мне приходится сейчас, как и всем, очень много времени проводить на службе. Мы и всегда возвращались поздно, так как, кроме основной службы, работали еще и в

других местах, чтобы просуществовать. Это необходимо и из тактических соображений. На всякий случай хорошо иметь запасную службу. Среди профессорско-преподавательского состава в Советском Союзе не без причин считается полезным помнить о трех точках опоры, обязательных для устойчивого положения тела.

Теперь мы стали возвращаться еще позднее, чем обычно. Кроме того, Ира и я несем через день круглосуточные дежурства. В таких случаях проводим ночь на службе. Всё-таки удалось устроить так, что **дежурим** в одно и то же время. Таким образом, мы через день видимся и можем всё рассказать друг другу.

Мария Федоровна и Коля дома бывают редко. Они почти совсем переселились к тете Кате. В связи с эвакуацией детей Колю лучше не держать слишком на виду. Да и Марии Федоровне лучше меньше показываться на глаза управдому. Ее и так, несмотря на возраст, уже несколько раз назначали на дежурство у ворот (загонять с улиц людей во время тревог, следить за подозрительными лицами и т. д.). Помимо этого, у нас в доме или поблизости нет бомбоубежища, а у тети Кати есть.

Екатерине Николаевне Войновой или тете Кате 65 лет. Она, собственно говоря, совсем не тетя. Ира познакомилась с ней много лет тому назад в очереди у тюрьмы на Шпалерной. В те поры большевики ликвидировали остатки свободной мысли в университетах и тюрьмы были переполнены студентами. Обе тогда принесли передачи арестованным. Ира — подруге, а Екатерина Николаевна — своему племяннику. Разговорились. Выяснилось, что Ира знает ее племянника. Случайная встреча повела к более близкому знакомству, а потом к хорошей, большой дружбе, несмотря на разницу в возрасте. Когда Ира вышла замуж и у нас родился сын, Екатерина Николаевна всю свою любовь одинокой женщины сосредоточила на нем. Коля стал называть ее тетя Катя, а за ним и все мы. Сейчас она единственный близкий нашей семье человек и совсем своя. Она, конечно, куда больше чем родственница.

Дома хозяйство разладилось совсем. В магазинах ничего не купить.

Во всех учреждениях у пожарников сейчас новая ударная работа — они красят чердаки огнеупорной краской.

Мы ведь никогда не работаем просто. Вся наша жизнь

проходит «кампаниями», «ударно», «в порядке социалистического соревнования», смотря по тому, что прикажут свыше.

Ира — член пожарной бригады своего института. Неопытный пожарник-маляр очень устает от нового вида научной работы.

— Красим мы сегодня чердак, — пытается весело рассказывать она, — мужчины подносят в ведрах краску, а мы неуклюже орудуем кистями. Перемазались до невозможности. Не узнать. Вдруг прибегает наша уборщица и кричит: «Кто здесь члены Ученого Совета? Так на заседание идите!» — Мы очень смеялись и так, мазанными, и пошли.

В нашей комнате темно. За открытым окном сентябрьская ночь.

Черные контуры зданий. Тени мостов. Блеск лунного света на Неве. Спокойное безучастное небо.

И напряженная тишина.

В ней нет успокоения, нет отдыха, нет сна.

И вот, где-то, высоко в ночном небе еле уловимый звук. Он приближается, нарастает. Мертвый, металлический, беспощадный. Звук одинокого мотора.

— Ты слышишь, Ира?

— Слыши.

— Чужой!

Первый вестник грядущих бед.

— Вы домой Александр Константинович?

— Да.

— Тогда нам вместе. Вы на двенадцатом?

— Только бы опять тревога не помешала.

Григорий Михайлович и я быстро идем к трамваю, влезаем. Трамвай трогается.

Бзвывают сирены. Трамвай останавливается. Все должны немедленно выйти.

— Побежим в этот большой дом. В подъезд. Говорят, что по опыту Лондона безопаснее всего в лестничных клетках.

В подъезде пусто. Присаживаемся на ступеньки.

— Как живете, Григорий Михайлович?

— Неважно.

Он задумывается и вдруг решительно говорит:

— Брата арестовали.

Я удивленно смотрю на него. Григорий Михайлович, а, в особенности, его брат, в партийных кругах свои люди.

— И знаете, за что? За то, что родился в Берлине. И это действительно так. Отец и мать жили тогда в Берлине. Отец хотел, чтобы мать пользовали немецкие врачи. Взрослым мой брат никогда не был заграницей.

— Сейчас аресты вообще усилились. Вам известно, что арестован профессор Шварц?

— Арестован и расстрелян.

— Не может быть.

— Да, как немецкий шпион. А с ним вместе доценты Иоссе, Гильдебрандт и Клейн... Очень волнуюсь за судьбу брата.

— А вы о Гаевском и Жукове знаете?

— Нет, а что?

— Тоже арестованы.

Мы замолкаем.

Раздается артиллерийская стрельба.

— Неужели налет?

Стрельба усиливается. Слышен приближающийся гул моторов. Я подхожу к двери.

Улица пуста.

Высоко в светло-голубом небе стройно летит девятка самолетов. Под ними бессильные вспышки и дымки зенитных снарядов.

Налет. Первый налет на Ленинград. Но он, кажется, проходит очень мирно.

— Мы теперь с вами, Александр Константинович, не только сослуживцы, но и сотревожники.

— А вы попрежнему занимаетесь словотворчеством? Помнится, прошлым летом на Кавказе, вы меня называли спляжником.

Передо мной встает берег Черного моря, горячий песок, синева вод, южное жаркое солнце... Пляж...

Сопляжник! Ужасное слово... Да простит его великий русский язык!

А в это время на крышах доморошенные пожарники не могут оторвать глаз от горящего облака жуткой невиданной красоты, грозно подымавшегося далеко на окраине Ленинграда.

Горят главные продовольственные склады.

Горит мука, сахар, масло.

Метко сброшенные бомбы уничтожили основные продовольственные запасы города, безответственно сконцентрированные в одном месте.

— Сойти с крыши!

— Да нам приказано здесь быть во время тревог!

— Мало ли что приказано. А сейчас говорят — сойти!
Чего не видали?

Вечером кольцо вокруг Ленинграда становится видимым.
Полыхает зарево далеких пожаров. Горят окрестные города и деревни.

Фронт всё ближе.

Кольцо всё теснее.

Снова тревога.

Сирены еще воют, а над городом уже раздается всё нарастающий гул моторов и впервые режущий свист падающих бомб. Лай зениток. Страшный грохот. Со звоном сыпятся стекла, распахиваются двери. Наш дом шатается. Висящая на потолке лампа вздрагивает и качается как маятник...

Миновало...

Мы не знаем, что это только начало.

Начало ежедневных бомбардировок.

Наши две комнаты почти непригодны для жилья. Двери покосились, оконные рамы повреждены, стекла выбиты. Материала, чтобы привести в порядок окна, не достать. Пока завешиваем коврами.

В Ленинграде появились первые жертвы, первые развалины.

При тревогах не приходится загонять в бомбоубежища. Теперь все бегут сами. Больше того, так как самые сильные налеты происходят обычно с наступлением темноты, подавляющее большинство населения занимает с вечера места в бомбоубежищах и остается там всю ночь. В этом отношении царит настоящий психоз. Все разговоры врачаются вокруг налетов, бомбоубежищ, разрушений, жертв и чудесных спасений.

Несмотря на то, что к войне готовились долгие годы, город, в смысле охраны жизни населения, оказался совершенно неподготовленным. Всё то, что сейчас называется бомбоубежищами ничто иное, как сырье питерские подвалы. Обычно, чем лучше бомбоубежище, тем старее здание над ним. Теперь эти подвалы переполнены по ночам до отказа.

Раскопки засыпанных организованы из рук вон плохо.

— Вчера около нашего дома упало две бомбы. Как же им не бомбить? У нас на крыше стоят пулеметы. Значит мы — военный объект. Вот они и бомбят!

Ира ненавидит бомбоубежища и довольна, что она, как пожарник, вместо того, чтобы бежать вниз, должна быть на своем посту. У нее твердая уверенность, что с ней ничего не случится, но я никак не могу примириться с мыслью, что она, в силу нелепого приказа, должна стоять на чердаке, когда кругом свистят фугасные бомбы и осколки зенитных снарядов пробивают крыши.

Сегодня днем немцы сбросили листовки над центром города. Многие упали в сад института.

Я вижу через окно, как члены бригады по охране социалистического порядка под водительством секретаря парткома собирают их. Хождение по саду прекращено, сад оцеплен и тщательно, до последнего куста, обыскивается. Интересно наблюдать, как члены бригады, поднимающие листовки, несут их к секретарю парткома, стараясь всем своим видом показать, что они их не читают и даже ими не интересуются.

А любопытство и интерес велики и я знаю, что листовки, поднятые в лесу под Ленинградом, там, где поднимающего никто не видит, обходят десятки и сотни рук.

О немцах мы, в сущности, ничего не знаем. В газетах всё чаще появляются сведения о немецких зверствах, но советской прессе и агитации давно никто не верит, а других источников нет. Разве что рассказы об окопщиках и беженцах, которые якобы сталкивались уже с передовыми немецкими отрядами и были ими обласканы. Сейчас циркулируют десятки таких анекдотов, которым многие склонны верить.

Содержание и текст немецких листовок очень неудачны. Однако, у некоторых начинает крепнуть мысль, что приход немцев может послужить началом освобождения.

Освобождения от большевизма.

— Александр Константинович, я — инженер... Вы знаете, что я происхожу из бедной, малокультурной семьи. Мое положение является для меня большим достижением. Так вот

— я готов отказаться от всего и стать у немцев, если надо, чернорабочим, но только освободиться от большевиков.

Советские граждане стали за последние дни более откровенны и менее осторожны.

Опасно и трудно быть в Советском Союзе человеком, которому верят и говорят то, что думают. Ему всегда надо считаться с возможностью провокации. Но в данном случае я знаю, что мой знакомый говорит, хоть и сгоряча, но без задних мыслей.

А немцы подходят.

Они заняли Новый Петергоф, Лигово, Пулково, Царское Село, Павловск, Колпино и вышли к Шлиссельбургу.

— Враг у ворот города!

— Все на защиту!

Минируют мосты, заводы, большие здания.

Утверждают, что отдан приказ, в случае надобности, взорвать их, не предупреждая жителей.

Учреждения превращаются в укрепленные пункты. Строятся новые баррикады. Во всех учреждениях приказано создать боевые дружины самообороны, а остальному населению быть готовым отражать врага своими средствами.

Камнями и кипятком.

Но боевого духа в населении нет.

Среди партийцев растерянность.

Ощущается резкий недостаток продовольствия. Милиция производит на квартирах обыски. У кого-то отняли 2 кг. сахара. Кого-то арестовали за 10 фунтов муки.

Все находятся в состоянии нервного ожидания, которое в эти дни достигает высшего напряжения.

Что дальше?

Дойдя до окраин Ленинграда немцы останавливаются.

По городу ведется артиллерийский огонь.

Воздушные налеты усиливаются.

Проходит день, два, неделя . . .

Что дальше?

О сад а.

А. Богданович

(Окончание следует).

ВОЗВРАЩЕНКА *)

В одно из воскресений, когда я слегка задремал после обеда с газетой в руках, в дверь моей комнаты вдруг застучали и, прежде чем я успел ответить, ворвался, широко и довольно ухмыляясь, придуроватый сын хозяйки, всегда старающийся услужить невпопад, а за ним вошел незнакомый мне француз. Забыв, что день воскресный, и решив, что это какая-нибудь очередная полицейская анкета, я соскочил с кровати и предложил стул.

Извинившись за беспокойство, пришедший попросил перевести ему русское письмо. Не совсем еще очухавшись от сна, я взял протянутый листок бумаги и начал переводить типичное для доброго старого времени послание матери к дочери с бесчисленными поклонами и т. д. Суть же сводилась к тому, что матери живется очень трудно: сыновья с войны не вернулись, невестки из дома разбрелись, от второй дочери нет вестей; сама она, мать, за эти годы постарела, ослабела, часто болеет; никто ей не помогает, а на свои заработки приходящей «домработницы» она ни сама прожить не может, ни содержать их общий домишко не в состоянии. Через каждые две фразы повторялся жалостный призыв поскорее вернуться домой.

На середине письма я окончательно проснулся и сообразил, что нарушаю тайну чьей-то переписки. Остановился и попросил объяснить, какое отношение может иметь подобное письмо к визитеру моему. Оказалось, что он женат на русской, привезенной им из Германии; что она не знает французского языка и объясняются они между собой по-немецки, но ее знаний оказалось недостаточно, чтобы передать ему содержание этого письма с той полнотой, как ей хотелось.

*) Всё здесь написанное — фактически верно, до мелочей. Изменены лишь имена, семейные подробности, местоожительство. Факты взяты частью из личных разговоров, а главным образом из переписки — более десяти писем из России, прошедших через мои руки в качестве переводчика.

В. Б.

Вот почему она и направила его ко мне, узнав, что по соседству живет какой-то русский.

Когда перевод был закончен, и я отказался от предложения пойти в «бистро» и выпить там стаканчик, мой гость настойчиво стал просить меня зайти вечером к ним, познакомиться с женой, которой очень скучно без русских знакомств, и дал свой адрес. Отговорившись занятостью, я дал уклончивое полуобещание зайти как-нибудь после.

В следующее воскресенье мой новый знакомый снова появился у меня и тоном, не допускающим возражений, заявил, что жена подготовила специально для меня «русский ужин» и ждет...

Соотечественница оказалась миловидной женщины лет 35-ти с на редкость доброй улыбкой. С первого же взгляда она произвела очень выгодное впечатление. По-русски говорила правильно, невыпример большинству советских молодых людей, с которыми мне приходилось сталкиваться. Чувствовалась известная культурность, очевидно привитая воспитанием в семье и усиленная чтением. Это последнее обстоятельство впоследствии подтвердилось: она любила книги и читала много и здесь, каким-то чудом раздобывая русскую эмигрантскую литературу. Небольшим, но приятным голосом, под гитару, она много пела в этот вечер — стариные романсы и песни вперемежку с новейшими советскими частушками и неизбежной «Катюшей» в качестве гвоздя репертуара.

По ее настойчивым приглашениям, энергично поддержаным мужем, я был у них еще раз десять. Из разговоров, по отрывочным эпизодам, я мог восстановить всю ее биографию.

Родилась она и почти безвыездно прожила свою жизнь до войны в крупном центре северной Украины. У ее отца была сапожная мастерская. Он работал сам и держал еще 5-6 рабочих, изготавливая обувь по заказам и для рынка. Жили зажиточно, в семье ладили. Отец одно время сильно пил и отсюда у Анюты органическое отвращение к пьющим. Революция и гражданская война как-то прошли мимо и не внесли в жизнь семьи больших потрясений. При НЭП-е дела отца процветали и ей удалось пройти не только начальную школу, но и начать среднюю. Беда пришла в 1927 году. Умер отец, оставив мать с тремя сыновьями и двумя дочерьми. Мастерскую ликвидировали, но воспоминание о ней вскоре отравило жизнь всей семьи. Если при отце предприятие, фигурировавшее официально в качестве «трудовой сапожной артели», не вызывало никаких преследований, то теперь, когда началось «сталинское

наступление», покойник вдруг попал в «эксплуататоры» со всеми вытекающими из сего последствиями для детей. Сомнительность «соц-происхождения» прервала их образование и долго отзывалась на их жизненной карьере.

Мать пошла на поденку к чужим людям. Дети-подростки рассыпались по ближайшим шахтам и заводам, но как только им удавалось выдвинуться своим трудолюбием и энергией, они всеми силами старались вернуться в родной город. Так что к началу войны все жили вместе с матерью в старом отцовском домике.

Анютка в числе других прошла суровую школу. После пяти лет тяжелой, чисто-мужской работы на заводе, она «выдвинулась» благодаря общему своему развитию, попала на более чистую работу в складе готовой продукции и там и осталась до войны, заслужив звание перманентной «стахановки». Но и тут сказалось проклятие отцовской мастерской: несколько раз ставилась ее кандидатура на ответственную работу в канцелярии или на руководящее место в производстве, но всегда выпадало то обстоятельство, что ее мать — лишенка и открывавшиеся места доставались другим.

Она рано вышла замуж, без всякой любви, а так — «для порядка»:

— Когда мне исполнилось 19 лет, мама и брат сказали: «А тебе, Анютка, надо выходить замуж». Ну, что ж! Надо, так надо! Хотя я и была бесприданница, в женихах недостатка не было. Выбрала тихого и спокойного парня; главное, он был непьющий. Потом оказался болезненным, всё желудком страдал. Язва у него была. Вот и вышла за него, прожили вместе 15 лет, а сама до сих пор не знаю: любила ли я его или нет. Ни в чем пожаловаться не могу: не пил, в карты не играл, всякий свободной минуты дома работает, что-то по хозяйству мастерит или в огороде копается. Ласковый был, слова нехорошего мне ни разу не сказал. Да и то сказать, жизнь наша с ним большей частью прошла на «записках». Смены наши часто не совпадали, а оба мы работали. Прихожу домой, а на столе записка: «Дорогая Нюра, я пошел на работу. Достал в кооперативе то-то и то-то. Готовь обед...». Он приходил с работы, ему записка: «Дорогой Коля, кушай, что готовила. Если успеешь, сходи за керосином. Может быть ты достанешь, я не успела. Или еще что-нибудь купи, если попадется». Так и прожили мы нашу жизнь, если это можно назвать жизнью. Жалко, детей у нас не было, а я детей очень люблю.

Другой раз, вернувшись к той же теме, она рассказала мне еще кое-что из своей семейной жизни.

— Знаю, что он-то меня любил. Жалел меня, когда бывало в мороз поднимаясь в три часа ночи итти на работу. Часто, сам невыспавшийся, он шел меня провожать, от собак защищать. Я собак боюсь страшно. А у нас в квартале по-вре-нам неизвестно откуда появлялось, ой, как много собак и ночь ю на людей кидались... с голоду — что ли? И всё его мучило, что того, что он зарабатывает, никак не хватает на нас двоих, что и я должна работать. Да и зарабатывала я много, почти столько, сколько и он, если считать «премии», так что даже одеваться стала последнее время так, что меня чуть не первой франтихой на заводе звали. Конечно, сравнить с тем, как тут женщины ходят или в Германии видела, так это бедность, а по нашим меркам — одевалась хорошо: ботинки всегда самые лучшие, пальто — новое, шапочка меховая... Муж это очень любил, не только не упрекал, а даже всё норовил съэкономить, чтобы подарить платки или чулки.

— И так было до 1941 г., когда началась война. Забрали его по мобилизации. На вокзале обнял он меня и говорит: «Эх, Ниора, Ниора! Ведь мы с тобой за это время и не нажи-лись, как следует, и не наговорились, и не нагулялись... Всё некогда было...». И горько заплакал. Плакала и я с ним. Ведь он был мой первый, да при нем я других и не знала.

Город был взят немцами неожиданно быстро. Эвакуация только-только началась и мало кто выехал. Да и кроме партийцев и евреев, мало кто стремился уезжать. Настроение большинства населения было определенно антисоветское. Войну ждали давно, как освободительницу: «На войне власть началась, на войне и кончится». Немцев представляли себе по рассказам старших о временах оккупации 1918 года и ни-сколько не боялись их прихода...

Но новые, гитлеровские немцы не походили на «вильгельмовских». Население сначала недоумевало, а потом проник-лось нечеловеческой к ним злобой. Ни голод, ни аресты и обыски, ни реквизиции, ни даже казни не поражали столько воображение, — ко всему этому привыкли за время коммунизма, — как откровенное нагло-презрительное обращение. Советская власть была всегда в этом отношении дипломатичнее: преследуя известные группы и слои населения, она ис-

кусно льстила самолюбию других; черня и затаптывая в кровь и грязь свою очередную жертву, она превозносила до небес политическую мудрость и социальный геройзм остальных. Тут же всех третировали одинаково, не то как полулюдей, не то просто как скотину.

Точно также даже во времена самых жестоких голодовок власть находила возможность подкармливать нужные ей категории населения привилегированными пайками. При немцах же чувствовалось не только полное отсутствие заботы о всем без исключения населения, но еще и какая-то сознательная политика, осуждающая его на вымирание. Народ очнулся, отшатнулся...

Когда после вывоза всякого рода запасов, начался увоз живой силы, Анюту, вместе с младшей сестрой мужа, Катей, долго не шла на регистрацию, уклонялась от прямых вызовов под видом болезни. В конце концов обе были арестованы и после двух недель тюрьмы попали в отправку на завод — сначала где-то неподалеку от Берлина, а оттуда в маленький прирейнский городок. Здесь она работала на фабрике синтетического каучука в невозможных гигиенических условиях по 10-12, а иногда и 14 часов в день. Кормили скверно и недостаточно. От удушильных испарений женщины то и дело падали в обморок. Первый год дисциплина была каторжная. По окончании работ их отводили под конвоем в здание, где они спали, и оттуда никуда не выпускали даже в праздники. Но потом, когда начались воздушные налеты, режим ослабел и наступила пора относительной свободы, стали пускать в город, смотреть сквозь пальцы на многое.

К этому времени и относится знакомство Анюты с ее теперешним мужем.

— Это была моя первая и настоящая любовь. Их пришло двое: он и его товарищ — устанавливать новую машину. Как увидела его, так и поняла, что или он, или смерть моя! Вот он — человек, которого я и сердце мое искали так много лет. И он также сразу обратил на меня внимание, ко мне первой подошел, заговорил... Потом началось. Сначала мы несколько раз встречались на работе, — он приходил часто ремонтировать машины. А потом стали выходить гулять вместе по праздникам. Опасно было. Могли попасться на такого немца, что придрался бы, скандал устроил... А еще страшнее было от своих — русских. Стояла здесь неподалеку какая-то «власовская» часть, всё больше из «нацменов». Так они хотели, чтобы наши девушки только с ними гуляли. Только все они

были страшные, грубые... Куда им с французами равняться. И как увидят наших с чужими, сейчас же нападают. Одного бельгийца штыком ранили, а девушку без юбки по городу пустили. Один раз идем мы с моим французом, а на встречу трое в немецкой форме. Увидали нас и давай ругать матерно. Я ни жива, ни мертвa, а он говорит: «*Sei ruhig*» и ведет меня прямо на них, как ни в чем не бывало. Те даже ругаться перестали. Смелый он. Бывало бомбежка еще не кончилась, сирены воют, а он уже прибежал узнать: жива ли, цела ли я. Когда меня ранило осколком в ногу, как он беспокоился, даже цветы носил и съестного. Как доставал — сама не знаю. Только и жила тем, что знала, что с ним встречусь и забудусь хоть на миг...

— Потом пошли слухи, что американцы подходят, а когда сказали, что они уже не дальше как в 30 километрах, так мы все — я, Катя и еще одна русская — все со своими французами во время налета убежали в лес, ближе к фронту, навстречу американцам. Пять дней провели в лесу. Холодно было, дождь промочил до костей, спали в ямах под деревьями, через два дня есть стало нечего, а весело было, как никогда еще в жизни... В лесу он сказал мне, что женится на мне и увезет к себе во Францию. Так и случилось. Когда мы попали к американцам, он нашел полкового пастора и тот нас обвенчал. Я много плакала во время венчания, но это от счастья. Вот бумага, которую пастор выдал.

Действительно на красочном формуляре, чуть ли не с целующимися голубками, среди печатного текста на английском языке были проставлены имена Аньюты и ее мужа-француза. Точно угадав мой вопрос, который я не решался задать, она продолжала.

— А то, что я повенчалась с ним, не зная точно, жив ли Коля или нет, так в этом, я думаю, ничего плохого нет. Ведь с Николаем мы поженились без церкви в ЗАГС-е. А с этим — по-церковному. А потом Катя мне говорила еще в 44 году, что кто-то ей сообщил о слухе, что Николай убит.

По приезде во Францию Аньюту ждало первое разочарование. В семье мужа ее встретили хорошо все, кроме сестры, ведшей хозяйство старика-отца. Об этом периоде она умалчивала. Только раз сказала: «Вот не знаю, за что меня она не взлюбила. И чувствую я, что только одна она на всем свете меня ненавидит. Всю мою жизнь люди меня всегда любили. И что я ей плохого сделала? Не знаю. Всегда на меня дулась,

бранила. Я несколько раз у нее просила прощения, хотя вины за собой никакой не чувствовала...»

Много позднее француз мне рассказал, что однажды сестра в его отсутствие закатила Анюте такую сцену, что та заперлась в комнате, привязала веревку к кровати, всунула в петлю голову и ноги и, скатившись с постели, повисла. К счастью отец, проходя по двору, заглянул в окно и через щель занавески увидел, взломал дверь и вынул ее из петли уже без сознания.

В тот же день муж, которому она никогда не жаловалась и который не знал до каких пределов дошла вражда его сестры к Анюте, разругавшись с сестрой навеки, ушел с женой из родного дома. Найдя квартиру, они зажили своим хозяйством. Француз был лет на пять старше Анюты, спокойный, энергичный, хорошо зарабатывал. Ей ни в чем не отказывал и, несмотря на трудности послевоенного периода, очень прилично одел ее, снабдил всем необходимым, охотно давал деньги на русские книги, выписал газету, на стенку повесил русский календарь. Не раз Анюта говорила, что не помнит со времени смерти отца, чтобы у них дома ели так, как они едят теперь.

В ответ на письмо, послужившее поводом для нашего знакомства, матери отправили три посылки с одеждой и бельем. Одним словом, за время первых посещений, я был готов думать, что Анюта нашла свое счастье.

Правда иногда проскальзывали ностальгические нотки. Жаловалась она на скучу: муж целый день в отсутствии, объезжает на велосипеде клиентов, а она сидит дома, поговорить не с кем, языка не знает. Наплывали воспоминания о работе на заводе, об успехах на службе, о торжественных собраниях, где упоминалось ее имя, как отличной работницы. С восторгом рассказывала она о своем участии в первомайском шествии в колонне «стахановцев» завода.

— Там я была чем-то, какое-то положение в жизни занимала, а здесь я — что? Домработница при муже. Вот если бы дети еще были...

Муж предлагал ей взять на воспитание какую-нибудь сиротку.

Но вскоре характер этих разговоров выродился в нервную критику французского быта, в котором она ничего не понимала и не знала, и как раз в тех областях, которые меньше всего критики подлежали. Всё свидетельствовало о том, что она никак не может подойти правильно к окружающей обстановке, столь не похожей на советскую. Всё чаще раздавалось упрямое и самоуверенное: «А у нас всё лучше».

Считая споры в этой плоскости бесполезными, я лишь пытался объяснить разницу, но мои объяснения принимались с явным недоверием. В воздухе пахло кризисом, и когда мне пришлоось переводить мужу новое письмо из России, в котором мать звала Анюту с еще большей настойчивостью, так что мне показалось: не под диктовку ли НКВД оно написано, я почувствовал ясно, что в доме не всё ладно. Из последующих разговоров выяснилось, что накануне здесь были сестра первого мужа, Катя, и еще одна советская, Таня. У них обеих дело с их французами не клеилось.

У Кати, как я убедился при знакомстве с нею, характерец был — «мое почтение»: предельная вульгарность манер, наглая самоуверенность, полная некультурность в сравнении с Аньютой, капризы, претензии и т. д. Понятно, что француз должен был потерять терпение, живя с подобной особой.

У третьей — Тани — дела были совсем скверные. Она была в прошлом ответственной работницей в одном из учреждений областного масштаба. Достаточно образованная и развитая. Происходила она из смешанной русско-еврейской семьи и ее родители — партийцы — погибли от рук немцев. Ей же удалось спастись каким-то чудом и отделаться лишь отправкой на работы в Германию. Случай связал ее там с французом моложе ее по возрасту из бедной и очень недружной семьи, большим бездельником. Его возвращение из плена да еще с иностранкой легло двойным бременем на родных. Отсюда и соответствующие последствия. Ко всему прочему Таня забеременела, а это помешало ей устроить свою судьбу иначе, стать здесь во Франции на свои собственные ноги. Ее состояние делало ее еще более нервной и раздражительной. Для нее возврат на родину представлялся единственным возможным выходом из положения.

Так бедная Аньута оказалась под давлением соответствующих настроений своих менее удачливых приятельниц. Чувствовалась нарастающая драма.

Началась критика мужа. Аньута не могла понять, что муж уже по самой своей профессии комми-вояжера вынужден выпивать стаканчик-другой с клиентами для поддержания отношений, для вспрыскивания сделки, и что во Франции вино за алкогольный напиток не считается, и его пьют даже дети. Встречая мужа, возвращающегося после трудового дня чуть-чуть навеселе, она начала брезгливо отворачиваться от запаха вина и демонстративно подчеркивать свое неудовольствие. Мне она то и дело говорила:

— Что же это такое? Каждый день пьян. А я знаю, что это значит... Сегодня с товарищами, завтра с женщиными... И так что будет, до чего дойдет? А?

Не могла или не хотела понять и того, что чтобы одеть ее при нынешней дороговизне, чтобы организовать заново совместную жизнь для двоих, чтобы помочь матери ее и поку-пать книги для нее самой, муж должен был усиленно работать, обезжать на велосипеде ежедневно во всякую погоду обширный район, иногда запаздывая к обеду и ужину. Вечером он долго сидел за приведением в порядок полученных заказов и сведением счетов с представляемыми им фирмами. Сравнивая с жизнью в России, где она видела только ту работу, которая кончалась с выходом из предприятия, она считала, что муж начал ею пренебрегать и уделял ей слишком мало времени.

— Иной вечер десятка слов мне не скажет. Совсем переменился, а какой милый и внимательный был в Германии. Я за деньгами не гонюсь, согласна на хлебе с водой сидеть, только бы он побольше был со мной.

И дальше в таком же духе. Но вести хозяйство на здешний манер она не умела и никак не могла уложиться в отпускаемый ей мужем бюджет. Посещения приятельниц участились и параллельно с ними углублялась рознь с мужем. Началось безудержное расхваливание передо мной советских порядков в полном противоречии с тем, что Анюта мне рассказывала раньше. Спорить не хотелось, но иногда для поддержания разговора я уличал ее в этом; тогда она с азартом совала мне номер «Советского Патриота» или «Русских Новостей» и с жаром уверяла, что теперь всё переменилось; Сталин понял, убедился, что народ за него, и теперь уже имеет к народу доверие; а потому пошла совсем новая политика. Делались даже наивные попытки и меня обратить в коммунистическую веру.

— Вот вы живете в паршивой комнате, а рядом какой-то буржуй с женой, без детей даже, занимает целый особняк в восемь комнат. Разве это порядок?

Мне стало скучно бывать в этом доме и я всё больше и больше растягивал промежутки между визитами. Да и муж как-то ко мне переменился, подозревая, что я скверно влияю на Анюту, и раза два даже спросил меня:

— А что? И вы тоже уговариваете ее ехать домой?

От его прежнего ровного характера не осталось и следа. При появлении приятельниц жены или заставая их при возвращении с работы, он тотчас же уходил из дома и возвращался

поздно ночью уже действительно навеселе. Тогда он начинал кричать:

— Если хочешь уезжать, так уезжай поскорее! Чего ты ждешь? Хочешь, чтобы я совсем с ума сошел?

Сыграла свою роль и невозможность объясниться как следует с передачей всех оттенков настроения, так как оба знали по-немецки не большие нескольких сотен слов, терминология оказывалась слишком грубой для передачи сложных и тонких душевных движений.

Так, например, как удалось выяснить только впоследствии — в корне создавшихся отношений лежало языковое недоразумение.

Терзаемая внутренними противоречиями, Анюта не раз в хорошие минуты опускалась перед мужем на колени и, ласкаясь, просила: «Помоги мне», ожидая моральной поддержки с его стороны в той душевной борьбе, которая разрывала ее сердце. А он понимал это, как просьбу помочь уехать, как испрашивание его согласия; злился и заявлял, что она свободна поступать так, как ей будет угодно. Отсюда и его крики: «Уезжай, уезжай скорей». Трудно было для него уловить «изгибы» женской, да еще «славянской» души...

Она, в свою очередь, превратно истолковывала естественное охлаждение оскорбленного в своем самолюбии мужчины, которого хотят покинуть ради матери (между прочим, он предлагал ее выписать во Францию, как только это станет возможным) или под влиянием тоски по родине. Анюта накапливала свои обиды, реальные и воображаемые.

Потом вдруг наступило известное успокоение.

С Катей состоялось соглашение, что она поедет одна и возьмет на себя заботы о матери Анюты, а за это Анюта будет посыпать Кате посылки. Было уговорено, что Катя напишет в условных терминах: какова теперь жизнь в России, как пройдет ее путешествие и что ждет возвращающихся.

Но это затишье не длилось долго. Изнервничавшаяся в конец Таня, ушедшая (или выгнанная неделикатным обращением) из дома своего «друга» переселилась к Кате и стала еще чаще появляться у Анюты и будоражить ее жизнь своими жалобами, едкой критикой французов, не щадя и анютиного мужа. При всей твердости ее и Кати решения возвращаться, у обеих был большой страх возможных репрессий за запоздалый отъезд на родину, за романы с иностранцами, за кое-какие «истории» и с немцами во время депортации... Хотелось быть в большей компании. На миру и смерть красна. И сознательно

или бессознательно, но обе всё время играли на самых больших струнах анютиной души и толкали ее на роковой шаг. Они настояли на том, чтобы Аньота их сопроводила к советскому представителю по депатриации под тем предлогом, что может быть отправка будет немедленная и им не удастся попрощаться. Аньоту к тому же мучило любопытство.

Я был у Аньоты на следующий день после их совместного визита туда.

Скрывая подробности, сбиваясь и краснея от лжи, она мне рассказала следующее. «Майор» был изысканно вежлив; заверял, что страхи их смешны и глупы и являются результатом злостной клеветы закоренелых белогвардейцев, под влияние которых бедные советские гражданки попали: «Родина зовет вас. Там после войны столько пустых мест осталось в рядах трудящихся, которые только и ждут от вас, гражданки, чтобы их заполнили. Неужели они останутся пустыми из-за ваших неосновательных колебаний», и дальше в том же духе.

Заметив, что Аньота держится в стороне и в разговор не вмешивается, он обратился к ней с вопросом: «А вы же что, гражданка?» Тут обе приятельницы наперегонки стали объяснять ее положение, высмеивая ее чувства к теперешнему мужу, растревливая самые больные места. Совершенно растерявшаяся Аньота махнула на всё рукой и заявила, что она тоже едет вместе с ними, дала свой адрес и получила предупреждение быть готовой через три дня к приезду за нею специально посланной для этого машины.

Меня она просила ничего не говорить мужу об этом, так как она сама хочет его подготовить. Как потом оказалось, смелости откровенно сказать всё у нее не хватило. Она делала туманные намеки в тех же тонах, к которым он уже привык и на которые особого внимания не обратил. Утром в день отъезда, провожая его, она сказала:

— Может быть вечером, когда ты вернешься, меня уже здесь не будет...

— Хорошо, хорошо. Слыхали уж не раз. Если уедешь, так не забудь привести в порядок мои вещи.

День прошел как в тумане. Она сходила за покупками, получила по карточкам продукты, вино, хлеб. Собрала белье мужа, аккуратно сложила в шкаф. Начала складывать свои вещи, но не могла кончить. Ждала полудня в робкой надежде, что муж приедет обедать, хотя знала, что он поехал в самый дальний край своего района и рано вернуться не сможет. Потом снова принялась за сборы, нарочито растягивая время и едва

кончила, как услышала шум подъехавшего автомобиля. Выскочила на улицу и встретила у дверей советского офицера в форме. Тот обратился к ней по-французски, что-то спрашивая. Ничего не понимая, вся в нервной дрожи, не попадая зуб на зуб, она ответила: «Я — русская. Это вы за мною?»

Лейтенант вошел в комнату, осмотрелся кругом, заглянул в отрывной календарь на стене, потрогал кучку русских книг, сел на предложенный стул и спросил ее документы.

Торопливо она дала свое временное свидетельство на право проживания во Франции, выданное местными властями, где она значилась под фамилией мужа. Сколько хлопот стоило мужу его получить!

Лейтенант внимательно прочел документ и заявил с недоумением:

— Да у вас всё в полном порядке. Почему же вы хотите ехать? Что побуждает вас уйти от мужа? Живете вы здесь, как видно, не плохо. Бьет вас муж, что ли?

Она начала объясняться, что мать пишет о своей болезни, о желании повидать ее перед смертью...

Офицер пожал плечами:

— Хорошо, дело ваше. Только вы это напрасно...

Всю дорогу до лагеря оба молчали. Лишь изредка лейтенант перекидывался короткими фразами с шоффером и много курил.

В лагере она нашла обеих подруг, которые были доставлены сюда с утра. Обе были страшно подавлены обстановкой, в которую попали. Только тут Катя передала Анюте письмо своей матери, пришедшее более двух недель тому назад. Мать мужа, хотя и знала адрес Аньюты, послала его через свою dochь, чтобы та «подготовила» невестку. В письме сообщалось, что, по данным штаба, Николай был убит в 1943 году под Орлом: разорван снарядом на мелкие куски, так что и хоронить было нечего. Уведомление из полка пришло давно, но мать Николая была в отъезде несколько месяцев и вернувшись нашла его в почтовом ящике. Аньутина мать к этому письму сделала присыпку: «Оставайся там где ты есть. Теперь тебе ехать не к кому, а я сама как-нибудь перебьюсь» и сообщала, что вернулась из эвакуации младшая dochь и поселилась вместе с нею; посыпала свое благословение на новую жизнь...

Можно себе представить, что пережила в этот момент Аньута. Только теперь она отдала себе отчет, что в ее душе всё время торчала заноза, в существовании которой она не признавалась не только другим, но и самой себе: сомнения в

смерти мужа и угрызения совести, что она, может быть, при живом еще муже вышла замуж за другого, да еще в церкви. Сразу забылись все нелады с «французом», ушла прочь куда-то далеко тоска по родине и захотелось во что бы то ни стало вернуться в свой новый дом, только что покинутый. Настроение было такое, что ей даже в мысль не пришло выбранить Катю, которая — теперь это было ясно — нарочно скрывала две недели письмо, чтобы Анюта уехала вместе с нею.

Ночь прошла без сна, в лихорадочных думах и планах, а утром, как только открылась канцелярия, Анюта уже была там и плача просила отпустить ее. Человек, к которому она обратилась, был очевидно тронут ее состоянием. Прочел письма, проглядел ее французские документы и заявил, что ей, правда, нет смысла ехать, но нужно, чтобы за нею приехал ее муж лично, чтобы можно было с несомненностью установить: действительно ли он хочет жить с нею дальше, а то было много случаев, что французы привозили с собою русских женщин из Германии, а потом выгоняли их на улицу. Он обещал даже, в случае прихода мужа, отвезти их обоих домой на казенной машине.

Ей было разрешено написать мужу письмо и оно было отправлено без цензуры. Из него я и взял материал для описания событий «рокового», как она сама его называет несколько раз, дня. Письмо написано в такой лихорадке, уснащено столькими личными и интимными отступлениями, что я не рискнул его привести полностью, а даю лишь заключение:

«Прости мне мою глупость, что я не послушала ни тебя, ни добрых людей, поспешила и поступила так опрометчиво. Я теперь понимаю, как я виновата перед тобою. Если бы я была уверена, что ты простишь меня, я убежала бы отсюда к тебе, пробралась бы через высокую проволоку, обманула бы патрули, чтобы быть твоей собакой, твоей тряпкой, раз я не сумела быть твоей женой. Но я боюсь, что ты меня больше не примешь после всего того, что я наделала. Спаси меня, если у тебя есть еще хоть немного жалости ко мне. Спаси и прости...»

Я встретился с французом перед своим домом уже в самый вечер того дня, когда уехала Анюта. Он был сильно пьян; возмущался, что «иностранные» увезли его жену в его отсутствие; притирался ко мне: почему я, зная о намерениях Анюты, не предупредил его заранее. С большим трудом мне удалось от него отделаться.

Через два дня я застал его у своих дверей с письмом из лагеря, о котором только что рассказал. Вид у него был ужас-

ный. Видно было, что всё это время он пил без перерыва. Спяну с кем-то подрался, и бесчисленные ссадины на руках и лице, вместе с большим синяком под глазом совершенно изменили его обычный серьезный и приятный облик. Нервно выслушав перевод письма, он заявил, что сию же минуту едет в лагерь за Анютой. Я отговаривал, советовал обождать еще два дня, пока он не придет в нормальный вид, предлагая написать письмо коменданту лагеря и указать, что он приедет тогда-то. Не тут-то было!

Результат получился печальный. Когда он явился в лагерь после бессонной ночи в столь непрезентабельном виде, то его только после больших пререканий пустили на свидание с Анютой. Та же, увидевши обезображенное лицо, помятый костюм, пришла в ужас и не смогла побороть своего всегдашнего отвращения к пьяным. Вместо примирения разразилась семейная сцена, посыпались взаимные упреки и дело кончилось такой сксорой, что солдаты силой выставили его за ворота лагеря.

Через три дня снова, но уже в совершенно приличном виде, он явился в лагерь. Но свидания ему не дали, а направили в комиссию по депатриации. Там он говорил с каким-то «майором», который обещал всё устроить, звонил по телефону, обнадежил и просил прийти завтра. «Завтра» майора на службе не оказалось — был в отъезде. Послезавтра — та же история. А через неделю ему сказали, что Анюта отправлена аэро-планом прямо в Москву...

Прошло месяцев пять. Мой француз грустил, часто захаживал ко мне первое время поговорить об Анюте. Потом всё реже и реже. «И у океана слез есть другой берег. Иначе никто бы не плакал» — сказано у Рабиндраната Тагора. Как вдруг пришло объемистое письмо с французской маркой и штемпелем одного из городов в Провансе. В нем оказалось больше десятка измятых, густо-исписанных по-русски листков и короткая записка по-французски. Отправитель сообщал, что только что вернулся из России, куда отправился в прошлом году со своей русской женой и годовалой дочкой, плодом их романа в немецком пленау. По приезде в Россию, жена была арестована, судима и присуждена к пяти годам ссылки куда-то за Урал. Дочку у него отобрали, а его самого выслали. Какая-то женщина улучила момент передать ему письмо с просьбой по приезде во Францию переслать по указанному адресу, что он и делает. Просит извинения за то, что письмо в таком истерзанном виде, но это потому, что он его старательно прятал из страха обыска.

Опускаю и на этот раз личные и глубоко интимные части

письма, сокращаю длиноты и повторения. Остальной текст сохранен почти без поправок.

«Вот уже прошло три месяца и три дня, как я уехала. Попслала с дороги два письма. По дороге была очень больна, болела воспалением легких. Полмесяца лежала почти мертвей. Таня с Катей мне потом говорили, что в бреду всё звала тебя.

Я часто, всегда, всегда думаю о тебе, вспоминаю свою жизнь с тобой. Как хорошо было в лесу и потом, когда мы поселились отдельно. Ты был для меня всем сразу: и отец, и мать, и муж, и даже — родина. Нужно же было мне вонзить в сердце нож! Я сама себе это сделала. Зачем я переступила порог дома, где мне было так хорошо? Когда я тебе писала оттуда, не грязь лагеря меня испугала, не проволока, не патрули — опять, как в Германии, не страх перед будущим, а я поняла, как я тебя люблю, как уехав домой, я останусь там на вечное одиночество.

И вот приехала, а дома нет ничего... Сплю на одной постели с мамой. Во время ее болезни соседи все вещи растаскали. Осталась одна гитара, да и ту скоро придется продать. Да еще мой портрет и одна единственная глубокая тарелка. Хорошо, что я из нашего дома, от тебя, взяла ложку, а то и суп перловый было бы нечем кушать. Вспоминаю, как мы жили, как у нас стол ломился от еды, а тут и хлеба не имею вдоволь. Нам после приезда долго не давали карточек. Месяц я была без работы. Слабая была после болезни. Доктор прописал хорошее питание, а где его взять? Вот младшая сестра тоже недавно вышла из больницы после тифа, который дал осложнения на сердце. А надо было сейчас же становиться на работу. Кто не работает, тот не ест! Трудно ей... Да и не ей одной.

Нас две сестры и у обеих мужья убиты. А трех братьев наших тоже нет, тоже убиты. Значит, еще три вдовы невестки. Всего пять. И вся тяжесть жизни целиком легла на нас, бедных женщин, на наши плечи. Когда-то мы все жили вместе. Дом был тесен и шумен, а теперь стало тихо, пусто. Двор зарос травой. У сестры ночная работа и я ее почти никогда не вижу. Невестки с детьми теперь живут отдельно, каждая сама по себе. Днем сестра почти не отдыхает — всё крышу починяет. За эти годы никакого ремонта не было. Начало протекать. Всю весну и лето она до самой болезни сама лазила на крышу, черепицу перебирала, доски вставляла, каждый гвоздик сама вбила. Не женское это дело, а нанять людей, чтобы помогли, нужно денег. А где их взять?

Я на старую работу не пошла. Есть на то причины. От прежних товарок узнала: там работают по 10 часов в сутки. Зарабатывают как будто и хорошо: до 1000 рублей в месяц с премиями, но за мясо сейчас надо платить 80 рублей за килограмм. Катя ходила недавно в отдел репатриированных. Вернулась и заплакала. Во-первых, хлопотать нужно много, всякие справки представлять. А, во-вторых, оттуда посыпают только или в шахты, или на лесозаготовки, или на разборку разрушенных зданий, несмотря на то, что имеешь специальность. Вот недавно нашла место уборщицы в заразной больнице. На эту работу желающих мало, так что меня приняли без больших хлопот и придиорок. Работаю через день от семи утра до семи вечера. Работа тяжелая: 12 часов без перерыва. Но хорошо тем, что в день работы дают обед, а если бы пошла на кирпичи, как Катя, то не знаю, что бы тогда кушала. Платят мало: всего 200 рублей. Это, когда спички стоят коробка три рубля, мыла маленький кусочек 40 рублей, литр керосина 25. Спрашиваю по людям поденную работу в свободные от больницы дни: постирать, пошить... Но никому не надо. У всех и без того денег не хватает на жизнь. Вот уж и лето кончается, а у нас нет ни единой палочки дров, ни куска угля...

Когда прихожу домой с работы, поговорю немного с мамой, часов до восьми. Потом она идет в комнату молиться и ложится спать. А я остаюсь на дворе и так рада, что одна, что нет возле меня людей, потому что тогда я бываю с тобой и никто не мешает думать о тебе. Каждый вечер смотрю на Большую Медведицу, которая близко и у вас, и у нас, на которую мы с тобой часто смотрели. А когда наплачусь вдоволь, иду тихонько к маме в постель. Но она всё равно не спит. Один раз я легла рано, притворилась, что сплю, и слышала, как она молилась Богу, чтобы он помог мне вернуться к тебе. Она уж много раз плакала и просила у меня прощения, что звала меня домой, а теперь видит, как я страдаю. Но я молчу, почему уехала сюда. Говорю, что сама хотела так...

Давно уже пишу это письмо в свободные дни. Сама не знаю, как его перешлю. Вот и сегодня я одна на дворе. Мама работает у людей, стирает. Как я тебе писала, двор у нас весь заросший травой. И две соседские кошечки забрались в траву и так весело играют, кувыркаются, что я засмеялась и вдруг вспомнила, — ты знаешь — что? — как твоя сестра раз принесла котят и что они выделявали и как я с ними играла, а ты, помнишь, смеялся.

Бот бросила писать и стала вспоминать всю свою жизнь.

Так она и прошла перед глазами, как в синематографе. Вспомнила нашу последнюю встречу в лагере. Я тебя ждала, как Бога, вся истосковалась, три дня ничего не ела, три ночи не спала. Всё думала: вот, вот сейчас придет, простит, возьмет домой...

Что было, ты сам знаешь. Ты только еще больше омрачил ту тьму, в которую я попала. Мне говорили потом, что ты еще раз был, но тебя на свидание со мной не пустили, майор сказал, что не позволит тебе взять меня из лагеря. Тогда я стала просить сама, чтобы нас отправили поскорее. И нас отправили, но не домой, а в другой лагерь, в Германию. Опять высокая проволока без входа и выхода, опять патрули. Но тогда, в плenу, я жила тем часом, когда, знала, что увижу тебя. А здесь и это умерло для меня... Полтора месяца пробыли мы в этом лагере. В жизни я себе не представляла, что такой кошмар возможен. Сколько мучений, сколько самоубийств... На моих глазах Катю избивали сапогами так, что она была вся в крови. А потом, что они сделали с бедной Таней... Я ее вижу, как сейчас, как она истекает кровью и стонет: «Мама, мама, почему немцы не расстреляли меня вместе с тобой»... Вот почему она родила семимесячного ребенка, который жил только полчаса.

А потом вспомнила, как мне кости ломали, а я не давалась, осталась чиста. Как потом пьяные звери вытащили нас во двор и давай стрелять, как по мишням, чуть-чуть поверх голов. Все кричали, плакали, а я нет. Только руки опустила и даже глаза не закрыла. И так я там шесть раз смотрела смерти в глаза. А потом — моя болезнь. И зачем я выжила, почему не умерла от нее!

Там, у тебя я всё стремилась домой. Так тянуло на родные места. А приехала и не нашла ничего. Одно место пустое. Да еще несколько писем от мужа, Николая. Он, хоть и знал, что фронт меня отрезал от него, а всё писал мне: «Дорогая Нюра, отзовися. Где ты?»

И последнее письмо, где он уже знает, что меня увезли в Германию. Пишет: «Сегодня выступаем в бой. Иду мстить за брата, за зятя, за племянника, которые убиты, и за тебя, моя дорогая жена, моя бедная Нюра...».

В этом бою он и погиб...

Вот о чём мне напомнили две кошечки, а их самих уже давно нет на дворе...».

В. Бутенко

НАРОД И ВЛАСТЬ

Я не я, и лошадь не моя.
(Русская поговорка)

Стремление русских людей оторвать свой народ от коммунистической власти, представляющей его в глазах мира, естественно. Приближается час расплаты, и горька будет чаша, которую придется пить России за преступления ее властителей. Столь же естественно и нежелание или неумение иностранцев отделить русский народ от коммунизма. Эта операция логического отделения народа от власти представляет на практике трудности почти непреодолимые. Иностранцам мешает незнание, своим — пристрастие. Невежество иностранцев по части России всегда было потрясающим; оно сравнимо только с русским невежеством в вопросах Азии или Африки. Но русское пристрастие иногда переходит все границы. Те же люди, которые вчера делали весь немецкий народ ответственным за Гитлера, ни за что не согласятся отвечать за Сталина, ни лично, ни коллективно. Признание такой ответственности или даже связи между русским народом и его тиранами среди нас очень непопулярно в эти дни. Лет 20 тому назад оно, напротив, имело большой успех в значительной части русской эмиграции. Но, ведь, историческая истина не меняется так легко в зависимости от политической обстановки. Сказать, что коммунизм не имеет ничего общего с русским народом, значит сказать благочестивую ложь, очень выигрышную для оратора на русском политическом митинге, но смехотворную для всякой иностранной аудитории. На лжи, как бы благочестива она ни была, нельзя построить серьезной политики. На наших глазах Черчиль и Рузвельт на лжи построили стратегию второй мировой войны, но накликали на мир призрак третьей. Между тем всякое рассуждение о «вредности» или опасности известных политических суждений о фактах является скрытым признанием предпочтительности лжи.

Чтобы взглянуть на нас самих, на современную Россию со всей возможной объективностью, поставим сначала общий во-

прос об отношении народа и власти в истории всех цивилизаций. Мы говорим привычно: древняя Греция, Англия, Россия в эпоху Империи, даже и не задумываясь о том, как малы были те человеческие группы, которые представляли эти государства или эти народы. Несколько тысяч афинских граждан, и еще меньше спартанцев, говорят за всю Грецию перед человечеством. Но их общественные или художественные идеалы разделялись ли миллионами метеков, рабов и варваров, которые жили на территориях греческих республик? Сомнительно. Многим ли больше было число англичан, имевших политические права в эпоху создания и расцвета Британской Империи? До 19 века Британский парламент был органом олигархии. Но кто вспоминает об этом всем известном факте, когда говорит о преступлениях английского империализма? Пример России особенно поучителен и нам лучше известен. У нас десятки тысяч помещиков из десятков миллионов населения одни принимали участие в жизни государства, служили ему, хотя и не управляли им. Это было «русское общество» наших историков. Правящий круг составляли, может-быть, сотни семейств, для которых был открыт доступ к императорскому двору. Столь же ограничен был, хотя и не совпадавший с ним, круг носителей русской культуры. При Пушкине он почти исключительно совпадал с дворянским. Но кому, кроме фанатика Писарева, придет в голову отрицать национальное достоинство Пушкина? Пушкин был национальным поэтом и тогда, когда его читали только тысячи. Эти тысячи одни представляли нацию в культурном смысле слова. В политике это кажется сложнее. Не подлежит, однако, сомнению, что миллионы массы России имели весьма смутное понятие о целях и смысле международной политики своей страны. Для армий 18 века, активно делавших эту политику своей кровью, типична солдатская песенка:

«Пишет, пишет король Прусский
«Государыне Французской
«Мекленбургское письмо».

Очень немногие, даже в дворянском обществе, были посвящены в политику графа Нессельроде или Горчакова, еще менее сочувствовали ей. Тем не менее это была политика России, а не только «Петербургского кабинета», как было принято выражаться на стариинном дипломатическом языке. Договоры, подписанные канцлером, были обязательствами России,

их нарушение было бы противно чести России, хотя при заключении их никто не спрашивал мнения России.

Но, может быть, отсутствие протеста, пассивное приятие народом правительственной политики нужно считать ее признанием? На это нельзя ответить простым «да» или «нет». На примере России вскрывается вся сложность проблемы. Народ, несомненно, хранил верность царю, доходившую до религиозного обожания. Но так же несомненно, что он никогда не принимал законности крепостного рабства и всей новой, европейской культуры, на нем воздвигнутой. Пугачевщина свидетельствует о том, что народ думал о самом блестящем веке Русской Империи. Да и весь девятнадцатый век дрожал под непрерывными почти ударами крестьянских бунтов. На вопрос, отвечает ли русский народ за политику самодержавия, единственно правильный ответ таков: да, отвечает, ибо он отвечает за само самодержавие — отвечает и в добром и в худом, отвечает за угнетение Польши и за освобождение Болгарии.

Эта ответственность народа за власть кажется необоснованной, пока мы игнорируем третье понятие, перебрасывающее мост между ними: понятие государства. Никто не станет оспаривать, что государства представляются их правительствами, а не оппозицией, даже если за оппозицией стоит большинство страны. Государство даже в наши дни может обходиться без санкции народной воли. Опора государства на волю большинства принадлежит к самым новым явлениям политической жизни. Англия становится демократией на наших глазах — в 20-м веке. До Ллойд-Джорджа, кажется, имя демократа в Англии было пугалом. Что же, неужели лишь в 20-м веке английский народ стал ответственен за политику своих правительств? Народ отвечает за государство и косвенно за правительство, представляющее государство: отвечает или за то, что его одобряет, или за то, что его терпит.

В истории человечества демократии являлись редчайшим, хотя и драгоценнейшим исключением. Династии или олигархии правили народами и говорили их именем — до 19, а то и до 20 века. И никто не оспаривал их права, хотя всем было ясно, что решения кабинетов или монархов не диктовались волей народа. Поддержка власти en bloc, как таковой, хотя бы пассивная, хотя бы только претерпевание ее, делала возможным говорить о солидарности власти, государства и народа.

Наши славянофилы, как известно, обосновывали этически свою апологию самодержавия тем, что оно берет на себя и снимает с народа ответственность и грех власти. Наивное ут-

шение! Как будто можно заслониться чем-нибудь от нравственной ответственности. Древне-русские книжники, согласно с Библией, учили, что Бог наказывает народ за грехи царя, хотя они же запрещали ему восстать против царя. Противоречие? Может быть не столь вопиющее, если вспомнить, сколько есть форм противления злу, кроме прямого насилия: отказ от участия в нем, обличение тирана, вплоть до мученичества за правду. Писатели — современники Смутного Времени, в полном согласии с исторической истиной, сейчас забытой в России, объясняют его бедствия наказанием за причину и тиранство Грозного. Грех народа один из них видит в «безумном молчании», т. е. в пассивной покорности преступной власти. Мученичество митрополита Филиппа, обличения двух юродивых явно недостаточны, чтобы уравновесить предательство епископов, осудивших Филиппа, низость десятков тысяч людей, служивших в опричнине и извлекавших из нее выгоду. Народ, как и боярство, был жертвой Грозного. Но, может быть, кое в чем он и сочувствовал ему по мотивам классовой злобы или национальной гордости. По крайней мере, в массах своих он без ужаса и отвращения относится к Грозному царю.

Это моральное осуждение народа за грехи власти становится понятным, если вспомнить, сколько оттенков существует в сознательности нравственного акта и, следовательно, тяжести греха: есть грехи злой воли и грехи слабости, грехи вольные и невольные, грехи сознательные, полуусознательные и, может быть, совсем бессознательные. Отрицать их, как это было в традиции старой русской адвокатуры, значит оскорблять свободу и достоинство человека.

Может быть, эта морализация претит кому-либо из читателей. Многие, не одни материалисты, протестуют против внедрения морали в политику. Я глубоко несогласен с этим взглядом. На политическом имморализме может вырасти только тирания. Больше всякого другого строя демократия нуждается в «добродетели», как это было ясно для Монтескье. Но я готов условно сменить нравственный суд на политический, на суд истории. Тогда возмездие представляется просто причинно-следственной связью. Последствия худой политики власти падают на весь народ, если в ошибках превзойдена известная мера. Дурное правительство приводит к разорению и нищете; агрессия вовлекает народ в тяжкие войны, в конце которых ждет призрак поражения и даже национальная гибель. Война, как и чума, не знает правых и виновных, умерщвляет женщин

и детей, губит целые города — в наше время, может быть, с более слепой жестокостью, чем в средние века.

Я знаю, что историческая Немезида далеко не всегда совпадает с нравственным судом. Скорее это бывает исключением. Это случается, когда превзойдена обычная человеческая мера зла. Но именно тогда история становится осмысленной и возвышенной, как подлинная трагедия.

**
*

В какой степени эта общая связанность народа с властью и ответственность народа за власть применима к России и большевизму?

Несомненно, мы имеем здесь дело с одним из предельных случаев — наибольшей разобщенности между народом и властью, при которой может существовать государство. Народ в огромном большинстве теперь ненавидит власть. По своим корням, своей идеологии она представляется антинациональной. Она преследует цели международной революции. Она держится в последнее время только террором и личной заинтересованностью правящего слоя. Может быть, действительно, русский народ тут не при чем?

Это большой и сложный вопрос, и ответ на него требует расчленения. Быть может, сейчас уже всякое сопротивление невозможно или требует героизма сверхчеловеческого. Но всегда ли это было так? Невменяемый в настоящем (алкоголик) ответственен за прошлое. Было время, когда он мог бороться с победившей его темной страстью, но поддался ей, хотя бы полусвободно. Корни русского рабства и безысходности заложены в самых истоках революции. 1917 год завязал петлю на шее народа, которая затягивается всё туже год от года.

Стоит ли говорить о самой революции, которую готовили столетие, но которая разразилась тогда, когда почти никто не хотел ее, в момент страшной национальной опасности. Русская интеллигенция в массе своей воображала, что революция вообще — это счастливое событие, именины в жизни народов. Но историк знает, что революции это тяжкие болезни народов, за которые дорого платят и от которых не всегда выздоравливают. Социальная болезнь, переведенная на язык этики, есть грех. Все мы знаем эти грехи старой России, и те из нас, кто сознательно жил, или начал жить в ту эпоху, несут ответственность за них. Монархия, давно прекратившая свою про-

светительную миссию, завещанную Петром, и ставшая тормазом в движении великой страны. Бюрократия, сделавшая политику делом личной корысти. Высшие классы, державшие народ в такой эксплуатации и презрении, которым не было равных ни в одной европейской стране. Церковь, выбросившая социальную этику из своего обихода и умевшая только защищать власть и богатство. Интеллигенция, живущая в мире книг и утопий, потерявшая связь с народной жизнью, но всё время подрубавшая ее религиозные и нравственные корни. А сам народ — «единый ли безгрешный?» Потерявши в школе и новой индустриальной среде и Бога, и царя, он вступил в полосу нигилизма, которая называлась хулиганством в начале этого века и которая вылилась в пораженчество и пугачевщину на исходе тяжкой войны.

Если бы движущим мотивом революции 1917 года для народа была борьба за свободу и родину, как для интеллигентии, то было бы совершенно непонятно, как мог он так легко отдать родину немцам, свободу тиранам, да еще интернациональным беглецам, избравшим Россию ареной своей международной авантюры. Но если представить 1917 год, в целом, как восстание массы против войны, за мир во что бы то ни стало, т. е. за похабный мир, тогда всё объясняется. В России была только одна партия, да и в этой партии едва ли не один вождь, настолько бессовестный, чтобы заключить этот похабный мир; она и должна была стать победителем. Революция делалась и завершилась дезертирами, которым было наплевать на Россию и свободу, но которые были не прочь пограбить, под лозунгом социализма.

Революция началась в душе народа в момент злобы и иступления и рождалась на свет, как пьяная оргия. Всё осталось было попытками прикрыть приличием французских слов наготу этого ужасного зрелища и задержать на несколько месяцев оползень России.

Часто говорят, что злоба и солдатская оргия 1917 года только накипь, свойственная всем большим историческим событиям, что побеждают в истории только положительные силы, что и в большевистской победе участвовали идеалистические факторы, которые в свое время проглядела демократическая интеллигенция. Так думают сейчас не одни большевики, но, может быть, и большинство антисталинцев внутри России. Ленин и Октябрь всё еще окружены известным ореолом.

Как очевидец и историк, я хотел бы сделать одно разграничение. Я признаю наличие рабоче-крестьянского идеализма

в борьбе за Октябрь, но только эти идеалистические силы начали действовать после того, как Октябрь стал уже фактом. В 1917 году большевистские герои и мечтатели существовали лишь в небольших группах рабочих, преимущественно рабочей молодежи, которая слабо влияла на события. Но в борьбе против белого движения они своею кровью отстояли Октябрь. Они стали стержнем Красной Армии и, вместе с крестьянской молодежью, пришедшей еще позднее, стали строить Новый Мир, или то, что тогда называлось пролетарской культурой. Но даже и в победе Красной Армии над Белой решающим был не героизм, а полусознательный и почти цинический выбор крестьянства. И барин, и комиссар были ему ненавистны. Но поставленный в необходимость выбора, он предпочел комиссара. Зная все страшное будущее, которое его ожидало, он, может быть, не сделал бы этого выбора. Но выбор был неправим. Когда народ пытался его поправить в Кронштадтском и Тамбовском восстаниях, было поздно. Он был уже скован по рукам и ногам.

В момент прихода к власти большевиков, за них была подана треть голосов на выборах в Учредительное Собрание. Меньшинство? Да, но такое же меньшинство было подано за Гитлера в последние свободные выборы в Германии. Эта треть была, если не лучшей, то, конечно, самой активной, воинствующей частью страны. Если бы две трети боролись так же энергично, как одна, никогда бы меньшинство не смогло победить. Ведь тогда в его руках не было всего страшного аппарата тоталитарного государства, который делает возможным и 10-ти процентам управлять всем народом. Террор-то был не только красный, но и белый. Если говорить о национальной ответственности, то две трети тоже несут ответственность за Россию. Есть грехи бездействия, неделания; не помочь утопающему, значит почти то же, что утопить его.

Но было время, когда и большевистская треть стала расти и, вероятно, обратилась в большинство. Конечно, этого нельзя доказать никакой статистикой. Но тот, кто жил в России в годы Нэп-а, знает, как ослабела оппозиция коммунизму. Крестьянство, получившее землю и временно заслонившееся от власти, было положительно доволено. В течение немногих лет рабоче-крестьянская власть была действительно популярна. И вот тогда она могла позволить себе то, на что не решилась никогда ни одна революционная власть: произвести новую революцию — против крестьянства. Для этой цели она использовала антагонизм города и деревни. Недавно еще кре-

стяне посмеивались над голодающими дармоедами-рабочими, и эти дармоеды оружием добывали мужицкий хлеб. В 1929-30 годах масса рабочей молодежи была брошена в деревню, чтобы угрозами, пытками, убийствами и разорением загнать крестьян в новое крепостное рабство колхозов. В самой деревне удалось натравить на трудовое крестьянство так называемую «бедноту», которая с жадостью «разделяла ризы» ссылаемых в Сибирь семейств. Та же социальная зависть и злоба, направлявшаяся недавно против помещиков и «буржуев», превратилась во взаимное поедание трудовых классов. Из чугуна этой злобы только и могла быть вылита страшная машина государственного террора, а когда она была вылита, то не трудно было уже обратить в крепостное состояние и рабочих в ряде индустриальных пятилеток, истребить всю ленинскую партию и без огласки превратить старый революционный коммунизм в истинно-русский фашизм. Всё это было сделано не по воле народа, но при его соучастии с использованием самых низких инстинктов его души. В этом и состоит зловещее отличие современных тираний от всех известных в истории. Новые делают свое гнусное дело против народа, но через народ; они считают, что это дает им право называть себя демократиями.

**

В оценке большевизма и критики его и апологеты часто впадают в одно из двух противоположных заблуждений: или он рассматривается ими, как наносное, чуждое России явление, как вампир, сосущий невинный народ, или как порождение народной стихии, цвет или плод всей тысячелетней истории России. Верно и то, и другое: интернациональный в своей первоначальной идее, большевизм обрусл в русской среде, став выражением страстей народа в годину его страшного падения. Но он никогда не мог обрушить до конца, и вовсе не было написано в книге судеб, чтобы Россия должна была свалиться именно в эту яму.

Известно старое, немного схематичное, но всё же не утратившее свою справедливость, противоположение: интернациональный коммунизм и русский большевизм. В двадцатых годах позволительно было надеяться, что русский большевизм преодолеет и съест коммунизм. Тогда было возможно советскому поэту с полным сочувствием восклицать устами своего героя-атамана:

«Да здравствуют большевики,
«Долой, нехай, коммунистов!»

Эти надежды не оправдались. Победил коммунизм, приняв национальное обличье.

Ясно, что принадлежит к составу коммунизма: марксизм как основная идея (живая и сейчас, хотя и подвергшаяся ревизии); мировая революция (живее, чем когда-либо); «Интернационал» как русский гимн (отменен); техника и хозяйство (живут); борьба с национальной Русью (сменилась реставрацией Руси, но только черносотенной). Что в этом комплексе первоначального ленинизма было воспринято народной душой? За что народ несет ответственность?

Марксизм есть создание гениального немецкого еврея и нашел себе почву только в Германии и странах немецкой культуры. Единственное исключение — Россия. В девяностых городах Россия дала такую блестящую плеяду экономистов и историков-марксистов, какой не имела ни одна страна. Ленин был одной из звезд второй величины в этой галаксии. И Россия же сделала свою революцию под знаком Маркса. Это не могло быть случайностью. Можно указать несколько элементов в марксизме, которые делали его соблазнительным для русского человека:

1. Материализм, прорвавшийся так бурно еще в 60-х годах и опять-таки пожавший такие лавры только в России. В народной толще его питательной средой был религиозный материализм, выражавшийся в чувственном восприятии сверхчувственного мира. Русский человек, среди других народов, наделен поразительной силой чувственности, становящейся пророческой у русских гениев (Толстой, Достоевский, Розанов, о. Булгаков). И хотя этот сенсуализм органического, а не механического порядка, он может лечь в основу всякого материализма.

2. Рационализм, лишь на первый взгляд противоречащий сенсуализму. В истории народов, как и в развитии личности, рационализм соответствует отроческому пробуждению мысли. Она мечтает легко и без само-дисциплины всё понять, всё окинуть взглядом, не оставив ни одной неразрешенной загадки. Она не терпит никаких осложнений и не признает никаких границ познанию. У Маркса это не было наивной простотой, а вторичным опрошением, грехопадением философской (гегелианской) мысли, подобным возвращению Пикассо к искусству негров. В России, прославшей интеллектуально целое тысячелетие, рационализм есть первый лепет мысли. Интеллигенция ринулась по этой дороге с 30-40 гг., народ с начала этого века. Чрезвычайно оправденный марксизм Ленина с привеском

примитивного дарвинизма оказался как раз по зубам рабоче-крестьянской молодежи, всколыхнутой революцией.

3. Оптимистический детерминизм исторической философии марксизма. В прямом или вульгарном его понимании (не будем спорить) он снимает с личности бремя ответственности и нравственного суда. Личность не смеет бороться ни против своей среды, хотя и может переменить ее, ни против истории (пример Бердяева). Сливаясь с ее потоком, она чувствует себя необычайно сильной. Для нея нет никаких сомнений, что он вынесет ее, все человечество к утопии всеобщего счастья. Русским восприемником здесь было слабое развитие личного сознания и жажда уничтожения в коллективе: «Где народ, там и Бог». — «На миру и смерть красна».

4. С этим последним увлекающим моментом марксизма связан и пафос мировой революции. Библейское эсхатологическое сознание, напряженная жажда конца истории в атеистической цивилизации превращается в религиозный фетишизм революции — последней, всемирной. Это превращение, уже совершившееся в западном марксизме, который и вообще, по своей структуре, представляет обезбоженную иудео-христианскую апокалиптическую секту, идет навстречу эсхатологически-устремленной русской душе. Каяться ей придется не в эсхатологии, без которого нет христианства, но в сектантском отрыве от реальности, в нетерпении и нетрезвости. Конечные идеалы приобрели у нас характер взрывчатых бомб.

Так и марксистский плен оказывается наполовину добровольным. Когда-то А. Блок со свойственным ему провидением обращался к Руси:

«Какому хочешь чародею
«Отдай разбойную красу.
«Пускай заманит и обманет ...

Ну вот, русская Людмила, отвергнув белого Руслана, отдалась Чёрномору, и седая борода Карла долго развевалась над взвихренной Россией.

От коммунизма переходим к большевизму.

1. Прежде всего 1917-18 г. был временем великого (в смысле грандиозности) народного бунта, одного из тех, которые отмечали с постоянным ритмом каждое столетие московско-петербургской неволи: Смутное Время, Разиновщина, Пугачевщина.

чевщина, Ленинщина. Всероссийский «чертогон», говоря полесковски, давал выход застоявшимся, скованным силам. Смотря снизу, глазами мятущихся масс, Октябрь не был отрицанием Февраля, а его продолжением. Ненависть к войне сочеталась с застарелой ненавистью к барству, питаемой пережитками крепостного права. Они пронизывали почти всю русскую жизнь, особенно армию. Оказалось, что народ ничего не забыл и не простили. Его месть была слепой и часто несправедливой. Интеллигент отвечал за барина, социалист за капиталиста. Коммунизму, который поджигал стихийный пожар, стоило не мало труда, чтобы потушить его и обуздять стихию. Зеленые атаманы долго сопротивлялись и белым, и красным генералам. Самое интересное то, что стихия революции нашла отзвук — и какой! — в русской поэзии. Революция не только дала двух больших поэтов, Маяковского и Есенина, но увлекла за собой многих символистов, которым она была, казалось, органически враждебна. Брюсов нашел в ней своего Дьявола, а Блок последнее выражение падшей женственности (Катыка). Поэты откликались на зов дикой воли; и там, и здесь говорит славянский Дионис, плохо скованный и христианством и культурой (Аполлон). Эти поэты переживают века, и я боюсь, что по ним потомки будут судить о русской революции. Не столько атаман Махно, сколько Блок и Есенин сделали Октябрьскую революцию национальной, т. е. грех ее всенародным.

2. Между разгулом большевистской стихии и коммунистическим террором, ее обуздавшим, лежит полоса революционной культуры, которую можно условно назвать прослойкой идеализма. Годы и десятилетия молодые поколения рабочих и крестьян с жадностью бросались к «свету и знанию» и строили с величайшими жертвами новую жизнь, как им казалось, лучшую и справедливую. Ради этого идеала они обагряли кровью свои руки, отожествляя его с восторжествовавшей тиранией. Самое содержание нового идеала — коммунизм — оказался связанным с очень глубокими основами народной этики. Не одна молодежь, но и вся масса, как и интеллигенция российская, были носителями этой этики. Русская этика эгалитарна, коллективистична и тоталитарна. Из всех форм справедливости равенство всего больше говорит русскому сознанию. «Мир», т. е. общество имеет все права над личностью. Идея-сила, пока она царит в типично-русском сознании, не терпит соперниц, но хочет неограниченной власти. Но сколько бы ни было правды в равенстве, красоты в личном самопожертвовании и даже в самодержавии идеи, весь этот комплекс в

своей односторонности опасен и может принимать демонические формы. Такова была судьба общественного идеала в русской революции, повторившей во многом судьбу русской народнической интеллигенции. В России не раздался ни один голос в защиту частной собственности. Конфискация всей промышленности была воспринята не одними большевиками, как акт почти нормальный, и во всяком случае справедливый. Социализм, который никак не укладывается в американскую голову, без труда был принят в России, а не только включен насилием. Русские беженцы говорят, что теперь в России социализм ненавистное слово. Вероятно это так и есть. Но, чтобы добиться такого результата, нужно было более 30 лет нечеловеческих мук. Только Сталину удалось внедрить в России психологические предпосылки буржуазного хозяйства.

3. Национальное чувство, подавленное в первые полтора десятилетия коммунизма, было реабилитировано в 30-х годах и сейчас сделалось одной из основ новой фашистской версии сталинизма. Оно доводится не то, что до абсурда, но просто до глупости. В жертву ему принесено уже не мало человеческих жизней за счет «космополитов» или «западников». Но, хотя за ним стоят палачи МВД, трудно сомневаться, что оно опирается на народное сочувствие. Первые, робкие всходы русского национализма после убийства Кирова, были оценены нами, думаю, справедливо, как уступки власти народу. Эта политика нашла через десять лет свою параллель в отношениях к Церкви — с той разницей, что, после уничтожения ленинской партии, национализм свил гнездо и в самом правящем класе. Слишком долго подавлялись всякие проявления здорового национального чувства, чтобы не вызвать реакцию. Читая нелепые проявления советского национализма, мы уже не знаем, что отнести на счет партийных директив, а что объясняется просто национальным психозом — такого же качества, как и другие его европейские разновидности. Удивительно ли, что советские историки с большой страстью, но без всяких доказательств, утверждают превосходство Киевской Руси перед Западом, если, случалось, и в эмиграции учёные проповедывали то же самое? Национальная мегаломания превращает в слепцов даже очень учёных людей. *Amor patriae tollit ingenium.* После целых поколений интеллигентской всечеловечности, Россия пошла, к несчастью, по немецкой дорожке. Об этом говорит и свободное русское слово, отражающие настроения как беглецов «оттуда», так и повальные увлечения старой эмиграции.

Особую форму, религиозную или псевдорелигиозную, русский национализм приобретает в христианском мессианизме. Это наследие старого славянофильства, за которое не большевики отвечают. Бердяеву нечemu было учиться у Сталина. Этот тип национальной гордыни, паразитирующей на теле исторического христианства, уводит нас в древнюю Москву. Как не поверить искренности московского патриарха, который стремится, пользуясь машиной советского террора, покорить себе под нози весь православный мир? Блок и Бердяев оттели другую черту русского мессианизма. Поэт назвал ее скифством, и все мы встречаемся с его проявлением в русском беженстве. Из унижения выростают горделивые притязания. Это понятно, но не менее страшно. Таков был и роковой путь Германии . . .

4. Есть ли связь между тоталитарным государством Сталина и традициями русского самодержавия? Все иностранцы утверждают ее, большинство русских страстно отрицают. Конечно, мы знаем (чего не знают иностранцы), как сравнительно мягок был старый режим в его последние десятилетия. Но дело не в жестокости, которая свойственна революциям, а не *ancien régime*'ам. Дело в вековой покорности, почти безграничном терпении народа, имевшем свои глубокие исторические корни. Народ способен на бунт, но бесконечно труднее для него повседневная борьба за право и свободу. В условиях тоталитарной тирании борьба за право, в конце концов, вообще становится невозможной. Но ведь эта тоталитарность пришла не сразу. И вот вероятно, а исторически вполне естественно, что в создании этой небывалой тирании архитектором был не один террор, но участвовали и вошедшие в кровь и плоть навыки векового рабства. Вспоминал же Ленин, когда готовился к захвату власти, что Россией управляли когда-то 40.000 помещиков — приблизительная численность его партии.

Народ сопротивлялся коммунизму, особенно интеллигенция, но, очевидно, недостаточно. А было время, когда это сопротивление имело шансы на успех. Многие народы в Европе — немцы, чехи — приняли новую тиранию с еще большей легкостью. Все же остается фактом, что нигде в мире тирания не доходила до той тоталитарности, как в России. Остается фактом и другое, — что структура фашистского государства, как и методы террора, созданы Лениным и были просто пересажены на европейскую почву.

Нельзя закрывать глаз на основное социологическое раз-

личие между западным и русским фашизмом (коммунизмом). На Западе он родился из кризиса демократии; уже много раз в истории тирания возникала из разложения демократии: в Греции, в Риме, в Италии Ренессанса, в революционной Франции. В России основной причиной победы коммунизма было отсутствие демократии. Там разочарование в ней, здесь ее девственное неведение. Наши судьбы не совпадают. Россия является сейчас соблазнительницей Запада, как раньше, в цветущий век демократии, Запад увлекал Россию. Большевистскую Россию можно было бы сравнить с Македонией или даже Персией в эпоху упадка греческой свободы. Греческие полисы сами тяготели к тирании на почве классовой войны. Но Македония и Персия давали готовые монархические формы для новой авторитарности. Эсхин и Ксенофонты играли роль современных попутчиков. Так выросла мировая держава Александра и Рима, существовавшая полторы тысячи лет. — Судьба, которая готовится и ныне западному миру, если он не сумеет преодолеть и внешней опасности и своих внутренних ядов.

**

Кое-какие соблазны коммунизма или фашизма еще сохраняют свою притягательную силу в России; национальная мегаломания, например. Но не ими держится власть. «Облетели цветы». Сталин, может-быть, прав, веря только в две вещи: террор и деморализацию. Последнее и есть самое страшное. Мы только и слышим сейчас, что почти всё население ненавидит советскую власть, но пытки МВД так страшны, и полицейская сеть так густа, что невозможны никакие проявления протеста. О, если бы было только это! Тираны прошлых веков довольствовались покорностью и молчанием. В эпоху революций молчание опасно — казнят и подозрительных. Нужно славить власть даже тогда, когда ее ненавидишь. Но Сталин пошел дальше. Он изобрел систему, которой не знал человечество. Он поставил своей целью заставить каждого гражданина совершить какую-нибудь подлость, чтобы раздать его чувство достоинства, чтобы сделать его способным на всё. Только эта цель объясняет многие фантастические явления русской жизни, которые без нее кажутся абсолютно непонятными. Полицейские и следователи всего мира, не исключая Гестапо, добиваются признаний в подлинных преступлениях или поступках. В СССР добиваются признаний заве-

домо лживых. Ради чего? Разве нельзя уничтожить человека и без всяких с его стороны признаний? Но палачи работают месяцами, чтобы добиться подписи под лживым и никому не нужным документом. Сломить раз навсегда волю человека, осквернить его совесть, сделать его предателем, клеветником — вот цель. Такой уж никогда не сможет смотреть людям в глаза. Он сделает всё, что мы от него потребуем. Таков дьявольский расчет. Вероятно, он не всегда оправдывается.

Другое чудовищное явление — это поветрие покаяний. Когда сменяется генеральная (т. е. Сталинская) линия культурной политики, целые секторы научной и художественной работы подвергаются публичному и поименному сечению, и позже от оклеветанных и смертельно замученных людей требуется акт самобичевания и отречения от своих идей. И здесь та же цель: раздавить морально писателя или ученого. Он слишком гордо носит голову; таково уж свойство его профессии. Он воображает, что служит науке или искусству. Он служит нам; он оплачиваемая государством проститутка, и пусть не забывает этого.

Есть люди, которые и здесь отказываются участвовать в общей подлости. Они выбирают молчание, нужду, ссылку, гибель близких. Имена немногих из них доходят до нас. Мы преклоняемся перед их страданиями; они дают нам силу жить. Но всё тот же роковой вопрос: сколько праведников спасают Содом?

О, если бы четкая линия между палачами и мучениками могла быть проведена в России! Где кончается эта ненавистная власть и где начинается ее ненавидящий народ? Может быть, власть — это партия? Но партия, давно уже потерявшая свой идеологический костяк, почти растворилась в массе. Родственные, бытовые отношения связывают ее с беспартийными. У коммуниста можно порой сыскать даже защиту в случае политических неприятностей. Но, с другой стороны, партия облеплена густым слоем кандидатов, карьеристов, готовых на всё, чтобы пролезть в ряды знати. Или власть — это МВД? Но как мало число действительных палачей сравнительно с массой вольных и невольных доносчиков. Кто охраняет заключенных в бесчисленных каторжных лагерях? По большей части, те же осужденные. Кто помогает чекистам и их собакам ловить беглецов? Окрестные крестьяне. Поистине трудно — возможно ли? — остаться непричастным злодеяниям власти, которая ставит своей целью сделать своим соучастником весь народ. Легче всего совесть у тех, кто находится на самом дне: у

станков и за плугом, без мечты о выдвиженчестве. Им разрешено молчание. Есть даже углы в России, где допускается и свобода слова: в лагерях смерти для тех, кто не помышляет о возвращении в мир. Но велика ответственность тех, кто по самому призванию своему поставлены на страже истины и свободы, но вынуждены отравлять и разворачивать сознание народа. Велика ответственность русского писателя, ученого, епископа. Самый тяжкий грех — грех патриарха.

**
*

Общая вина, общий грех. Без признания их нет духовного возрождения России. Без покаяния нет очищения. Конечно, возрождение государства мыслимо и на других путях, известных нам по новейшей истории Германии. Но какая от того радость? Германия не исцелилась от ядов фашизма после гибели фюрера. Ущемленное национальное самолюбие, вырастающее в гордыню, мстительность; безмерные притязания, разрыв с человечеством. Все эти опасности ожидают Россию, если она отвергнет сознание своей вины и будет искать виновных вокруг себя.

Но горе чужой стране, которая взяла бы на себя дело возмездия. Если можно карать отдельных преступников, — а кто, как не Сталин имеет право на первую виселицу? — то никто не смеет взять на себя наказание целого народа. У каждого народа достаточно своих собственных грехов, демократии тоже стоят перед судом. Самозванные же судьи сами становятся преступниками.

Если в политике есть место нравственным идеям, то во всяком случае не идее возмездия. Политическая мысль смотрит вперед, а не назад. По отношению к народам, развращенным тоталитарной тиранией, единственная возможная интервенция — та, которая ставит своей целью помочь их возрождению, а не карать их грехи. В начале последней войны это сознание жило у союзников. Они заявляли, что ведут войну с Гитлером, а не с немецким народом. Но потом чувство мести за разрушающую Англию взяло верх, и немецкому народу уже не приходилось ждать пощады. Без всякой военной необходимости уничтожены прекрасные древние города, принадлежащие всему человечеству. Немцев загнали в подземелья, где они живут как троглодиты, помышляя снова о мести. В политическом отношении к Германии всё время боролись две идеи, разрушавшие одна другую: идея «перевоспитания к демократии»

нейтрализовалась мыслью о возмездии, — всё еще вешают военных преступников на пятый год мира. В результате, настоящее Германии мрачно, будущее смутно.

Вспоминается другая победа коалиции европейских народов над народом и тираном, который был ненавидим в свое время не меньше Гитлера. Франция, конечно, была ответственна и за революцию, и за Наполеона. Но союзники забыли прошлое и дали ей хартию свободы, не слишком роскошную, но с которой она могла начать новую жизнь. Франция не помышляла о реванше, тень Наполеона преследовала только лирических поэтов, и Европа могла наслаждаться длительным миром.

Великодушие победителя дело не только его сердца, но и мудрости. Вот почему отделение народа от его преступной власти — невозможное исторически и этически — является политической необходимостью: не в порядке сущего, а должного, особенно для сторонних или даже враждебных наций.

Г. Федотов

О СМЫСЛЕ ИСТОРИИ

Вильгельм Дильтей говорит где-то, что тотальность человеческой натуры отражается только в истории. Не ручаюсь за точность цитаты, потому что Дильтея у меня под рукой нет. Но думаю, что мысль эта характерна для всей философии Дильтея, который, в эпоху Маха, с одной стороны, и вторжения конто-спенсеровского позитивизма в германскую философию с другой, имел смелость отрицать значительность кантианского противоположения «субъект-объект» и проповедывать возвращение к Гегелю.

Всё это дела давно минувших дней. Дильтей умер чуть ли не восьмидесятилетним стариком в 1911 году, родился он еще при жизни Гегеля. «Анализ ощущений» Эрнста Маха появился в восьмидесятых годах прошлого столетия. Вспомнил о Дильтее *a contrario*, читая весьма интересную книгу Е. М. Кулишера «Европа в движении». Кулишер яркий представитель механистической философии истории. Политическая история, по Кулишеру, это лишь пестрое отражение какого-то элементарного потока событий. Кулишер сочувственно цитирует Видаля де ла Блаш: «Когда улей переполнен, пчелы роятся. В этом же надо искать и объяснение событий человеческой истории». Гете, как известно, не любивший истории, выразил эту мысль более ярко:

“Warum drängt sich das Volk so und schreit?
Es will sich ernähren,
Kinder zeugen, und die Nähren,
So gut es vermag.
Merke dir, Wanderer, das,
Und tue zuhause desgleichen;
Weiter bringt es kein Mensch,
Stell' er sich, wie er auch mag.”

Кулишер, или, вернее, семья Кулишеров начала развивать свою механистическую теорию истории лет шестьдесят тому назад. М. И. Кулишер опубликовал тогда в «Вестнике Европы» статью «Механистические основы истории». М. Кулишер

был типичным представителем просвещенства и материализма и прямым учеником Гольбаха и Ламеттри. Меня всегда привлекала в кулишеровской теории ее смелость и большой охват. Односторонность ее меня отнюдь не отталкивала, и сейчас не отталкивает. Безоглядная влюбленность в свою гипотезу является до некоторой степени методологическим достоинством. Эта безоглядочность и влюбленность дает возможность проверить до конца эту теорию. Но я взял эту кулишеровскую гипотезу лишь как точку отправления для изложения некоторых моих мыслей о «смысле» истории.

Не всё, что происходит или произошло, есть история. К истории принадлежит лишь то, что имеет «значение». Я говорю не об истории, как отрасли знания, а об истории, как действительности. Всякая действительность есть единство субъекта и объекта. Но история есть действительность особого порядка. Не только субъектом ее является человеческий разум, но и объект истории — это развитие человеческого разума и воплощение его в событиях и институтах. Вот почему «значение» — необходимая характеристика исторического события. Значение, по-немецки *Bedeutung* — это то, что поддается толкованию, *Deutung*. Историческим событие человеческой жизни бывает тогда, когда оно вызывает человеческий разум на толкование. «Значимость» события тем больше, чем больше в нем «знаков», указющих на прошлое и будущее.

Со времен Гегеля мы знаем, что история протекает диалектически. Тут необходимо остановиться на коренном понятии гегелевской логики, понятии «снятия», *Aufhebung*. Гегелевское снятие включает в себя три элемента: устранение, сохранение и преодоление. Устранение того, что является примитивным, несущественным, «ненастоящим»; сохранение того, что в устранимом является вечным и истинным; преодоление, которое есть не что иное, как сублимирование сохранных элементов вечного и истинного и воплощение этого вечного и истинного в адекватной форме.

История, следовательно, есть процесс всё более и более адекватного выражения идеи. С онтологической точки зрения, всякое другое понимание истории невозможно. Все фазы человеческого разрушения и саморазрушения суть в то же время и элементы сохранения и воссоздания. Отрицание где-то, в каком-то пересечении линий, воспринимается, как нечто положительное, как элемент высшей, настоящей действительности: совпадение противоположностей, *coincidentia oppositorum*, о котором говорит Николай Кузанский.

Но гегелевская мысль о воплощении идей на всём возвышающихся ступенях, что и составляет сущность исторического процесса, дает нам возможность разрешить важный методологический вопрос, именно вопрос о водоразделе между социологией и историей как отраслями знания. Для социолога «форма» — всё, содержание интересно лишь, поскольку оно необходимо для объяснения данной формы. Социолог занят комбинациями и пермутациями социальной формы. Это дает громадный простор научной фантазии. Мы говорим, разумеется, о великих европейских социологах нашего времени, Максе Вебере, Георге Зиммеле, и одном из величайших социологов всех эпох, Бальзаке. Здесь, в Америке, под социологией понимают нечто иное.

Онтологическая значимость социологии, поэтому, не может сравняться с онтологической значимостью истории. Для историка форма совпадает с содержанием. Историк созерцает действительность в том пересечении, где форма — это только один из модусов исторической субстанции.

Возвращаясь к истории, как действительности особого порядка, можно дать ей и такое определение: история, это развитие «значительного» в человеческом обществе. Оба элемента этого определения — «развитие» и «значительность» — предопределяют характер истории, как совокупности фаз. Далее: понятие совокупности, охватывающей одни лишь «значительные» элементы, навязывает нам вопрос: чем определяется значительность элементов совокупности? Почему значительно то или другое историческое событие, почему мы называем это событие «историческим?» На этот вопрос готов уже «прагматический» ответ: значительно в истории то, что оставляет в ней след. Но это тавтология — значительно то, что значительно. Но если вспомнить, что история есть процесс всё более и более адекватного выражения идеи, то обязательным является другое определение значительного в истории: значительно то, что выражает идею. Событие тем значительнее, тем «историчнее», чем оно более адекватно воплощает идею.

Всякая действительность есть воплощенная идея. Историческая действительность тем только и отличается от действительности космической, что она воплощает идею особого рода. Человек — участник как космического, так и исторического процесса. И там и тут он является жертвой «буйства бытия». Человек — точка пересечения космоса и истории.

Нуждается ли это в особом подчеркивании в эпоху атомной энергии?

Но в исторической действительности человек не только жертва, он и протагонист, герой. Через человека в историческом развитии воплощается Идея. Явление Богочеловека в середине, а не в конце истории — освящает историческую действительность. Ведь это явление Богочеловека входит в историю. Но оно же показывает, что историческая действительность есть лишь выражение какой-то более действительной Реальности.

Конечно, мы, по обетованию, ожидаем к окончанию веков нового космоса, «нового неба и новой земли» (Петр, II, 3, 13). В своем стремлении к цели, к концу концов, религиозное сознание мыслит и космос не иначе, как приближающимся к какой-то цели, то есть к концу. Без мысли о «конце» религиозное сознание невозможно. С этой точки зрения, нет разницы между космической и исторической действительностью. Но «конечность» истории, ее устремление к цели, является верховой идеей истории, определяющей все методы исторического исследования.

Можно себе представить исследователя космоса, отвлекающегося от идеи цели и конца. Но для наблюдателя исторической действительности такое отвлечение прямо невозможно. Буйство исторического бытия укладывается в определенное русло. Бессмысленная, как кажется, и безмысленная вечность космоса должна получить в истории смысл. По Глотину действие — смягченная форма созерцания. Но не всякое действие есть отраженная форма созерцания, то есть идеи. Громадное большинство всех действий, которые наполняют газеты, ничего не отражают, абсолютно пусты. Это не историческая действительность, а pena и брызги. Молекулы исторической действительности недолговечны, они уносятся вечным водоворотом в небытие. Но, подобно тому, как, стоя на мосту и наблюдая течение буйной реки, уносящей частицы воды, наблюдаешь, как эти мимолетные и вечно меняющиеся частицы складываются в постоянный узор, подобно этому и историк различает в волнующемся океане событий вечный рисунок, какие-то контуры, которые говорят ему о Русле.

Как пример вечного русла истории, можно указать на тот странный факт, что над воссозданием Западной Римской Империи, под псевдонимом Европейской, а, может быть, и Атлантической федерации, стараются теперь американцы, для кото-

рых вся эта западно-римская цивилизация является чем-то всё же отдаленным. Тысячелетие тому назад этой же самой идеей воссоздания западно-римской культуры были заняты умы другого молодого народа — франков, который тоже взирал на эту цивилизацию с чувством отчужденного благоговения.

Арнольд Тойнби, в сущности говоря, излагает эту теорию Русла. В этой связи приходит на ум идея о вечном возвращении Вико и Ницше, die ewige Wiederkunft. И у Тойнби и у Шпенглера, при всей их разности, эта идея о повторении исторических процессов доминирует. Die ewige Wiederkunft Ницше окрашена в пессимистический цвет — это менее явственно у Вико. У англосаксонца Тойнби трагизм истории человечества затушеван. Англосаксонский ум предан идее прогресса. Прогресса куда? Очевидно, к полному физическому и моральному благополучию людей, то есть к тому «хрустальному дворцу», который так ненавидел Достоевский. Это всё те же телеги, «подвозящие хлеб голодному человечеству». Забота о накормлении человечества — весьма опасная забота. Клоун Лебедев у Достоевского не без основания замечает, что «друг человечества с шаткостью нравственных оснований есть людоед человечества». Достоевский ссылается при этом на друга человечества Мальтуса, навязываются и другие сравнения. Но это мимоходом.

Повторение исторических процессов, устойчивость geopolитических форм — это доказательство не только постоянного русла истории, а доказательство также и того, что идея борется за воплощение в историческую действительность. Смысл истории в борьбе идеи за свое воплощение. Историческая действительность развивается над бездной хаоса. Прорывы хаоса в историческую действительность и преодоление этого хаоса — в этом содержание истории. Но историческая действительность лишь с одной стороны граничит с хаосом. С другой стороны история соприкасается с сферой Благодати, Харизма. Без помощи со стороны благодати, история не могла бы преодолеть хаоса.

Макс Вебер ввел в социологию формальное понятие «характеристического вождя». Под харизматическими вождями Макс Вебер понимал, как известно, тех исторических вождей, которые прорывают созданный порядок, существующую иерархию, и создают новую иерархию и новый порядок. Свое «право» вожди такого рода выводят не из освященной временем традиции, из преемственности, а из озаряющей их «благодати».

Эта «благодать», в формальном смысле, может исходить и из сатанинского источника. Такая сатанинская «благодать» является часто источником пестрых и интересных событий, но значительность этих событий, их «историчность», минимальна. Можно сказать что в том, что называется историей, случаются не-исторические полосы. Это совсем не консервативные эпохи, иногда события в эти не-исторические полосы развиваются с шумом и с треском, но это бег на месте или повторение пройденного. У этих эпох нет собственной темы. Какова, например, историческая тема гитлеровской эпохи?

Но благодать в истинном смысле есть необходимый элемент истории, без благодати история превратилась бы в скучный и банальный процесс. Историческая действительность трагична. Трагизм этот высшего порядка, чем трагизм космоса. С онтологической точки зрения начало и космоса и истории может мыслиться лишь как некое отпадение от Сущего (Божества), отпадение трагичное само по себе. Из этого следует, что история должна иметь какой-то конец, тоже трагический, а не «благополучный». История должна закончиться согласно тому закону, по которому она началась. Это мудрое правило восточной философии: *Nach dem Gesetz, nach dem sie angetreten* (Гете).

Механистическое истолкование истории может объяснить сцепление исторических событий. Оно бессильно дать нам понятие о смысле истории. Смысл истории в ее символичности. История — выражение какого-то процесса, одновременно субисторического и над-исторического. История — преходяща. Историческая действительность, насколько ее охватывает человеческий разум на протяжении пяти-шести тысячелетий, охвачена относительно устойчивой рамкой космоса. Эта сравнительно устойчивая рамка космоса еще более подчеркивает преходящий характер истории.

Но столь же ясна и «вечность» истории. Эта вечная сторона истории проявляется в том, что в ее русле осаждаются институты, традиции, общественные привычки, обладающие громадной живучестью. Эта живучесть исторических традиций переживается нами острее, чем вечность космоса. Именно это соединение преходящего и вечного заставляет нас искать смысл истории не в ней самой, а где-то вне ее, в некой мета-истории. Всё преходящее есть подобие вечного, поет мистический хор в заключительной сцене «Фауста».

Г. Биншток

НАШИ ЗАДАЧИ

1.

Больше года прошло со времени коммунистического переворота в Чехословакии, а 2-го апреля исполнилась первая годовщина принятия Американским Конгрессом «программы европейского восстановления». Чехословацкий переворот раскрыл глаза западному миру, впервые по-настоящему ощутившему природу и размеры коммунистической агрессии, а приступ к осуществлению плана Маршала показал его окрепшую решимость организоваться для защиты против этой агрессии. Истекший год прошел под знаком усиления и расширения «холодной войны».

Едва ли нужно давать подробный обзор главных этапов этой международной борьбы — они у всех еще в памяти, а до подведения окончательных ее итогов пока еще далеко. Борьба только началась и она может принять затяжной характер. По самой природе демократических стран, развертывание и консолидация их сил неизбежно происходят с такой медленностью, которая подчас может казаться отстающей от событий и приводить в смущение, если не в отчаяние. В этих начальных стадиях борьбы многие преимущества продолжают оставаться на стороне диктатуры. Там, где диктатор может создавать «совершившиеся факты» одним «манием руки», демократическая коалиция вынуждена строить свою политику на основе предварительного обсуждения и говора. За непредвиденным исключением Югославии, Сталину удалось сколотить восточный блок путем простого давления на марионеточные правительства стран-сателлитов. Осуществление идеи западного оборонительного союза требует добровольного соглашения с подлинно независимыми государствами. Не только в международных отношениях, но и во внутренней политике отдельных демократических стран действует то же, непосредственно для демократии невыгодное, различие. Диктатор фабрикует нужное ему «общественное мнение», а иногда может позволить себе роскошь его игнорировать. Демократиям это не дано: их общественное мнение не фабрикуется, а растет и меняется в

процессе свободной идейной борьбы, и правительства всегда вынуждены с ним считаться. Политический захват Чехословакии мог быть решен в одном или нескольких заседаниях Политбюро, а утверждение северо-атлантического пакта — даже той страной, правительство которой само его предложило — займет несколько месяцев всестороннего и публичного обсуждения.

На стороне диктатуры есть пока и еще одно преимущество: она является законной наследницей военного разрушения со всеми его политическими, социально-экономическими и морально-психологическими последствиями. Она процветает и делает свои завоевания среди развалин нормальной и цивилизованной человеческой жизни. Разрушать всегда легче, чем создавать, а при современной технике и подавно. Разрушить веками накопленные ценности можно едва ли не в несколько дней, а для того, чтобы их восстановить, потребуются многие и многие годы. Политика диктатуры расчитана на непосредственное использование результатов разрушения. Политика демократии строится в расчете на постепенный и неизбежно медленный процесс восстановления.

Вот почему нам надо обуздывать свое, вполне естественное, нетерпение и быть на страже против преждевременного пессимизма. Слов нет, и для оптимистического торжества оснований пока еще не имеется. Грозная опасность еще не миновала, коммунистическая агрессия еще не остановлена, дело демократии еще не выиграно, человеческая свобода еще не обеспечена. Но если сравнить положение, как оно было несколько лет тому назад, с тем, что мы наблюдаем сейчас, то нельзя не укрепиться в надежде на возможность и вероятность конечной демократической победы. Период почти беспрерывного отступления демократий перед натиском кремлевской диктатуры кончился. Демократия перешла к активной обороне и на этом пути добилась уже существенных успехов. От первоначальной доктрины Трумана, с ее ограниченным применением к Турции и Греции, через военно-оборонительный союз пяти европейских государств, к северо-атлантическому пакту — «дистанция огромного размера», и если припомнить все связанные с этой эволюцией трудности, то надо скорее удивляться тому, в какое сравнительно короткое время она была проделана, чем оплакивать ее медленность. И пусть сейчас встающая за этими достижениями перспектива европейской федерации кажется еще мало реальной возможностью,

— уже самый рост этой идеи и постепенное ее укрепление являются фактом огромного психологического значения.

План Маршала находится пока еще в первоначальной стадии своего осуществления и, как и следовало ожидать, встречает на своем пути большие и разнообразные трудности. Но уже и сейчас можно говорить о крупных его успехах, и компетентные наблюдатели европейской экономической жизни отмечают в ней симптомы значительного, хотя и далеко не равномерного, улучшения. Медленно, но верно, поддерживающие американской помощью, европейские страны становятся на ноги.

Было бы смешно утверждать, что в политической жизни Европы наступила эра благополучия, но и в этой области можно отметить ряд несомненных плюсов. И во Франции и в Италии опыт управления без коммунистов оказался гораздо более удачным, чем можно было ожидать, и в обеих странах сила и влияние коммунистов явно идут на убыль. Борьба за Германию продолжается, но, подводя предварительные итоги за истекший год, можно утверждать, что за это время положение западных держав на этом фронте окрепло, а советская диктатура потерпела ряд поражений. Еще не так давно политические «реалисты» Америки и других западных стран рекомендовали сдачу Берлина, как явно безнадежной позиции, а сейчас, после блестящего успеха «воздушной помощи», голоса эти что-то умолкли. Правда, другая и более существенная задача демократических держав — организация западной Германии — пока что задерживается внутренними разногласиями в демократическом лагере, но надо надеяться, что эти трудности будут преодолены — и не в слишком отдаленном будущем.

За успехами демократии в «холодной войне» стоит основной факт того прояснения сознания в западных правительственныех и общественных кругах, которое в одной из предыдущих своих статей я назвал «разрушением иллюзий*). За последний год процесс этого прояснения шел неуклонно и всё ускоряющимся темпом — на разных уровнях и в различных формах. Здесь достаточно напомнить несколько наиболее показательных фактов. На парижской сессии Объединенных Наций моральная изоляция советского блока была более явственной, чем когда-либо раньше. Знаменитое «мирное пред-

*) См. кн. 18-ую «Нового Журнала».

ложение» Сталина повисло в воздухе, и даже пропагандный его эффект вышел мало внушительным: Запад словам больше не верит и требует дел. Опасения, связанные с президентскими выборами в Америке, оказались неосновательными. Полный провал Уоллеса и твердая позиция, занятая президентом Труманом, положили конец сомнениям насчет дальнейшего курса американской внешней политики: вместо поворота в сторону «умиротворения» Сталина произошло усиление активной обороны от коммунистической агрессии.

Изживание иллюзий шло неуклонно и в общественном мнении Европы и Америки. Отмежевание от коммунистов в социалистических и рабочих кругах; фактический распад всемирной федерации профессиональных союзов, созданной в свое время по указке из Москвы; серия разоблачений коммунистических агентов; горячая реакция на такие события как «побег» Косьянкиной и Самариных или процесс Кравченко; наконец внушительные протесты против недавней международной конференции просоветских «интеллектуалов» в Нью Йорке — всё это звенья одной и той же цепи, симптомы неуклонно растущего отталкивания свободных народов от коммунистической лжи, прикрывающей смертельную угрозу их свободе. Недаром из просоветского стана несутся вопли об «истерике», свидетельствующие о наличии подлинной истерики среди теряющих почву под ногами защитников советской тирании.

Это одно уже есть крупное поражение для Сталина. Не всё для него благополучно и в тех пределах, где он казалось бы уже мог считать себя безраздельным властелином. Явные признаки истерики можно усмотреть во всех преувеличениях и нелепостях «борьбы с Западом», идущей сейчас по всему идеологическому фронту в советской России. Вся эта бешеная атака не имела бы смысла, если бы диктатура не ощущала растущей опасности западных соблазнов для благонадежности подвластного ей населения. Слабостью, а не силой продиктованы и новые нажимы и чистки в странах-сателлитах, где престиж Москвы должен был пошатнуться под впечатлением от бунта Тито, до сих пор оставшегося безнаказанным. База, нужная для дальнейшего наступления в Европе, оказалась ненадежной.

Зато Сталин взял свой реванш в Китае. Здесь надо признать факт крупного поражения для западной демократии вообще, для Америки в частности. Напрасно было бы искать утешения в расчетах на то, что коммунисты увязнут в Китае,

оказавшись не в состоянии его освоить и подчинить своей власти. Расчитывать на это нет, казалось бы, серьезных оснований. Надо отдать себе и полный отчет в том, какую огромную опасность представляет собою возможная смычка китайских коммунистов с коммунистическими или близкими к ним элементами в соседних азиатских странах. Горючего материала там достаточно, в давно накоплявшихся и еще неразрешенных антагонизмах — социальных, политических, национальных и расовых.

Со всем тем об окончательной победе Сталина на азиатском фронте говорить преждевременно. Даже и в Китае дело западных демократий, т. е. в первую очередь Америки, еще не окончательно проиграно. Даже и сейчас еще возможна хотя бы попытка «задерживающей операции», имеющей своей целью отстоять что можно, помешать дальнейшему продвижению коммунистов на юг, в сторону Индо-Китая, Сиама, Бурмы, Индонезии. Еще более преждевременно говорить о потере всей Азии, в которой, как это показала недавняя конференция в Дели, есть ведь и конструктивные, некоммунистические и анти-коммунистические силы. От степени мудрости и решимости вождей демократической коалиции будет зависеть, удастся ли западной демократии не только остановить продвижение коммунистической диктатуры в Азии, но и превратить временные ее победы в конечное поражение.

2.

«Холодная война», в психологическом ее аспекте, есть испытание крепости нервов противника. В современных условиях эта «война» не меньше войны настоящей, носит характер тотального. В известном смысле она даже более тотальна, чем война без кавычек. Поскольку в ней борьба идет за души народов, к ней неприменимо традиционное различие между «бойцами» и «мирным населением». В ней все без исключения «бойцы». Это значит, что каждый из нас, хочет он того или нет, является непосредственным ее участником. Наша психические реакции, крепость наших нервов, доля нашей твердости и решимости — входят составным элементом в шансы на победу той стороны, которую мы считаем своей. Устоять в этой борьбе на «нервное истощение», сохранить все необходимое хладнокровие и всю доступную нам трезвость мысли — есть наш первый долг как «бойцов».

В сознании нашей ответственности, мы не можем отда-

ваться во власть эмоциональных реакций: впадать в преждевременное отчаяние сегодня и тешить себя на следующий день необоснованными надеждами. В той мере, в какой это нам доступно, мы должны основывать нашу политическую позицию (а в «холодной войне» она уже есть своего рода политическое действие) на спокойном и трезвом анализе всех факторов положения и прежде всего воздерживаться от скороспелых и категорических выводов. Всякий исторический и политический прогноз имеет свои пределы. Так и наш, личный и коллективный, опыт дает нам право только на некоторые общие утверждения насчет того, как пойдет дальнейшее развитие событий. Мы можем — и должны — утверждать со всей убежденностью, что между системой, стремящейся обеспечить человеческую свободу, и системой, основанной на рабстве, настоящего и окончательного примирения быть не может. Это значит, что не только никакого «синтеза», но и никакого длительного компромисса между демократией и тоталитарной диктатурой ожидать нельзя. Ни мир, ни свобода не могут быть обеспечены иначе как через полное и окончательное крушение диктатуры.

Но нам не дано знать ни того, когда именно, ни того, в какой именно форме, это крушение произойдет, и в этой части нашего прогноза мы должны соблюдать всюнюю осторожность, не поддаваясь ни внушению законных и естественных эмоций, ни соблазну чисто логических выкладок. История не развивается в строгом соответствии ни с требованиями нормального чувства, ни с законами логики. Здесь вступает в силу действие тех «невесомых факторов», о важности которых любил говорить даже такой мастер «реалистической» политики как Бисмарк. Уже по одному этому нельзя строить политики на идее неизбежности войны и притом войны, которая должна разразиться в непосредственном будущем. Мы уже пережили несколько моментов, когда казалось, что этот последний трагический кризис наступил, и всякий раз оказывалось, что историей дана новая отсрочка. Этот опыт может повториться, и может быть не один раз.

Это не значит, конечно, что к возможной, а может быть даже и вероятной, войне не надо быть психологически готовым. Скинуть со счетов возможность такого варианта исторического развития было бы непростительным легкомыслием. Но таким же легкомыслием было бы не готовить себя и к другому, тоже реально возможному, варианту. Абсолютной неизбежности в исторических событиях не бывает, и мы долж-

ны быть готовы и к тому, что кризис может затянуться на долгое время, что в течение многих лет мы будем жить в условиях того же неопределенного положения, где-то между миром и войной, без примирения между свободой и рабством, но и без «последнего и решительного» между ними боя.

В известном смысле быть готовым к такому варианту труднее, чем быть готовым к войне. Он потребует от всех нас большей выдержки, большей крепости нервов, более твердой веры, — если угодно, большего мужества. Рано или поздно сковывающая нашу родину диктатура падет и русский народ обретет свою свободу, но может быть ждать этого придется долго. Я отнюдь не проповедую позицию пассивного ожидания. Напротив, в той мере, в какой это от нас зависит, мы должны сделать всё возможное, чтоб ускорить час русского освобождения. Конечная цель остается одна, и наша воля к ее достижению должна быть непреклонна. Но доступные для нас политические действия должны быть основаны на тактической гибкости и расчитаны на альтернативный ход событий. Ни догматическое отрицание возможности внутренней революции в России (то, что сегодня кажется невозможным, может оказаться возможным завтра), ни столь же догматическое утверждение неизбежности или даже необходимости войны, как единственного способа освободить Россию, — основой для целесообразных политических действий быть не могут. И то и другое есть своеобразная форма политического пораженчества.

3.

Не только в мире в целом, но и в том микрокосме, каким является русская эмиграция, происходят сейчас знаменательные сдвиги. Впервые за всё время своего существования эмиграция перестала ощущать себя почти одинокой в мире, получив возможность выйти из того состояния относительной изоляции, в которой ей пришлось пребывать не один десяток лет. Эмиграция была одинокой, потому что у нее не было — или почти не было — связи с Россией и потому что в окружавшей ее иностранной среде она не встречала достаточного резонанса. И то, и другое теперь резко изменилось. Появление в западных странах сотен тысяч людей, вырвавшихся из советского плена, означало для эмиграции «встречу с Россией», а безмерно увеличившееся значение «русского вопроса» в международных отношениях создало почву для большего внима-

ния к голосу эмиграции со стороны западного общественного мнения.

О встрече новой эмиграции со старой писали уже много. Вероятно неизбежна была на первых порах некоторая доля взаимного непонимания и взаимной настороженности. Слишком уж различен был опыт той и другой стороны и слишком длителен период их разобщенности. А когда наметившиеся различия психологии стали предметом гласного обсуждения, то как это почти всегда бывает, они подверглись ненужному преувеличению и обострению. К счастью эту фазу развития, кажется, можно признать уже пройденной. Всё реже приходится встречать на страницах эмигрантской печати противопоставление двух эмиграций, и надо надеяться, что скоро вопрос этот и совсем будет снят с очереди. О том, что нового принесла с собой эмиграция последнего призыва и чему она может научиться от эмиграции старшего поколения, — говорить можно и нужно, но это будет уже совсем другая постановка вопроса: речь будет ити не о противоположности, а о взаимном дополнении двух эмиграций.

Обнаружилось, что при всех различиях есть у них и общая почва, общее устремление и общий язык. И если вспомнить ту преграду, созданную временем, пространственной разъединенностью и разницей в личной судьбе, которую пришлось преодолевать участникам встречи, то надо скорее удивляться, что в сравнительно короткое время им удалось в основном договориться и понять друг друга. Было время, когда многих из нас, старых эмигрантов, пугала мысль, что если бы Россия для нас и открылась, мы почувствовали бы себя там иностранцами. Думаю, что не ошибусь, если скажу, что встреча с новыми эмигрантами этот страх рассеяла. Шероховатости были и будут, некоторые «стилистические» различия есть и останутся, но всё это бледнеет перед фактом определяющего значения: у нас одна с ними любовь — к родине, одна с ними ненависть — к угнетающей ее тирании, одна с ними надежда — на грядущее ее освобождение.

Новое положение эмиграции — и в отношении России, и в отношении западного мира — вызвало в ее среде значительное политическое оживление и поставило на очередь, более настойчиво чем раньше, вопрос о политическом объединении. Как известно, за последний год попытки такого объединения возникли одновременно в разных группах эмиграции, и в Америке и в Европе. И здесь дело не обошлось без шероховатостей и трений, и достигнутые пока результаты могут показаться

очень скромными, а кое-кому даже и разочаровывающими. Но боюсь, что часто источник этого разочарования лежит в преувеличенных и беспочвенных надеждах. Отдадим себе ясный отчет в том, что для создания какого-либо всеобъемлющего «национального комитета» никаких реальных данных не имеется. Поймем и то, что даже создание широкого демократического объединения не может быть осуществлено простым декларативным актом и требует большой и сложной подготовительной работы. В процессе этой работы неизбежно уточнение основ объединения, что с такой же неизбежностью приводит к отмежеванию от тех элементов, которые для демократического объединения были бы ненужным и даже вредным балластом. Если подчас попытки к объединению приводят к разъединению даже и в самой демократической среде, то это явление, при всей его нежелательности, можно признать своего рода «болезнью роста», которая, надо надеяться, со временем будет изжита. Ее нельзя лечить заклинаниями и взаимными обвинениями в «партийности» и «сектантстве». Если объединение будет создано на прочной и здоровой основе, оно будет расти постепенно и органически, укрепляясь и расширяясь в совместной, а в некоторых случаях хотя бы только параллельной, работе.

При этом не следует требовать от кого бы то ни было отречения от особенностей его политической и общественной мысли. Полное единомыслие для дела демократического объединения ненужно, более того, оно противоречило бы самой его природе: подведение всех под один ранжир — принцип тоталитарных режимов, а не демократии. Есть одна непереходимая черта, отделяющая сторонников демократии от ее противников: это преданность идеям свободы и права. Всё остальное есть частности, о которых можно спорить, по поводу которых можно расходиться, делать уступки, сговариваться. И только одного мы вправе требовать друг от друга: чтобы каждый из нас умел подчинять эти расхождения в частностях тому единству в основном, без которого мы не можем осуществить общие нам всем задачи.

В чем же эти задачи заключаются? Останемся в пределах непосредственно нам доступного, не загадывая на будущее. Спросим себя, каковы реальные возможности, открывающиеся сейчас перед эмиграцией.

1. Нужно ли говорить о том, как важно было бы для успеха нашего дела, чтобы голос наш был услышан внутри России? Этот вопрос один из основных не только для нас, но и

для всей мировой демократии. «Если бы только мы могли найти доступ к русскому народу»... — мотив этот всё чаще звучит в речах ответственных представителей западного мира, до последней речи Черчилля в Бостоне включительно. До недавнего времени мы склонны были расценивать какие-либо возможности в этом направлении крайне пессимистически. Война и ее последствия и здесь открыли новые перспективы. Мы узнали, во-первых, до какой степени сильна жажда свободного слова среди русского народа и насколько подготовлена почва для его восприятия самой, осточертившей и себя дискредитировавшей, официальной пропагандой. Узнали мы также и о том, что «железный занавес» уж не настолько непроницаем, как это можно было думать, и что, распространив свою власть до середины Европы, Сталин сделал ее более уязвимой. Целый ряд свидетельств, исходящих из разных источников и подкрепленных фактическими данными, указывает на то, что проникновение пропаганды за границы советской оккупационной зоны в Германии — дело далеко не безнадежное, а раз проникнув туда, она уже найдет себе дорогу и дальше на восток. Не надо ни преуменьшать трудностей, ни преувеличивать возможной эффективности наших усилий. Но всё должно быть сделано для того, чтобы довести их до доступного нам максимума. И как бы скромны ни были результаты, они сыграют свою — и может быть немаловажную — роль.

2. В этой части нашей работы первостепенное значение будет иметь сотрудничество с той частью новой эмиграции, которая находится в Европе. И по географическому своему расположению, и по жизненному своему опыту, она предназначена служить органом передачи голоса эмиграции в Россию. Но для того, чтобы она могла сыграть эту роль, ей должна быть оказана незамедлительная и всесторонняя поддержка. Всё, что делалось до сих пор в этом направлении, остается незначительным по сравнению с огромными размерами нужды. Напряжение наших усилий в деле организации правовой защиты Ди-Пи и в оказании им материальной и духовной помощи диктуется не только соображениями гуманитарного характера, но и правильно понятым политическим интересом. В этом пункте дело спасения отдельных людей сливается с делом освобождения России. И наш долг внушать сознание неотложности и важности этой задачи западному общественному мнению и правительственный кругам. Надо неустанно стучаться во все двери до тех пор, пока они не откроются, — пока самая кличка Ди-Пи, оскорбительная в своей нелепости, не станет достоя-

нием прошлого, и те, кто сейчас обозначается двумя буквами алфавита, заживут достойной человеческой жизнью и будут приняты Западом, как равноправные союзники в борьбе за человеческую свободу.

3. К сфере воздействия на западное общественное мнение принадлежит и другая наша обязанность — говорить правду о России, так как мы ее чувствуем и понимаем. «События учат лучше чем слова», только что заявил Черчилль перед своим отъездом из Америки. В этом, конечно, есть большая доля правды, но было бы странно, особенно в устах Черчилля, если бы это обозначало отказ от пользования словом, как оружием в политической борьбе. События учат, но не всех и не сразу. И в отношении к «русскому вопросу» у русских эмигрантов, старых и новых, есть очевидные и естественные преимущества перед людьми западного мира. Мы видели, как даже самые выдающиеся представители западной демократии должны были пройти через длинную полосу опасных иллюзий и дорого стоявших ошибок прежде чем события научили их правильно разбираться в положении. И кажется без излишнего самомнения мы можем сказать, что ценою горького опыта западная демократия пришла теперь к признанию правильности многих из тех оценок и прогнозов, которые давно уже были даны русскими эмигрантами. Но и сейчас еще эта функция эмиграции не может быть сочтена законченной. И старые иллюзии далеко еще не везде изжиты, и возникновение новых отнюдь не исключено. На эмиграции остается долг стоять на защите подлинных национальных интересов России перед лицом западного мира.

Здесь неизбежно встает вопрос о праве эмиграции говорить от имени России и, в связи с этим, о законности противопоставления русского народа господствующей над ним сейчас власти. Вопрос этот уже не раз дебатировался в эмигрантской печати и вокруг него успело накопиться много недоразумений. Надо установить, о каком противопоставлении народа и власти идет речь и в каком смысле эмиграция имеет право — большие того, обязана — на этом противопоставлении настаивать.

Е. Д. Кускова, не раз писавшая по этому вопросу с присущей ей искренностью и убежденностью, основывала свои сомнения на аргументах двоякого рода — формальных и фактических. С формальной стороны Е. Д. отрицала возможность оспаривать право какого-либо правительства, хотя бы и самого деспотического, говорить от имени официально представляющей им страны, поскольку это правительство пользуется признанием в международных дипломатических сношениях. Став

на строго легальную точку зрения, с этим нельзя не согласиться, но ведь это в сущности не имеет отношения к предмету нашего спора. Формальной дипломатией не исчерпываются взаимоотношения между народами мира, а политические режимы преходящи и уже по тому одному не могут претендовать на полное их отождествление с нацией. Вот почему вопрос о формальной правомочности правительства в международных сношениях никогда не останавливал революционную эмиграцию в прошлом, а иногда и легальную оппозицию внутри страны, от того, чтобы указывать на антинародный и антинациональный характер власти.

Другой аргумент Е. Д. Кусковой на первый взгляд носит более убедительный характер. Е. Д. противопоставляет теперешнее положение эмиграции, лишенной на ее взгляд какой-либо базы внутри России, положению эмиграции царских времен, действовавшей в тесной связи с революционным движением русского народа. С некоторым упрощением мысль эту можно было бы выразить так: тогда сам народ говорил и эмигранты высказывались по прямому его полномочию; сейчас «народ безмолвствует» и эмигранты являются своего рода «самозванцами». Оставим в стороне вопрос о том, насколько русский народ сейчас «безмолвствует». Но ведь и картина прошлого, нарисованная Е. Д. Кусковой, правильна только для сравнительно короткого периода. Это — возведенное в «исторический закон» впечатление от эпохи освободительного движения конца девятнадцатого и начала двадцатого столетий. Ни Герцен в середине девятнадцатого века, ни «Группа Освобождения Труда» поколением позднее, не опирались — и не могли опираться — ни на какое широкое народное движение в России. Однако, они дерзали говорить от имени русского народа и, обращаясь к Западу, постоянно противопоставляли народ власти. И разве в каком-то смысле это их дерзание не оказалось исторически оправданным? Конечно, эти ранние эмигрантские революционеры имели гораздо большие фактических возможностей для сношений с единомышленниками в России, чем имеем мы сейчас. Но разве не ясно, что это невыгодное для нас обстоятельство целиком объясняется различием между технически-совершенным аппаратом тоталитарной диктатуры и полицайской кустарницей старого режима? Неужели действительно можно серьезно сомневаться в том, что в чувствах и мыслях своих русский народ сейчас отвергает сталинскую власть с гораздо большей силой, чем он готов был отвергать власть Николая I-го или даже Александра III-го?

На другую почву поставлен вопрос в напечатанной в этой же книге «Нового Журнала» статье Г. П. Федотова. Г. П. подошел к вопросу как историк-моралист, и я спешу заявить, что всесильно признаю полную законность такого подхода. Да, исторически и морально, всякий народ несет ответственность за свое правительство. В этом смысле право старинное изречение, что «всякий народ заслуживает того правительства, которое он имеет». Но в конце своей статьи Г. П. Федотов сам проводит чрезвычайно важное различие между этим историко-моральным подходом и подходом политическим. «Невозможное исторически и этически», говорит он, «отделение народа от его преступной власти является политической необходимостью: не в порядке сущего, а должного»... Трудно было бы придумать формулу, которая точнее определяла бы самую сущность вопроса. К сожалению, Г. П. Федотов сопроводил ее смущающей читателя оговоркой: «отделение народа от его преступной власти» является политической необходимостью «особенно для сторонних или даже враждебных наций».

Почему же, однако, в меньшей степени для самого народа, о котором идет речь? Каковы бы ни были его исторические грехи, не могут же они тяготеть на немечно. Не искупил ли он их в достаточной мере теми страданиями, которые они ему принесли, и не настало ли уже время, когда и он имеет право отделять себя от преступной власти — хотя бы «не в порядке сущего, а должного» и как акт «политической необходимости»?

В переводе на более конкретный язык это значит следующее: не закрывая глаз на исторические корни русского несчастья и не боясь признаваться в совершенных всеми нами, личных и коллективных, политических ошибках, мы все же должны сейчас, тверже чем когда-либо, стоять на позиции противопоставления советской власти национальным интересам России, русскому народу и русскому будущему. Это — не только наше право, не только необходимое условие для успеха всей нашей политической работы. Это — наш патриотический долг.

М. Карпович

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

ПО ПОВОДУ СТАТЕЙ Б. И. НИКОЛАЕВСКОГО О ВЛАСОВСКОМ ДВИЖЕНИИ

В 18 и 19 книгах «Нового Журнала» Б. И. Николаевский приступил под названием «Пораженчество 1941-45 годов и ген. Власов» к публикации «материалов для истории» власовского движения. Две его обширные статьи в 70 страниц слишком уже появились, и работа, повидимому, будет иметь продолжение.

Если бы я подходил к этой работе, как к историческому исследованию, — пожалуй, я спокойно выжидал бы ее окончания. Но вопрос этот, особенно в той постановке, какую дал ему сам автор, привлекает всеобщее внимание и вызывает острое волнение. Б. И. Николаевский сам отдает себе в этом отчет, когда пишет: «Вопрос важен не для историков только. Он уже теперь имеет огромное значение и для практических политиков».

Действительно, без особых усилий можно установить, что всю работу Б. И. Николаевского пронизывает тенденция поспешить с исторической оценкой власовского движения в угоду практическо-политическим целям. Явная тенденция во что бы то ни стало оправдать исторически и реабилитировать морально власовское движение, сложившееся и действовавшее под режимом Гитлера — независимо от намерений автора превращает его «историю» в «служанку» даже не политических, а откровенных стратегических устремлений его. В этих условиях нет необходимости ждать окончания публикации «материалов для истории».

В сущности нет и возможности большие медлить с критической позиции Б. И. Николаевского, которая пишущему эти строки представляется глубоко ошибочной и вредной с точки зрения интересов демократической русской эмиграции. Мне кажется, что соображения общественного характера требуют, чтобы на страницах «Нового Журнала» оценкам Б. И. Николаевского была противопоставлена, хотя бы в самой сжатой

форме, другая точка зрения на власовское движение и особенно на вопрос о политической и моральной ответственности руководителей этого движения.

**

Если Б. И. Николаевский в своей исторической работе преследует апологетические цели и согласен принять на себя политическую ответственность за власовское движение, — это в конце концов его право. Другое дело — вопрос о методах, посредством которых он пытается разрешить поставленную им задачу. Несостоятельность этих методов бросается в глаза. Он берется доказать слишком много и не доказывает ничего. Стремясь установить демократический характер политической идеологии власовского движения, он приходит к обратным результатам и превосходно доказывает зависимость руководителей власовщины от нацизма, — не только в их деятельности, но даже во всей их идеологии.

При чтении работы Б. И. Николаевского с самого начала уже многое вызывало тревогу: самый тон, в котором автор, старый социалист, ведет «жизнеописание» генерала Власова, почти полное отсутствие документов, ссылки почти исключительно на изустное предание, систематическое уклонение историка от пользования власовскими органами печати. И вместе с тем безапелляционность в выводах.

Не менее тяжкое впечатление остается от более чем снисходительного, в сущности положительного отношения Б. И. Николаевского к русскому пораженчеству в последней войне, в которой сам автор был оборонцем для стран демократии, и оборонцем, а не пораженцем для сталинской России. Ведь начало власовского движения совпало с одной из решающих переломных вех в настроении русских народных масс и красной армии — со Сталинградом, — после которого о стихийном, массовом пораженчестве России и народов России говорить уже было невозможно.

Попытка конструировать концепцию о пораженчестве, якобы охватывавшем трехлетие или четырехлетие (1941-45), представляется и неисторичной, и неправильной. Если из СССР и особенно из тех областей, которые были под властью Гитлера и затем постепенно занимались шедшей на Запад Красной Армией, и бежали тысячи и тысячи советских людей, то видеть в этом бегстве, в этой погоне за спасением, — акт поражен-

чества является и натяжкой, и злоупотреблением словами. Таким путем всякого русского, который не принимал советского рая и бежал из него, можно автоматически зачислять в пораженцы! Историк был бы гораздо ближе к действительности, если бы отнес полосу массового пораженчества на 1941-42 годы, после которых в результате соприкосновения с немцами народные массы в СССР выступили даже с риском укрепления сталинского режима, скрепя сердце, на защиту России от Гитлера.

**

Что бросается в глаза в работе Б. И. Николаевского, — это систематическое нежелание его пользоваться печатью тех лет и тенденция ссыльаться на разговоры, частные письма неизвестных людей, мемуары, пользование которыми меньше всего поддается контролю и больше всего построено на «доверии» к историку и степени его объективности . . . Между тем печать, в частности власовского толка, какая бы она ни была по качеству, является при всех условиях не последним способом информирования.

В распоряжении Б. И. Николаевского имеется «Парижский Вестник», который открыто солидаризировался с власовским движением, руководители и сотрудники которого были власовцами (Жеребков, Пятницкий и мног. друг.). У него имеется берлинское «Новое Слово», у него есть номера власовского органа «Заря», «Доброволец» и др. Неужели во всех этих печатных органах он не нашел ни одной справки, ни одной цитаты, ни одной строки к характеристике власовского движения, чтобы всё свое изложение строить на «доверии»?

Вот в первой статье, говоря о слухах о еврейском происхождении одного из вождей власовцев, может быть самого крупного из них, Зыкова, автор отмечает, что Зыков при этих слухах «явно нервничал», и в «Заре», газете, которую он редактировал тогда, «начинали заметно звучать антисемитские ноты». Если в «Заре» были и звучали «антисемитские ноты», то почему бы Николаевскому не привести их вместо того, чтобы всячески доказывать, что «Парижский Вестник», приводя антисемитские цитаты из речей власовцев, то и дело занимался «интерполяциями»? Ведь совершенно очевидно, что не надо было приписывать власовцам антисемитские выступления и лозунги, раз они в главном власовском органе имели место?

К этому вопросу об источниках придется еще вернуться. Здесь только отмечу, что при всей разборчивости в отношении печатных источников о власовцах, в отношении одного из источников, ничуть не лучшего, чем «Парижский Вестник», — именно, газеты «России» в Нью Иорке, наш историк придерживается другого подхода: он обширно цитирует свидетельское показание некоего Усова о Власове из «России», — конечно, только потому, что сообщение Усова на руку нашему историку. Кстати, надо отметить, что Усов (отнюдь не «профессор» и не «новый эмигрант», как утверждает Б. И. Николаевский, а бывший колчаковский офицер и редактор гитлеровской газеты в одном из крупных городов юга России, вероятно, в Одессе, в годы оккупации), — очень редко и случайно встречался с Власовым (в 1944-45 году), по его собственному признанию, и вряд ли может почитаться авторитетным свидетелем. Но раз Николаевский ссылается на показания людей из «России», он совершенно напрасно проявляет столь скрупулезную подозрительность к «Парижскому Вестнику», напрасно тщится «валить» на цензуру немцев или их ставленников, чуть только он сообщает о власовцах неудобные для него вещи.

**

В пределах настоящего отклика на обширную работу Б. И. Николаевского немыслимо разобраться во всем искусственно нагроможденном им построении, преследующем утопическую цель — доказать демократический характер власовского движения под Гитлером. Единственное, что можно сделать — это указать на те элементы легенды о власовском движении, которые он пристрастно и упрямо выдвигает и отстаивает, в то время, как их несостоятельность может быть без труда установлена.

Одна из этих легенд — это легенда о «независимости» Власова, Зыкова и др. по отношению к наци (№ 19, стр. 220). Эта «независимость» проявлялась власовцами, по мнению автора, прежде всего в документах, программах и лозунгах. Говоря о пропагандистской школе в Дабендорфе — этом питомнике власовских деятелей, Б. И. Николаевский опять говорит о «независимости» ее в отношении немецких властей (стр. 225). Та же «независимость» звучит в речах Власова в Риге, Пскове и т. д. (стр. 232). Та же картина чрезвычайного проявления «независимости» рисуется им в характеристике поведения

Малышкина в Париже (которому он уделяет до 10 страниц текста).

Эта легенда о «независимости» власовского движения от Гитлера представляет собой порочное звено в той цепи реабилитации, которую кует Б. И. Николаевский. Из его собственного изложения истории власовства со всей отчетливостью вытекает, что немцы в начале рассматривали Власова, его комитет, его выступление и пр., как свой нацистский «пропагандный трюк», предпринятый в интересах разложения Красной Армии и укрепления своих позиций на Востоке. Поэтому русский комитет долго оставался «фикцией», — никакого комитета даже и не было, и первое выступление Власова (т. н. смоленское) было сделано не из Смоленска, а из нацистской квартиры в Берлине и т. д. Следовательно, в начальный период ни о какой тени «независимости» не могло быть и речи.

В характеристике Зыкова автор отмечает: «Вел он себя (в переговорах с военнопленными Г. А.) как человек, который имеет власть принимать решения». Иными словами, Зыков совершенно очевидно действовал на основе полномочий и поручений немецких властей, — какой же тут может быть разговор о его «независимости»?

Сам Власов . . . О нем в неизданных воспоминаниях одного лица, копию которых автор прислал пишущему эти строки — и которые заслуживает доверия, хотя бы потому, что сам Б. И. Николаевский неоднократно ссылается на них (№ 19, стр. 227-228), — есть очень подробная, и весьма критическая, характеристика Власова. (Будь Б. И. Николаевский хоть в слабой степени объективен, он не позволил бы себе совершенно промолчать об этих страницах воспоминаний человека, наиболее полно и с знанием дела обрисовавшего историю власовского движения и его героев!) Приведу только несколько строк для выяснения основательности творимой легенды о «независимости» власовцев от немцев.

«Играя с самого начала роль марионетки, он закрывал глаза на позорный характер своего положения . . . Будучи формально главою РОД, он не смел всё же высказываться самостоятельно . . . Он никогда не мог занять твердой позиции в переговорах с немцами и всегда шел на уступки». И вот вывод мемуариста, — которому, повторяем, и мы можем доверять, раз ему доверяет наш историк: «У людей, ставшихся осмысливать его (Власова) поведение, сложилось впечатление,

что анти-немецкие высказывания и смелые выпады против политики Н. С. партии в русском вопросе заранее подготовлены и осуществляются с согласия самих же немцев для создания их ставленнику дешевой популярности»...

Всё это, впрочем, понимает порой и сам автор творимой легенды, когда пишет: «Конечно, проявить эту независимость Зыков и Власов могли только с разрешения (или по распоряжению? — Г. А.) гитлеровской власти, а эта последняя руководствовалась своими собственными соображениями». Если это так, то что дает основание на последующих страницах и не раз серьезно применять это ясное понятие «независимость» к власовцам, которые и при желании никакой независимости под Гитлером проявить не могли?

**

Б. И. Николаевский конструирует и другую легенду — о том, что политические концепции власовцев и их лозунги не только ничего общего не имеют с гитлеризмом, но в сущности полностью противоречат ему. Он настаивает, например, на том, что столь ярко звучащее во всех власовских выступлениях отталкивание от Англии — это, мол, одна из русских политических концепций, усвоенных Власовым совершенно независимо от установки нацистской Германии в ее войне с Англией. Надо быть весьма наивным человеком, чтобы думать, что, когда Власов в своем возвзвании усиленно повторяет мысль, что «Англия всегда была врагом русского народа», — он как раз свою независимую, собственную, политическую идею защищает, а не отражает директивы гитлеровцев.

Такой же легендой является преподносящееся в серьез утверждение, будто ориентация Власова на Германию является отражением и традиционно-русских, и традиционно-большевистских тяготений к Германии и отталкиваний от англо-саксонских стран, и продиктована доводами от..., «геополитики». Б. И. Николаевский был бы гораздо ближе к действительности, если бы остался в рамках объяснения прогерманской, прогитлеровской ориентации — «тактическим приспособлением» и не «углублял» бы вопроса там, где всякое углубление только претенциозно.

Таким же распространением легенды занимается Николаевский, когда утверждает, что призыв Власова «к борьбе за завершение национальной революции» — есть намек на... февральскую революцию, а не повторение лозунга гитлеризма,

гордившегося тем, что он совершил у себя в стране «национальную революцию».

Утверждение, что, например, в противовес другим делегатам комитета власовцев на собрании в Париже, произносившим «явно-прогитлеровские речи», Малышкин, более авторитетный власовец, в своей речи «стоял на почве февральской революции» и «оставался демократом», ничем не может быть доказано. У власовцев тех лет было принято: вспоминать о феврале 1917 года и выдавать его за «национальную революцию» для того, чтобы размежеваться с реставраторами типа Маркова второго, но вместе с тем и для того, чтобы тотчас указать, что «кучка жидов и большевиков уничтожила эту национальную революцию» (Малышкин) или, что ее «испоганили жиды и большевики» (Боярский, тоже весьма видный власовец).

Единственное основание для разговоров о демократизме власовцев дает их так сказать стратегическое расхождение с реставраторами. Это — верно. Власовцы выступили против реставрации «царской, дворянской, помещичьей России» (Малышкин), и «Парижский Вестник», хотя официально и не власовский орган печати, тоже порвал с зубрами, с реставраторами. Но неужели Б. И. Николаевский не знает, что именно гитлеризму была сродни эта плебейская нотка, — против помещиков, против аристократов, — и что, выступая против дворянских замыслов, и Малышкин, и Жеребков, одинаково варьировали гитлеровскую, нацистскую установку? И что никакой демократией, тем паче, никаким «февралем» тут и не пахнет?

Это же непонимание или игнорирование сущности гитлеризма проявляет наш историк, когда не раз цитирует лозунг власовцев: «Новая Россия без большевиков и капиталистов», приводя его в посрамление сомневающихся в демократизме власовцев. Неужели он не знает, что лозунг «без капиталистов» взято целиком из арсенала идеологии Н. С. и вряд ли хоть в какой-либо мере отражает подлинное отношение к социальной и экономической проблемам в будущей, свободной от большевиков России, сколько-нибудь серьезных групп русской антикоммунистической оппозиции? Если верна изображаемая Б. И. Николаевским картина разрыва власовцев с махровыми правыми эмигрантами в Германии в годы войны (эта сторона вопроса нуждается еще в проверке), то, вероятно, ключ к этому лежит по той же линии, примерно, по которой гитлеровцы рвали с Дейтинационале и их спутниками: зубры и реставраторы не могли угнаться за социальной демагогией

гитлеровцев, которых копировали в данном случае, как и во многих других, власовцы, отчасти солидаристы, и пр.

Чтобы закончить с элементами легенды, я остановлюсь еще на одном моменте. Б. И. Николаевский в последней главе специально останавливается на одном практическом достижении власовского движения: на достигнутом благодаря Власову облегчении положения русских военно-пленных. Возможно, что для многих солдат-рабов включение во власовское движение или, вернее, армию, было способом или попыткой спасения. Этот вопрос нуждается еще в выяснении. Но мне кажется уместным привести по этому поводу несколько слов из рукописи осведомленного мемуариста, которого приходилось цитировать и Николаевскому, и мне в настоящей статье. Вот это место о заслугах Власова в деле спасения из лагерей русских военнопленных. «Никакой персональной заслуги Власова» тут нет. «Напротив известно, что, несмотря на многократные просьбы, Власов всячески препятствовал освобождению из плена своих бывших сотрудников по Красной Армии». Неужели это сообщение прошло мимо ушей Б. И. Николаевского?

**
*

Последняя глава рецензируемой статьи посвящена специальному вопросу, — «интерполировал» ли «Парижский Вестник» в речь Малышкина в Париже антисемитские заявления или они были им сказаны? Б. И. Николаевский строит такую схему: 1) в одном скучае, рассказывает он, «Парижский Вестник» в передовой статье привел цитату из тюремных воспоминаний какого-то Седерхольма и вставил туда (без кавычек) слова «иудей Ягода», которых у автора нет (мы должны всю эту историю принять на веру); 2) Б. И. Николаевский в качестве историка на основании опыта пришел к выводу, что антисемиты в своей литературе часто занимаются «интерполяцией»; 3) корреспонденты пишут ему, что в речи Малышкина вообще не было ничего о евреях; 4) отсюда наш историк не только приходит к выводу, что в речь Малышкина вставили слово «жиды», но считает возможным торжественно — и дважды — воскликнуть: «Итак, документально установлено, что «П. В.» заведомо занимался вписыванием антисемитских фраз в цитаты из писаний честных людей».

Любопытно отметить, что в речь Малышкин не один раз, а трижды «вставлены» антисемитские фразы, что в речах других делегатов Власовского Комитета на парижском собрании

— Давиденкова и Белова, эти антисемитские заявления в сущности заполняют собой всё содержание их речей. (Тут Б. И. Николаевский, не решаясь отрицать самые факты, старается этих «делегатов» дисквалифицировать).

Но как быть с другими антисемитскими заявлениями власовцев да и самого Власова, которых рассеяно много повсюду? Их тоже не было? Их тоже вставляли немцы — цензоры и их русские агенты? Так, например, по сообщению «Парижского Вестника» (№ 51) ген. Власов заявил в своей речи в Риге, что «в новой России евреям не будет места», что «очищение России от евреев» последует после ее освобождения, что в г. Струги тот же Власов заявил, что большевистская революция «служила только еврейству» («П. В.» № 53, со ссылкой на власовский орган «Заря»), что на конференции б. военно-пленных Малышкин заявил, что в новой России будет всем народам дана свобода, но «исключение составит только один народ еврейский» («П. В.» № 54, со ссылкой на «Голос Крыма»). Таких цитат можно привести немало, и из власовских органов, как «Доброволец» (№ от 9 янв. 1944, см. «П. В.» № 86), и из «Зари» Зыкова, как это попутно отметил сам наш историк. Что же, всё это — «интерполяция»? Вернее, это всё погудка на лад той нейтральной формулы, которую Зыков с Малышкиным, по рассказу Николаевского, выработали по еврейскому вопросу, а именно: «Евреи не являются одним из народов России, и потому Комитет [власовский] их не представляет» (№ 19, стр. 232). Передавая эту историю с бесстрастием летописца, Б. И. Николаевский, повидимому, не отдает себе отчета в том единственном смысле, который эта пресловутая «формула» имела и могла иметь: власовцы заявили немцам, что в случае их, немцев, вместе с власовцами, победы, в новой России никакого места евреям не будет. Евреи были загодя выданы с головой власовской позицией по еврейскому вопросу!

**

Полемику уже надо кончать. Но для полной ясности я должен уточнить свою мысль. Власовское движение, охватившее массы русских военнопленных в Германии, возбудившее у них надежду на освобождение России при помощи немцев, — не просто немцев, а немцев-нацистов, — было обречено на поражение и в случае победы Гитлера. Поэтому, как ни расценивать т. наз. власовское движение политически, нужно признать, что руководители власовцев были только использованы

гитлеровской военной машиной, не достигнув ни одной из тех задач, которые ставили перед собой Власов, Зыков, Малышкин и др. Смешно утверждать, что руководители власовцев в условиях, в которых они пытались действовать, могли быть демократами. Они могли, конечно, выступить с радикальной критикой большевизма, — это, разумеется, допускалось и поощрялось гитлеристами, — но они под Гитлером даже русскими патриотами никак не могли быть!

Поэтому вместо реабилитации политики Власова под Гитлером и принятия на себя ответственности за власовщину, русским демократам и социалистам в эмиграции было бы гораздо разумнее и правильнее убедить бывших власовцев распустить свои военные и полувоенные формации, ориентироваться заново в положении вещей и распределиться по разным общественным и политическим группировкам, — каждый по своей вере и по своим тяготениям. Когда такой выдающийся демократический и социалистический деятель, как Б. И. Николаевский, берет на себя непосильное бремя реабилитации того, что не поддается реабилитации, — он не только неизбежно запутывается сам, но и неизбежно вводит в заблуждение общественное мнение. Во имя ложных тактических задач историк оказывается в пленах у политика, а политик превращается в... адвоката дьявола.

Мне очень жаль, что все эти горькие истины приходится высказывать по адресу Б. И. Николаевского, к которому я, как и все, привык относиться за десятилетия нашей общей работы с глубоким уважением. Вот линия иллюстрация к старому положению: куда могут завести человека страсть и упрямство!

Григорий Аронсон

ОТВЕТ Г. Я. АРОНСОНУ

Мои статьи о «Пораженческом движении» Г. Я. Аронсон критикует под углом зрения историческим и политическим. Я начну с его критики исторической: какие бы выводы нам ни пришлось делать, факты нужно установить точно.

А. находит неправильными прежде всего методы моей работы. Он пишет про «почти полное отсутствие» в моих статьях документов, про мое якобы «систематическое уклонение от пользования власовскими органами печати», про мою склон-

ность делать выводы «почти исключительно» на «изустном предании». Кроме того, он сообщает читателю про «тревогу», которую вызвал в нем «тон данного мною «жизнеописания» Власова. Эти обвинения мне кажутся не только «почти полностью» неправильными, но и явно средактированными по известному рецепту: писать так, чтобы у читателя возникали самые худшие подозрения о намерениях противника.

С материалами о пораженческом движении дело обстоит плохо. Архивы самого движения или погибли или попали в руки большевиков. К материалам, имеющимся в руках союзного командования, доступ весьма затруднен, — почти закрыт. Русская печать, выходившая «под немцами», не собрана. Документацию приходится склеивать буквально по кусочкам. Поэтому более или менее полная картина движения может быть восстановлена только много позднее, — в результате коллективной работы историков: к этой теме будут часто возвращаться, над ней уже теперь работает ряд лиц.

Моими статьями изучение «пораженческого движения» только начато, — и естественно, что целый ряд вопросов я не имею возможности не только решить, но даже поставить. О полноте документации не приходится и говорить. Все эти оговорки мною сделаны в моей первой статье — А. напрасно об этом умалчивает. Но если на мои статьи смотреть как на первую попытку выявить доступный материал и поставить основные вопросы (это значение моей работы я подчеркнул в первой статье), то лишь в состоянии полемической запальчивости можно говорить о «почти полном отсутствии» в них документов. Кто даст себе труд перечесть мои статьи с карандашем в руке и составить список цитированных или упомянутых мною документов, тот легко убедится, как отклоняется от истины А. В частности мною цитируются едва ли не все те основные документы, на которых «власовцы» строили свою пропаганду в масках и которые поэтому особенно важны для понимания «души» движения: первое возвзвание Власова, его «13 пунктов», «присяга», «заповеди» из членской книжки и т. д.

Неправильно и указание, что я «систематически уклоняюсь» от цитирования «власовских органов печати». Иными словами, А. старается внушить читателю, что я имею возможность привести какие-то цитаты из «органов власовской печати», но не привожу их. Никаких доказательств А. не приводит. В действительности дело обстоит так: мои статьи пока доведены до осени 1943 года; изданий, которые с известным правом можно назвать «органами власовской печати», было два — «Заря» и

«Доброволец». Ни одного номера этих изданий для указанного периода мне достать не удалось, несмотря на старательные поиски. Знает ли А., где их можно найти? Если да, то почему он их не цитирует? Если нет, то какое основание он имеет делать мне какие бы то ни было упреки?

Берлинское «Новое Слово» и «Парижский Вестник» А. совершенно неправильно причисляет к числу «власовских» органов. Таковыми они никогда не были. К тому же «Новое Слово» за всё время напечатало вообще одну заметку о «власовцах», — а именно выдержки из первого воззвания Власова. Эту заметку я упомянул указав, что других статей и заметок о «власовцах» в газете нет*). Собирается ли А. оспаривать это мое указание? Пусть приведет данные. Если нет, что значит его намеки?

Единственное русское издание, в котором печатались заметки о «власовском движении», не полностью мною использованные, это — «Парижский Вестник». Но эта газета прежде всего, не была «власовским» органом. Жеребков и Пятницкий, которых называет А., во «власовские» организации вошли только позднее, уже в Германии. Кое-кто из активных «власовцев» в газете действительно писал, но факт такого сотрудничества так же мало дает права зачислять газету в число «власовских», как, напр., факт сотрудничества в «Новом Русском Слове» меньшевика Г. Я. Аронсона дает право объявить эту газету «меньшевистским органом печати».

«Парижский Вестник» был не «власовским» органом, а немецким органом на русском языке и вел определенную политику, продиктованную ему соответствующими немецкими властями. В задачи этой политики входило стричь «власовское» движение под геббельсовскую гребенку. Для этой цели «Парижский Вестник» якобы поддерживая «власовцев», информацию о них давал в препарированном виде*). Именно поэтому историк,

*). См. «Новый Журнал», № 19, стр. 239. — «Новое Слово» в моем распоряжении имеется с начала 1941 года и до июля 1944 г.

*) В качестве примера такого препарирования я привел случай с фальсификацией «Пар. Вест.» цитаты из воспоминаний — Седерхольма. Этого моего указания А. прямо не опровергает, но мимоходом говорит, что я не даю доказательств и требую верить мне на слово. В действительности, я дал точную ссылку на № «Пар. Вестн.». Если б А. хотел, он легко мог бы навести справку. — Не для А., а для читателей добавлю, что Седерхольм в советских тюрьмах сидел в 1924-25 г. г. и уже по этому одному не мог писать об Ягоде, как главе

если он желает оставаться объективным, информацией «Парижского Вестника» может пользоваться только после тщательной проверки каждого сообщения.

И вообще: газета, как источник для историка, имеет весьма ограниченную ценность. Об этом не мало написано в специальной литературе. Пользуясь газетой, всегда нужно знать, какая это была газета и какую позицию она занимала по отношению к описываемым событиям. Никак нельзя утверждать, что газета более надежный источник, чем воспоминания участников. Всё зависит от того, какова газета.

Особняком стоит вопрос об «изустном предании», которым я будто бы злоупотребляю. Прежде всего: этот термин А. употребил, явно не зная его значения. В литературе об источниках «изустное предание» противопоставляется «писанию», причем в категорию «преданий» относят записи, сделанные много после того, как имели место описанные события, — иногда через несколько поколений. Именно такова разница между «преданием» и «писанием», напр., в литературе по истории церкви.

Достаточно установить это значение термина «предание», чтобы стало ясно, насколько он неприменим к материалам моих статей. Я действительно широко пользовался воспоминаниями и свидетельскими показаниями лиц, которые были участниками описываемых событий, — но это ни в коем случае не «изустные предания», даже не рассказы из третьих рук.

При этом, — я настаиваю, — в моих статьях нет ни одного большого вывода, который был бы основан на одних только воспоминаниях. Все такие большие выводы — о внутренней независимости руководящей группы «власовского движения» от немцев, о демократизме ее взглядов, об ее сопротивлении попыткам немцев толкнуть ее на путь активного антисемитизма и т. д., — я делал на основании документов. Свидетельские показания я привлекал для того, чтобы осветить смысл процессов, происходивших за кулисами, роль и фигуры отдельных лиц, детали борьбы различных тенденций. Такого рода стороны исторических событий вообще никогда не могут быть поняты без воспоминаний. Особенно это верно, если речь идет о деятельности групп, которые бывали вынуждены прятать свою деятельность.

Конечно, воспоминания всегда в той или иной мере субъективны. Известно, что об одном и том же факте даже незайн-

ГПУ: в террористическом аппарате диктатуры Ягода тогда не играл первенствующей роли и его имя мало кому было известно (в книге Седерхольма оно вообще ни разу не названо).

тересованные свидетели рассказывают по разному. Про свидетелей заинтересованных и говорить не приходится, — а таковых, конечно, всегда больше. В задачи историка входит проверка степени достоверности воспоминаний, — и ему нередко приходится устанавливать, что не ко всем частям рассказов одного и того же лица следует относиться с одинаковой степенью доверия.

Как раз этим умением критически относиться к материалам и измеряется степень объективности историка. Меня А. обвиняет в нарушении такой объективности. Здесь он приводит доказательства: он пишет, что я, если бы был «хоть в слабой степени объективным», должен был бы привести рассказы о Власове, имеющиеся в неизданных воспоминаниях одного «власовца», другие места из которых я цитировал. С другой стороны, А. ставит мне в вину цитирование воспоминаний, которые были напечатаны в газете «Россия».

Эти примеры и с моей точки зрения являются характерными: разобрав их, мы сможем установить, в чем именно расходятся наши с Г. Я. Аронсоном представления об объективности.

Прежде всего: биография Власова не является темой моих статей. О нем я пишу только потому, что знать его биографию необходимо для понимания «пораженческого движения». Для меня он имеет значение, как человек, сыгравший роль в этом движении. В соответствии с этим в уже напечатанных частях моей работы «жизнеописание» Власова я довел только до момента взятия его в плен немцами. В последующих частях я, конечно, не мог не упомянуть о Власове, но лишь постольку, поскольку речь шла о «власовском движении». По моему плану, подведение итогов относительно личности Власова за «немецкий период» его жизни я отнюду на конец, так как, по моему мнению, эти итоги правильнее всего можно подвести на фоне общего итога всего «власовского эксперимента».

Это определяло мой подход ко всем материалам, которые имеются в моем распоряжении, — в том числе и к упомянутым неизданным воспоминаниям «власовца». Этого автора А. ценит очень высоко и полагает, что он «наиболее полно и со знанием дела обрисовал историю власовского движения и его героев». Я с этой характеристикой не вполне согласен. Этот автор, несомненно, много видел, умел наблюдать и умеет писать, — но объективность его весьма относительна. Удивляться этому не приходится: автор играл роль в той внутренней борьбе, которая разыгралась за кулисами движения, остро выступал против других и сам был объектом весьма острых нападок. Поэтому разные части его рассказов имеют различную ценность.

Его можно считать надежным свидетелем, например, в отношении Зыкова, так как с последним у него не было конфликтов, — но его нельзя рассматривать как мало-мальски объективного свидетеля в отношении Власова, который в конце концов исключил его из рядов РОА: мера, которая применялась только в совершенно исключительных случаях. Я не собираюсь здесь разбирать, кто был прав, кто виноват в тогдашнем споре, — но едва ли нужно пояснить, насколько важно это обстоятельство для понимания ценности показаний данного свидетеля. Конечно, и в этих условиях рассказы этого свидетеля придется учесть при общей характеристике Власова, но именно учесть, т. е. сопоставить с другими и проверить*). А Г. Я. Аронсон считает правильным выхватывать из них отдельные, наиболее заостренные против Власова места и печатать их, не сообщив даже читателю, какие были у восхваляемого им мемуариста личные отношения с Власовым. И он еще рискует упрекать других в отсутствии объективности!

Что касается до воспоминаний, напечатанных за подписью Ар. Усов в газете «Россия», то я прежде всего должен подчеркнуть, что с моей точки зрения факт напечатания того или иного документа в этой газете сам по себе ни в какой мере не опровергает степень достоверности этого документа. Воспоминания, например, П. Сергеича о детских годах патриарха Алексия или рассказы невозвращенца о восстании советских каторжан на серебряных рудниках Кавказа, напечатанные в этой газете, для меня являются столь же достоверными показаниями, как и рассказы, напечатанные в любой другой зарубежной газете. «Парижскому Вестнику» я не доверяю совсем не потому, что он был органом правых, — и если А. не понимает разницы, то мне приходится только пожать плечами.

Но если б А. внимательнее читал мои статьи, критиковать которые он пытается, он увидел бы, что к данному случаю все его замечания о «России» вообще не подходят: из примечания

*) В рассказе этого автора о Власове есть бесспорные грубые ошибки. — Полупутно отмечу еще одну ссылку на этого автора, которую делает А.: он доказывает, что Власов лично не сыграл никакой роли в улучшении положения военно-пленных. Есть ряд оснований считать, что это по меньшей мере не точно, — но если бы и было верно, то какое это имеет значение? Факт инициативы «власовцев» в деле улучшения положения военно-пленных автор неизданных воспоминаний полностью подтверждает, — он только отказывается ставить эту заслугу на счет лично Власова . . .

к цитате из воспоминаний Ар. Усова он узнал бы, что эта цитата взята не из «России», а из рукописной копии воспоминаний, которую я самостоятельно получил из Германии от человека, по просьбе которого воспоминания Усова были написаны*). Когда я посыпал мою статью в набор, я вообще не знал, что воспоминания эти появятся в «России», — редактор «Нового Журнала», конечно, не откажется подтвердить, что примечание к соответствующему месту статьи было вставлено им по моей телефонной просьбе уже в корректуре, когда пришли номера «России» с воспоминаниями Усова.

Личность Ар. Усова (это, конечно, псевдоним) большого значения для существа спора не имеет, но так как А. особо настаивает на моих якобы ошибках по этому вопросу, то подчеркну и я, что речь идет именно о профессоре и о новом эмигранте; это не исключает его пребывания в армии Колчака, но редактором он был не в Одессе. В армии Власова он был редактором газеты «Наши крылья» (специальный орган для власовцев-летчиков), поэтому встречи его с Власовым, хотя и были не частыми, ни в коем случае не были случайными. Из них я взял только то, что непосредственно касалось вопроса о политической позиции Власова.

Я подробно остановился на тех указаниях А., которые им хотя бы в некоторой мере подтверждены материалами. Читатель может судить, в какой мере это ему удалось. Там, где речь идет об обобщенных выводах, А. еще меньше заботится о доказательствах. Особенно ожесточенно он оспаривает все попытки установить независимость «власовского» движения от немцев и наличие демократических элементов в их идеологии. В центре его аргументации по этим вопросам стоят те самые неизданные воспоминания «власовца», о которых уже шла речь выше. Из них он надергал несколько цитат, которые, как А. полагает, опровергают «творимую легенду» о демократичности «власовцев» и их независимости от немцев. Но все эти цитаты автор воспоминаний относит исключительно к самому Власову, которого он считает карьеристом и мелким тщеславцем. О «власовском движении» в целом (а именно о нем я и писал) этот автор пишет совсем иное:

*.) Пользуюсь случаем, чтобы принести здесь благодарность этому собирателю материалов по истории «власовского движения», который прислал мне как воспоминания Усова и упомянутого выше «власовца», так и целый ряд других материалов.

«Неправильно думать, — читаем в его рукописи, — что Русское Освободительное Движение создано немцами. Р. О. Д. возникло стихийно, и немцы только попытались его использовать в своих интересах».

«Политическое кредо РОД можно формулировать в нескольких словах. История русского народа 20-го века есть история борьбы народа с тоталитарным режимом и требование демократических свобод. Народная волна смела самодержавие, чтобы попасть в тиски еще более жестокой политической диктатуры партии большевиков. Борьба за демократию не прекращалась всё время советского периода и с началом войны оформилась в РОД. Таким образом, РОД есть продолжение стихийной борьбы русского народа за демократические свободы против режима тоталитарной диктатуры».

Иными словами, автор, на цитатах из которого А. пытается построить свои выводы, в действительности доказывает как раз то, что А. пытается опровергнуть. И А. просто утаил этот факт от своих читателей.

Далее: А. старается доказать, что лозунг «завершение национальной революции», бывший основным лозунгом РОД, был гитлеровским лозунгом, что РОД, говоря о «национальной революции», только варирировало про-гитлеровскую установку.

Что «власовцы», употребляя термин «национальная революция», приспособлялись к терминологии, принятой в нацистской Германии, бесспорно, — и я об этом говорил в моих статьях (№ 19, стр. 222). Ведя свою работу в Германии, они не могли не стараться находить подобного рода прикрытия. Дело не в этом, — а в том, что они, начиная со своих первых выступлений и до конца, определенно ставили знак равенства между своей «национальной революцией» и революцией февральской. И чем легче становится для них внешние цензурные условия, тем более четко они подчеркивают эту свою интерпретацию лозунга «национальная революция». В «манифесте» 14 ноября 1944 года эта идея выдвинута на первый план.

А. указывает, что плебейские мотивы были не чужды и гитлеризму, — что и немецкие наци рвали со своими «Дейчнационале и их спутниками». В этом имеется доля истины. Но А. никогда не найдет у немецких гитлеровцев связывания плебейских мотивов с их «февралем». Нацизм родился и вырос в процессе отталкивания от немецкого «февраля», — от ноябрьской революции 1918 года. И это, конечно; не было случайностью. Не в той мере, как русский «февраль», но всё же немецкий

«ноябрь» был пропитан пафосом свободы, — а нацизм никогда и нигде не бывает сроден этому пафосу. Если он и говорит о свободе, то не о свободе человека, а о свободе нации. Поэтому-то фашистские элементы во всех странах отталкиваются от своих «февралей», — ведут борьбу с их традициями.

А русские «власовцы» всё время тянутся к «февралю» и к «февральским лозунгам». Их «национальная революция» прежде всего и больше всего свободолюбивая революция, — и тысячу раз право много раз упомянутый автор неизданных записок, когда дает свой обобщенный вывод:

«РОД есть продолжение стихийной борьбы русского народа за демократические свободы против режима тоталитарной диктатуры».

**

Особняком стоит вопрос об антисемитизме. Я меньше всего собираюсь отрицать его значение, но действительно считаю, что к нему теперь необходимо подойти с тем же «бесстрастием летописца», с которым полагается подходить ко всем событиям, ставшим достоянием истории.

В спор по этому вопросу А. вводит теперь только один новый аргумент — свою оценку приведенного мною сообщения о переговорах Малышкина и Зыкова*) с представителями германского правительства. Во времена этих переговоров Зыков заявил, что по мнению «власовцев» «евреи не являются одним из народов России и Комитет их не представляет. А. находит, что этим ответом «власовцев» «евреи были загодя выданы с головой». Это толкование мне кажется неправильным. Надо вспомнить обстановку того времени. Это было время, когда последние из гитлеровских сателитов должны были принять нюренбергские законы и начать депортацию евреев. Гитлер становился всё более и более непримиримым в этом вопросе. А «власовцы» в своем заявлении по существу уклонились от ответа. В этом заявлении, конечно, не было того выступления на защиту евреев, которое одно было бы достойным ответом, но требовать от них такого ответа, конечно, значило бы требовать героического самопожертвования. Но в их заявлении не было и прямой антисемит-

*) Отметим попутно, что в настоящее время можно считать, повидимому, установленным, что Зыков был евреем. Его фамилию удалось установить, ио публиковать ее преждевременно.

ской декларации. Оно было двусмысленно средактированной попыткой уклониться от ответа и понять всё значение этой попытки можно только зная безудержанность Гитлера в этих вопросах и всё бесправие положения русских военнопленных в Германии.

А самое главное: не следует забывать, что и после этого ни в одно программное заявление, выпущенное от имени РОД, не было введено ни одной антисемитской ноты. Комитет РОД никогда не заявлял о принятии им нюренбергских законов, никогда не высказывался за введение каких бы то ни было ограничений по национальному признаку.

В этих условиях, каждый, кто обладает минимальным желанием быть объективным, должен признать, что никаких оснований для обвинения «власовского» движения в активном антисемитизме не имеется. Конечно, отдельные «власовцы» могли делать антисемитские выпады: в Германии тогда вся атмосфера была насыщена этими ядовитыми парами, и нужно было обладать исключительно крепкой головой, чтобы не заразиться, их вдыхая. Но такого рода факты, если даже они будут установлены, не могут изменить существо вывода.

**

Г. Я. Аронсон прав только в одном: полёмику надо кончать, — и сделать это лучше всего уточнив общие формулировки.

Не Власов и не «власовцы» создали в СССР пораженческие настроения, которые привели к массовым сдачам в плен миллионов и ко вступлению в немецкую армию сотен тысяч граждан СССР. Никакая агитация этого сделать не могла, — за это отвечают только современные правители Советского Союза и прежде всего лично Сталин. Власов и те, кто был с ним, сделали попытку это стихийное пораженчество направить в русло пораженчества сознательного, преследующего определенные политические задачи. Они создали Русское Освободительное Движение, которое, — по свидетельству автора, которого сам Г. Я. Аронсон признает «человеком, наиболее полно и со знанием дела обрисовавшим историю власовского движения», — было «продолжением стихийной борьбы русского народа за демократические свободы против режима тоталитарной диктатуры».

Конечно, неправильно было бы утверждать, что программные документы этого движения являются идеальными политическими документами. Их авторам многое не хватало в знании международной обстановки. Их общие политические представ-

ления нередко бывали путанными. Им часто приходилось говорить вполголоса или даже в четверть голоса, считаясь с «подлой действительностью» нацистской Германии. Поэтому они делали много, — очень много! — ошибок. Удивительно не это, а то, что эти люди, находившиеся в невероятно трудных условиях и шедшие наощупь, без поводырей, всё же нащупали в основном правильную цель, которую они определили, как «возвращение народам России прав, завоеванных ими в народной революции 1917 года». Сделать это они смогли по одной элементарной причине: вся «подлая действительность» сталинского Советского Союза вопиет о необходимости возврата к основным заветам февральской революции. Несмотря на 30 лет самого ужасного террора, который только знало человечество, воля к свободе живет в народах России, и это показывает, что эти народы сами живут, — будут жить.

В этом главный урок пережитого. Конечно, участникам РОД, которым удалось остаться заграницей, необходимо многое пересмотреть, — нужно многому научиться. Сталин хочет держать Россию в темноте, — потому что гонит ее к катастрофе. Теперь они имеют возможность узнать мир, — и опыт этого мира они должны использовать для продолжения начатой ими борьбы. Но еще более важно им как можно дольше сохранить в себе то живое ощущение российской действительности, которое помогало им, через рытвины и колоды, находить дорогу к правильным в основе целям:

Но едва ли не еще необходимо пересмотреть демократам из старой эмиграции. Как это ни печально, но надо признать, что мы все, — даже те, кто никогда не испытывал националь-патриотического про-сталинского угара, — утеряли живое чутье российской действительности. Конечно, мы еще можем многое дать тем новым людям, которые в бараках ди-пи жадно набрасываются на каждое печатное слово, — но для этого и мы сами прежде всего должны понять необходимость учиться у них.

Конечно, они во многом ошибались; конечно, ненужно и неправильно защищать промахи, реабилитировать ошибки. Но нельзя, говоря об ошибках других, забывать про свои собственные. Они и потерпели поражение... Ну а мы, — разве мы поражения не потерпели? Мы любим говорить, что движение там было обречено на неудачу, — а разве здесь наш мир не шел от поражения к поражению? Так больше же скромности и желания учиться, — поменьше верхоглядства и стремления поучать!

И прежде всего — поменьше обличительного жара. Роль

прокурора в политике редко бывает благодарной: она легка, — но часто рискует стать легковесной. Да и прокуроры бывают разные. Кони был тоже обвинителем, но на свою задачу он смотрел, как на участие в общем деле искания истины. Перечтите его речи, и вы не найдете в них и намека на стремление во что бы то ни стало засудить. Он заботливо проверяет каждую деталь, щепетильно бережно относится к каждому своему слову. Думаю, что это единственный пример, достойный подражания.

Б. Николаевский.

ПО ПОВОДУ СТАТЬИ Н. С. ТИМАШЕВА*)

В статье о населении после-войenne России, помещенной в 19-ой книжке «Нового Журнала», Н. С. Тимашев касается, в частности, вопроса о количестве заключенных в концентрационных лагерях Советского Союза и приходит к выводу, что их имелось в 1937 году два с лишним миллиона. Цифра эта, говорит г. Тимашев, «много ниже приводимой г.г. Далиным и Николаевским в их книге о принудительном труде в СССР; на год 1937 там значится 5 6 миллионов, а на более поздние годы даже 10-12 мил.».

Я спешу ответить на эти замечания г. Тимашева в кратком письме из французской провинции, где у меня нет под рукой необходимых для пространной статьи материалов. Спешу сделать это потому, что разногласие по вопросу о заключенных в советских концлагерях является одним из расхождений, которые имелись в последние годы между г. Тимашевым и мной, а также и рядом других писателей. В своих статьях в «Новом Журнале» г. Тимашев высказывал к концу войны и после ее окончания оптимистические взгляды на тенденции советской внешней политики и преуменьшал ее экспансионизм, а вместе с тем и опасность новой войны. В своей известной книге о «Великом Отступлении» он дал целую концепцию постепенного отхода сталинского правительства на новые пути благоразумной политики. Теперь г. Тимашев доказывает, что в советских концлагерях и до и во время войны, было втрое или вчетверо меньше «населения», чем предполагали самые осторожные в своих оценках писатели, к каковым принадлежу и я.

*) Письмо это было прислано Д. Ю. Далиным еще до его возвращения из Европы, но не могло быть помещено в предыдущей книжке журнала за недостатком места. — Р е д.

Такова общая тенденция г. Тимашева. С некоторым упрощением ее можно выразить так: советский режим хоть и плох, но далеко не так плох, как воображает Далин и многие другие.

А на деле он много хуже.

Каким путем приходит г. Тимашев к своему выводу? По его исчислениям, население Сов. Союза составляло в 1937 году 167 милл., из них в возрасте свыше 18-ти лет было 58,3%. Между тем, правом избирать пользовались лишь 56,4%. Разница, составляющая 3,3 милл. человек является классом лишенцев и концлагерников. Один миллион приходится, говорит он, на лишенцев, т. е. лишенных по суду избирательных прав, а два с лишним миллиона на заключенных в лагерях.

Если начать с конца, — деление на «лишенных по суду» и концлагерников ошибочное. Концлагерники тоже лишены прав «по суду» (судом бывает часто Ос. Совещание, Тройка и т. п.); каждый из них имеет приговор; лишение прав на срок больший, чем заключение в лагере, отмечено почти всегда в приговоре. Следовательно, по г. Тимашеву, его цифра 3,3 милл. взрослых, лишенных избирательных прав, должна обнимать: 1) умалишенных и др., неспособных; 2) лишенцев, отбывших наказание, но еще пораженных в правах; 3) лиц, отывающих наказание и лишенных избирательных прав. Неясным остается еще вопрос об огромном населении тюрем, в которых подследственные фактически не пользовались избирательными правами.

И всех их — 3,3 милл. в 1937 году! Между тем, этот год знаменовал собой апогей репрессий. Мне случилось видеть рукопись, которая вскоре выйдет книгой, и которая цитирует документы НКВД, выкраденные партизанами во время войны на Сев. Кавказе. Постановлением от 14 июня 1937 года советское правительство приказало центральному и местным органам НКВД выполнить оригинальный план — уникум в анналах криминологии — арестовать 3% населения. Процент этот варирировался, достигая 5 в одних районах и падая до 2 в других. Начальник НКВД Дагин доносит, напр., наркому Ежову 10-го августа 1937 года за номером 120/А, что «число изъятых врагов народа по Сев. Кавказу составляет 80 тыс. человек», что составляет от 3 до 4%, но «итоги эти не окончательные и операция продолжается». По всему Кавказу было «изъято» 422.000 человек, т. е. 3.9%. А Кавказ составляет ведь по населению, 7% всей России.

В начале 1939 года, когда Лаврентий Берия сменил Ежова на посту наркома внутренних дел, он выпустил брошюру об «ошибках», совершенных в 1936-1938 гг. Брошюра эта была секретная, предназначенная лишь для персонала НКВД. В ней говорилось много о «вредительских актах» периода чистки и, в частности, о том, что (это было напечатано жирным шрифтом) число арестованных достигло 19 миллионов. Объяснения этой цифре дано не было. Повидимому, в нее

включены были и лица, лишь короткое время проведшие в заключении, а также и миллионы, которые Ежов, так сказать, получил в наследство от своего предшественника Ягоды. Когда Берия захотел разоблачать террор, он по-большевистски преувеличил. Но сделав скидки и на то и на другое, — нельзя не удивляться русскому исследователю в Нью Иорке, который настаивает на... двух миллионах в концлагерях в проклятом 1937 году!

Да, убедительных и окончательных оценок концлагерного населения не существует. Да, многие оценки, доходящие до 20 миллионов очень преувеличены. Среди более серьезных попыток одна сделана, например, бывшим заключенным, работавшим в хозяйственном отделе крупного лагеря. Он имел, по службе, возможность видеть сводки о количестве хлеба и некоторых других продуктов, доставляемых в шесть крупнейших лагерей Сов. Союза. (Эти шесть — это киты ГУЛАГа; каждый из них — целая сеть лагерей; каждый — целая страна). Зная среднее потребление в своем лагере, ему нетрудно было вычислить, что в этих лагерях было заключенных 4-х милл. к концу 1930-х гг. Эта его работа тоже готова к печати.

Инженер-доцент, проведший в одном из северных лагерей три года и одно время работавший в лагерной конторе, пишет мне: «Однажды мы получили из Москвы статистические данные об «отказчиках» (т. е. о лицах, отказывающихся выходить на работу в лагерях — Д. Д.), в процентах к населению лагерей. Позднее начальство получило нагоняй за то, что эта бумага попала в наши руки. Нам не трудно было подсчитать, что общее население лагерей в сентябре 1938 года составляло около 6 милл., а вместе со ссылочными — 15 миллионов».

Но как же быть со статистикой г. Тимашева — 58% взрослых и 56% избирателей? Но ни я, ни г. Тимашев, и никто другой заграницей, не знает толком ничего об этой статистике. В отличие от переписей во всем мире и в отличие от обычных избирательных кампаний, — в Сов. Союзе их итоги засекречены. Вместо обычных десятков томов, дающих подлинную картину, нам швырнули из Москвы две-три цифры, несколько таблиц, и предоставили ковыряться и комбинировать. Не знаем мы также, как, по какой системе совершалась перепись, и какие ей были поставлены «задания». Но одно задание было, без сомнения, поставлено: ввести в заблуждение исследователей в отношении всего того, что неблагоприятно для советской политики.

Д. Далин

ОТВЕТ Д. Ю. ДАЛИНУ

Д. Ю. Далин обвиняет меня в тяжком преступлении: попытке обелить большевиков. Да содрогнется читатель: подумайте, говорит ему г. Далин, Тимашев утверждает, что большевики морят голодом, холodom и пытками «только» 4 миллиона человека, тогда как на самом деле в концлагерях заключено от 10 до 12 миллионов.

Как это водится, г. Далин не снизошел до того, чтобы продумать доводы противника. Мое мнение основано на применении к вопросу одного из основных приемов исторической критики — проверки показаний с точки зрения их внутренней вероятности. Вот как стоит дело. Представим себе, что в лагерях заключено 12 милл. человек. Как показано в работах г.г. Далина и Николаевского, эти заключенные почти исключительно — мужчины рабочего возраста. Таковых в СССР от 50 до 55 милл.; значит, в лагерях находится от 20 до 25% этих последних. Это вообще невероятно, и вовсе невероятно для страны, понесшей тяжкий урон в населении и страдающей от жестокого недостатка рабочих рук. Пойдем дальше. Согласно всем показаниям, условия жизни в лагерях таковы, что только исключительно сильные люди могут их длительно выдержать. Надо быть большим оптимистом, чтобы дать им в среднем четыре года жизни. Если это так, то в среднем за год в лагерях умирает от 2½ до 3 милл. человек. Система существует больше 10 лет, и за это время в лагерях должно было умереть около 20 милл. («только» 20, потому что первоначально население лагерей было меньше, нежели сейчас). Это означает, что за десятилетие в лагерях уничтожено от 35 до 40% взрослого мужского населения. Но ведь это население нужно для того, чтобы работать и воевать. Звериному человеческому обществу кремлевских владык нет предела, но разума они не лишены. Поэтому они не могли сделать того, что в сущности приписывает им г. Далин.

Затем, 10-12 милл. лагерных сидельцев нужно снабдить кровом, пищей, тошливом и одеждой — иначе они умрут еще гораздо скорее, чем выше предположено. Представляет ли себе г. Далин, что значит такое снабжение, принимая во внимание, что лагери находятся преимущественно в отдаленных и трудно доступных местностях? Даже и в отношении 4 милл. заключенных задача снабжения крайне трудна, и все предприятие, конечно, экономически невыгодно. Проводимая г. Далиным в его писаниях мысль, что, сажая людей в лагеря, советская власть обеспечивает себя дешевой рабочей силой, находится в полном противоречии с тем, что мы знаем об экономической системе СССР. Там государство — монопольный работодатель, который диктует условия вознаграждения труда и потому в искусственных при-

емах понижения заработной платы не нуждается. Концлагеря советской власти выполняют приблизительно ту же функцию, как галеры 16-го и 17-го веков. В обеих системах, преступники обрекаются на уничтожение, но уничтожение предваряется использованием остатков их рабочей силы. 4 милл. заключенных в лагерях — это не столько эксплуатируемые рабы, сколько подлежащие уничтожению противники.

А как же быть со свидетельствами, приводимыми г. Даиним в его письме? В сущности, он сам дает способ их отвести: если советская статистика есть нечто, в чем можно только бесплодно «ковыряться», то чем лучше те, как никак, статистические данные на которые он ссылается? Данные эти — домыслы отдельных лиц по поводу документов сомнительного значения. На таких данных далеко не уедешь, если хочешь установить истину.

Н. С. Тимашев

БИБЛИОГРАФИЯ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА В ЭМИГРАЦИИ

Обзор новинок хочется начать с романа Бор. Зайцева «Тишина» (Книгоиздательство Возрождение, Париж, 1948 г.). И не потому, что Зайцев — старший. Его «Тишину» слышишь сразу: особую, неповторимую тишину старой провинциальной России. Тянет к ней, знаешь: чем больше лет ляжет меж нею и нами, еще слышавшими ее в детстве, тем реже будет встречаться оказия вновь ее пережить . . .

«Тишина» — то звено в «Путешествии Глеба», которого так не хватало, когда эта повесть печаталась в «Новом Журнале» в 1946-1947 гг. Там Глеб — студент Московского императорского технического училища и некоторые его черты неясны, их принимаешь на веру так же, как спускаясь с горы и издали видя крышу дома, принимаешь на веру, что у него есть стены. «Тишина» — повесть об отроческих годах Глеба. Они начинаются с расставанья с Будаками, имением, где протекло детство Глеба, и с переезда в Калугу, где он сначала учится в тимназии, затем, после тяжелой болезни и поездки к отцу в Нижегородскую губернию переходит в реальное училище.

Полны грустного очарования все лики скромной, мало чем примечательной Калуги. Вот она возникает на фоне осеннего неба, расстилаясь «по натюрному берегу садами, домами, куполами тридцати шести своих церквей, над которыми белеет собор». Только что прошел дождь и всё после него «остро, четко, влажно»: вот городской сад с пестренькими рестораном «Кукушка», губернаторский дом, где некогда Смирнова принимала Гоголя . . . еще дальше город подходит к речке Яченке, притоку Оки. А за ним парк с губернаторской дачей, в которой тоже одно время жил Гоголь.

Есть и другая Калуга — зимняя, вся занесенная пушистым снегом, с ранними сумерками, возвращением из школы, с непростой беседой Глеба о впечатлении, произведенном на него знаменитым Иоанном Кронштадтским. Словно высечено из камня лицо Кронштадтского: «Лицо очень русское, почти простонародное, с редкой бородкой, полуседой, всё испещрено морщинками, сложно и путанно переплетавшимися . . . Но над всем господствовали глаза, как бы хозяева местности».

Особенно запоминается общая панорама Калуги, города, выросшего на берегу Оки «с той же естественностью, как таинственной силой дуб выгоняется из жолудя. Медленно, столетиями заквашивалась и всходила жизнь — не особенно бурно, всегда, кажется, находилась Калуга в стороне от русл главных. Главное происходило неподалеку, всё-таки и не здесь. В смутное время участь России решилась севернее — но здесь жила одно время Марина Мишке, дом ее сохранился. Пытался двинуться сюда Наполеон, но не дошел — видно, судьба места этого была скромнее и незаметней. И весь век девятнадцатый полусонно прошел под Калугой. Наверно, не одна жизнь человеческая протекала здесь с достоинством — а известен и скромный герой Калуги, рядовой Архип Осипов. Всё-таки общий дух города на Оке, с торговлею полотном, веревками, с баржами, плотами, ципулинскими пароходами к концу девятнадцатого века слишком уже отзывал безветрием».

В этой тишине калужского «безветрия» сложились и окрепли переданные матерью представления Глеба о добре и зле. Мать не могла объяснить Глебу «смысла цели глебиного существования», ио глазами, всем своим существом она как бы внушала: «хоть нельзя понять, но делать надо следующее: учиться, ибо так было заведено — и отец учился, и она сама. Жить — сохранять порядочность, благообразие . . .». С этим и отправился Глеб в свои путешествия молодости и зрелости, т. е. в жизнь, ибо жизнь есть ничто иное как «ряд путешествий, укладываний и раскладываний, отъездов, приездов, между которыми и стелется ткань её» . . .

**
*

Внешне как будто совсем о другом, не связанном с этой неповторимой пастелью провинциальной России, написана книга Бориса Пантелеимонова «Звериный знак» (Париж, 1948 г., Склад изданий «Подорожника»), автора, успевшего первой книгой своих рассказов «Зеленый шум» приобрести так много друзей. Иная и ритмика языка — подтянутая, упругая, подчеркнутая короткой, точной фразой, напоминающей словесный узор Евгения Замятиня. Но стоит отдаваться ритму пантелеимоновского языка и он таинственными путями-переходами приведет читателя в «Тишину» поисков не только Зайцева, но и многих славных его предшественников.

Неслучайно центральное место сборника занимает повесть «Маклаево братство», посвященное самому удивительному русскому путешественнику Н. Н. Миклухо-Маклаю, тому исследователю неизвестных земель, кто первый открыл человека в так называемых первобытных народах. Это ему писал Лев Толстой в письме, впервые

опубликованном в «Известиях Географического общества» в 1939 г. (заимствуя эти сведения из книги Л. С. Берга «Очерки по истории русских географических открытий» изд. Академии Наук, М. и Л. 1946 г.) «Меня умиляет и приводит в восхищение в вашей деятельности то, что насколько мне известно, вы первый несомненно опытом доказали, что человек везде человек, т. е. доброе, общительное существо, в общение с которым можно и должно входить только добром и истиной, а не пушками и водкой, и вы доказали это подвигами истинного мужества» . . .

Этот отзыв Л. Толстого раскрывает смыслом смысл того поэтического образа, который создал, вернее воссоздал Пантелеимонов в своем «Маклаевом братстве», описывающем второе путешествие Миклухо-Маклая в Новую Гвинею на корвете «Витязь». Повести предшествует маленькое предисловие «Обезьяна и человек»: «Передо мной сидит, прямо на столе, маленькая рыжая обезьяна. У ней бледноватое лицо, над губами усики, надбровные дуги, выпуклый лоб и большие внимательные глаза. Руки совсем человечьи — прямоугольные ногти и на ладони наши складки: жизнь, любовь, характер». Автор называет обезьянку Васькой. Васька насилием оторван от своей далекой родины, обезьянней деревни в пальмах. Но он простил совершенную над ним жестокость, он привязан к автору. Васька простил потому, что он — человек. Заглянув в его душу, автору захотелось понять «как и что когда появилось, как человек заблудился, как он потерял способность понимать простые вещи». Автор думает, что заблуждения человека схожи с переживаниями ученых: «так в дебрях высшей математики забывают элементарное счисление». «Сбившись со счета, возвращаемся к начальному. К зверю и первому человеку. Начинаем искать понимания себя в отдаленном». Поиски привели к единственному случаю в мире, когда дикарь и белый встретились, как равные, жили вместе и кончили любовью. Белого звали Миклухо-Маклай. «Его жизнь среди дикарей — правдивая повесть. Повесть каменного века, удивительно честная, как непреложно честен был этот святой от науки».

Пантелеимонову удалось показать в своей повести даже больше: его Миклухо-Маклай — воплощение духа русской сказки. И это воплощенное добро народной сказки на фоне нашего времени оставляет в читателе глубокий и благотворный след . . . Прекрасны и образы папуасов с тем характерным для первобытных людей, что Пантелеимонов очень верно называет отсутствием в них «тайного равнодушия» к окружающему миру.

«Приключения дяди Володи» являются продолжением рассказов, помещенных в сборнике «Зеленый шум» и пронизаны той же светлой

радостью найденного пути в далекое детство и в мир доброго чуда, которая кажется самой характерной чертой творчества Пантелеймона.

**

Русская эмиграция, живущая в Америке, представлена книгой Ольги Жигаловой «Ветер ветку клонит» (Париж, 1948 г.). В каком-то смысле это тоже книга путешествий, но не в отдаленный мир, а назад, домой, в детство, в неторопливый мир смоленской деревни. Доминирует над книгой не дух искательства, а воспоминание. И недаром книга открывается посвящением сыну, родившемуся вдалеке от родных матери мест. Матери хочется облегчить сыну поиски неведомой ему пра-родины: «Ты сойдешь на полустанке Васьково по риго-орловской дороге. Миновав деревню Галеевку, сразу увидишь широкие клеверные поля, а за дубовой рощей неожиданно, подняв солнечные веки, — озеро взглянет на тебя серосиним, влажным глазом» . . .

Многих прнмет, указанных Жигаловой, увы, не найти в современной Смоленицине, а в последней войне погибла, вероятно, и дубовая роща. Еще больше изменений произошло во всем укладе жизни. И не обо всем ушедшем можно, по совести, пожалеть. Но что-то уцелело и Жигалова права, отдаваясь воспоминаниям, оглядываясь назад, проверяя поступки маленькой Танюши, не утаивая ее прегрешений «(Совесть в пыли)», зорко следя за тем, как закладывался фундамент характера («Узлы жизни»). Воссоздавая картины ушедшего, писательница находит и умеет передать читателю и нетленные черты родной народной культуры; живы зарисовки сверстников- друзей, людей из народа, прекрасен образ няни («Смертный сундучек»), сумевшей, не мудрствуя лукаво, вынуть из пугавшей девочку смерти «жало страха». Хорошо что автор доверился «памяти сердца», но немножко жаль, что главное действующее лицо — Танюша — в какой-то мере до конца осталась той маленькой девочкой, какой она возникла на первых страницах . . .

В. Александрова.

ЕВГЕНИЙ ГАГАРИН. Звезда в ночи. «Златоуст», Русское Зарубежное Издательство. Мюнхен, 1947.

Несчастный и нелепый случай — смерть под автомобилем на улицах Мюнхена — вырвал из рядов молодых русских писателей человека, которому, быть может, суждено было оставить след в современной русской литературе. Е. А. Гагарин скончался в возрасте

41 года. Он печатался в немецких литературных изданиях, выпустил несколько сборников рассказов, обративших на себя внимание немецкой литературной критики, поместил несколько рассказов в русских журналах и газетах, выходивших в последнее время в Германии. Все они без исключения были посвящены России. Ей же посвящена и последняя, вышедшая еще при его жизни, книжечка «Звезда в ночи» с четырьмя рассказами. От всего написанного покойным писателем веет пронзительной тоской по России, все проникнуто глубокой любовью к ней.

В первом рассказе, озаглавленном «Советский принц», говорится о юноше «рюриковой крови», отца которого — бывшего гвардейского офицера — расстреляли, когда мальчику было только пять лет. Гордая, полная непримиримости мать умирает в советской тюрьме. Осиrotевший мальчик живет с обнищавшими тетками-аристократками, о которых друг его отца, старый полковник, ему говорит: «Тетки твои имеют несчастье считать, что прошлое не прошло, как все люди, получившие от природы слишком мало ума и слишком много дворянства». После того страшного дня, когда расстреляли его отца, его с тетками высыпали из Москвы, и они жили в подмосковной деревне, где много было таких, как он с тетками, чьи мужья, отцы и деды были расстреляны или высланы. «С тех пор он не помнил вообще времени, чтобы кто-нибудь из их круга не сидел, чтобы не говорили о тюрьме, когда не нужно было бы носить передачу...» В Москве он дружил с беспризорниками, в беспризорников превратились постепенно и дети его круга жизни. Красочно описан костер у лесного озера, возле которого собирались беспризорники. Своего рода «Бежин луг»... — по советски. «От озера повеяло холодом, вдруг быстро налетел ветер, будто набежал крупный зверь, шумно раздвинув сосны, нагнувшиеся гибко с жалобным стоном; рябь понеслась по воде, как стая птиц». — «А был я таперь, братцы, по всей России, — рассказывает один из беспризорников, — у моря теплого и моря студеного, в степях, в горах был и в пустынях, доходил до Ташкенту, — везде страдает, плачет народ! Какая пришла время!». Дома «советского принца» так беспризорные зовут героя рассказа — тетки преследуют ненужными уроками («когда правил Людовик XVI?»), учат «хорошему тону», напоминают о его знатном происхождении... — «Не знаешь!.. Недоросль!.. Дармоед!..» — А вы всю жизнь сами были дармоедами, потому и революция произошла, что такие были, как вы! — вдруг всыпал он и выбежал на улицу... Там он присоединился к беспризорникам. Мимо него вели партию арестованных мальчишек. Из лартин его окликнули знакомые мальчики. — «Ты что, ихний будешь? Ступай сюда, щенок!» — крикнул

старшой. Неожиданно для себя он шагнул и молча стал в ряды. — «Иди, Принц, иди, не бойсь, — говорил ему знакомый беспризорник, — вместе поедем в Соловки». — Угадать будущее «принца» не трудно...

Второй рассказ «Корова» говорит о безнадежной жизни на лесозаготовках раскулаченной крестьянки. «Она уже не крестьянствовала больше, урожаю не снимала, вся жизнь ее была уже не та, что раньше. Она носила в себе неустанно сосущую боль, от которой спасением был лишь сон или немое оцепенение»... От этого оцепенения она пришла в себя лишь при случайной встрече с «Пеструхой», принадлежавшей ей раньше коровой, которая, узнав старую хозяеку, повела мутными глазами, подалась к ней всем туловищем и жалобно замычала. Корову вели на убой... «Старая жизнь ушла, и если был раньше где-то Бог, то должно быть Он отступил от людей, от всей земли, ибо новые люди не звали, не искали Бога, и было ими что-то потерянно — какое-то самое главное зерно, главная искра, а без этой искры не могло быть никакой жизни, только усова, страдание и тьма».

В «Белых ночах» показана жизнь в ссылке на севере — в маленьком старинном городке. Перед «Наташой Ростовой» наших дней — 30-ти летней уже женщиной — проносятся воспоминания о той жизни, что была 15 лет тому назад. Старинный род (почти во всех рассказах Е. Гагарина имеются остатки старой русской аристократии), свадьба в маленькой сельской церкви — бледная невеста и высокий, загорелый гусарский офицер... Бал в колонном небольшом зальце усадьбы под аккомпанемент старинных клавикорд... Страшная ночь, в которую разгромлен, разграблен их усадебный дом, пылающий в темноте. «Зловещий и сырой блеск деревьев в парке, страшный свист ветра, грохочущего по крыше, плети дождя, стекающие в лицо, и во всей этой Вальпургиевой ночи — дико метущиеся фигуры с озлобленными, нечеловеческими лицами, с кольями и топорами в руках. Бабы, те ласковые говоруньи-бабы, которых мать ходила лечить на деревню в их избы, — эти бабы, как ведьмы, с растрепанными волосами, в мокрых сарафанах, врываются в пылающий дом и ташат оттуда перины, подушки, платья, посуду, зеркала, даже портьеры с окон, а мужики, с пьяными, напитыми кровью глазами, рубят топором стены, столы, стулья, буфеты и рояль, ломают окна и зеркала»... Уличные бои в Москве, обыски... и арест, ссылка сюда, на север... «Этот север, столь пугавший издалека, и оказавшийся прекрасным, сказкой на яву, где сохранилась еще старая Россия. Она полюбила этот север и свою ссылку». Полюбила «этот крохотный древний городок, с маленькими дере-

вянными домиками в палисадниках, заросших черемухой, рябиной и малиной, с деревянными мостками, вместо троттуаров, со множеством старинных церквей». И здесь к ней пришла трогательная и трагическая любовь ссыльного казачьего офицера. Он не считал себя достойным ее — «древнее имя, титул, герб»... Он пытается бежать из ссылки, возвращается к ней. Рассказ кончается соединением любящих. Для жизни? Вряд ли...

И, наконец, четвертый, последний и, на мой вкус, лучший рассказ, по которому назван самый сборник — «Звезда в ночи». Здесь тоже жизнь ссыльных, но уже за полярным кругом. Их шестero. Троe — толстый еврей-валютчик, молодой чахоточный рабочий из Тулы и «кредитель», старый инженер-путеец — умерли. Остались — монах из бывших гвардейских офицеров, старый царский генерал и коммунист-оппозиционер из Москвы. Они живут в заброшенной рыбацикой избушке — продовольствие кончилось, их предоставили своей судьбе — голодной смерти. Монах идет за продуктами на далекий пункт ГПУ, за 30 верст. Сначала — тундрой, потом лесом. В пути перед ним встают переживания прошлого — революция, гражданская война, пожарище родной усадьбы. «Торчали глянцевито черные пни, развалины печей, и среди них метался ветер, вздымая сажу и обгоревшие клочки бумаги. Наклонившись, он поднял рыжий кусок какого-то письма, написанного рукой отца. А вечером он пробрался на деревню в поповский дом, и лопадья рассказала ему, беззвучно рыдая, что отца его и мать увела Чека, так же как и ее мужа, священника, и все просила уйти, не погубить. — А с сестрицей вашей и с барышней, что приезжала к вам, сделали хуже... — начала она, но он, не слушая ее, выбежал, закрыв глаза руками...» Добравшись до поселка, монах заходит в заколоченную церковь, где встречает старенького местного священника. «В получьме они тихо отслужили вечерню, пропели канон Рождества, исповедали и причастили друг друга». Монаху комиссар приказывает идти обратно — на верную смерть. И он пошел. Умирая, плакал: — «Боже, прости Россию, сжался над Твоим народом...» Но произошло чудо: его нашла собака проезжего самоеда, разбившего по соседству свой чум. «Было уже утро, рассвет, но солнце еще не всходило. За ночь выяснило, вызвездило. На востоке широко и радужно разлилось небо, как отблеск некоего невидимого великого торжества, могущественных огней, пылавших где-то за горизонтом в ином мире. А на западе небо было чисто, нежного зеленого цвета, как мерцающая росой трава; черные линии лежали на этом фоне от голых ветвей берез, возвышавшихся вдали над тундрой... Воздух — чуть синий, еще казался густым, застывшим; было необыкновенно тихо...

Высоко, высоко, в синей мгле рдели звезды, как капли воды, и над самым горизонтом стояла и чисто горела отдельно одна совсем янтарная — монах содрогнулся при ее виде... Христос шел в Россию! — Христос рождается, — запел он громко, смотря на звезду, — славите Христос с небес срящете.»

С глубокою любовью в каждом из рассказов описана — нет, изображена! — русская природа. И каждый из нас ее узнает, поймет... Поймет также и людей из этих рассказов, поймет и самого автора, навсегда ушедшего от нас в расцвете своих сил и дарованых ему возможностей.

В. Зензинов.

П О П Р А В К И

К 19-ой книге «Нового Журнала»:

Стр. 21, 13-ая строка св.: читать «Penserosa» вм. Penserova».

Стр. 107, 7-ая строка св.: читать «упорные» вм. «упорным».

Стр. 128, 8-ая строка съ.: между словами «плывут» и «спод» вставить «заходят в гавани, обмениваются товарами, идеями, людьми... и снова плывут».

Стр. 173, 14-ая строка сн.: после слова «глубоким» вставить «убеждением в том, что, как ему внушает».

Стр. 183, 12-ая строка сн.: читать «сподвижника» вм. «сподвижника».

Стр. 205, 11-ая строка св.: читать «31%» вм. «311%».

К 20-ой книге «Нового Журнала»:

Стр. 125, в последней строке стихотворения Н. Арсеньева читать «сочей» вм. «лучей».

НОВЫЙ ЖУРНАЛ

Периодическое литературно-политическое издание



Цена одной книги 2 доллара 75 центов.

Цена трех книг 6 долларов 50 центов.



Адрес редакции и конторы:

**Mrs. M. E. ZETLIN, 112 West 72nd Street,
New York 23, N. Y.**

**Telephone: ENdicott 2-9893
ENdicott 2-4800**

Там же принимается подписка